АКАДЕМИЯ НАУК СССР
ИНСТИТУТ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

ЖУРНАЛ ОСНОВАН В 1952 ГОДУ

ВЫХОДИТ 6 РАЗ В ГОД

1

ЯНВАРЬ—ФЕВРАЛЬ

ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»

МОСКВА—1986

СОДЕРЖАНИЕ

Ковтунова И. И. (Москва). Поэтическая речь как форма коммуникации 3
Бондарко А. В. (Ленинград). Семантика предела 14

ДИСКУССИИ И ОБСУЖДЕНИЯ

Золотова Г. А. (Москва). О некоторых теоретических результатах работы над «Синтаксическим словарем русского языка» 26
Кривоносов А. Т. (Москва). Отрицание в предложении и отрицание в умозаключении (Опыт семантического анализа отрицаний в тексте) 35
Арутюнова Н. Д. (Москва). Диалогическая цитация (К проблеме чужой речи) 50
Торсуева И. Г. (Москва). Детерминированность высказывания параметрами текста 65
Аманжолов А. С. (Алма-Ата). К вопросу о диалектной классификации памятников древнетюркской письменности. 75
Кириллова Н. Н. (Ленинград). О денотате фразеологической семантики 82

МАТЕРИАЛЫ И СООБЩЕНИЯ

Макеева И. И. (Москва). К вопросу о собирательных именах существительных (На примере названий драгоценных камней) 91
Жданкин И. В. (Москва). К вопросу о сложном слове без морфологических признаков словесности (На материале китайского языка) 99
Локштанова Л. М. (Москва). О категориальных значениях форм индикатива в датском языке 111

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Обзоры

Антипова А. М. (Москва). Направления исследований по интонации в современной лингвистике 122

Рецензии

Домашнев А. И. (Ленинград). Geschichte der deutschen Sprache 133
Крушельницкая К. Г. (Москва). *Брандес М. П.* Стилистика немецкого языка; *Брандес М. П.* Практикум по стилистике немецкого языка 136
Маковский М. М. (Москва). *Блох М. Я.* Теоретическая грамматика английского языка 138
Мокиенко В. М. (Ленинград). *Федоров А. В.* Основы общей теории перевода 142
Наумов В. В. (Куйбышев). Großes Wörterbuch der deutschen Aussprache 145
Гарипов Т. М. (Уфа), Насилов Д. М. (Ленинград). *Благова Г. Ф.* Тюркское склонение в ареально-историческом освещении (Юго-восточный регион) 147
Шагдаров Л. Д. (Улан-Удэ), Пюрбеев Г. Ц. (Москва), Дондуков У.-Ж. Ш. (Улан-Удэ). *Лувсандэндэв А.* Хэл бичгийн ухааны зарим асуудал 150

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

Хроникальные заметки 153

РЕДКОЛЛЕГИЯ:

В. Г. Гак, А. В. Десницкая, Ю. Д. Дешериев, А. И. Домашнев, Ю. Н. Караулов, Г. А. Климов (отв. секретарь), *А. Н. Кононов, В. З. Панфилов* (зам. главного редактора), *Б. А. Серебренников, Н. А. Слюсарева, В. М. Солнцев* (зам. главного редактора), *Г. В. Степанов* (главный редактор), *О. Н. Трубачев, Д. Н. Шмелев*

Адрес редакции: 121019 Москва, Г-19, ул. Волхонка, 18/2. Институт русского языка, редакция журнала «Вопросы языкознания». Тел. 202-99-97

Зав. редакцией *И. В. Соболева*

© Издательство «Наука», «Вопросы языкознания», 1986 г.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 1 1986

КОВТУНОВА И. И.

ПОЭТИЧЕСКАЯ РЕЧЬ КАК ФОРМА КОММУНИКАЦИИ

В статье рассматривается коммуникативная структура поэтической речи в соотношении с коммуникативной структурой двух функциональных типов речи, обладающих резко выраженными чертами сходства и различия с поэтической речью,— внутренней речи и разговорной речи. Сходства и различия в строении речи и в характере употребления в ней средств языка объясняются сходствами и различиями условий коммуникации. Чем более специфичны условия коммуникации, тем более рельефно разновидность коммуникации предстает как особый тип речи. Высокая специфичность условий коммуникации в разговорной и поэтической речи на фоне других разновидностей речи рождает в обоих случаях глубоко своеобразный набор структур и функций. Исследователям разговорной речи это даже дает повод говорить об особой системе в рамках литературного языка [1].

Условия коммуникации всякий раз определяются особым характером и особым соотношением компонентов, входящих в общую модель коммуникации [2]. Это следующие шесть компонентов: говорящий (речевой субъект), адресат, способ контакта, язык (код), сообщаемое (референт), сообщение (текст). К этим шести слагаемым коммуникативной модели восходят все возможные коммуникативные характеристики, определяющие структуру речи и семантику употребляемых в ней языковых средств.

Поэтическая речь и внутренняя речь. Коммуникативная позиция говорящего в поэтической речи совмещает два противоположных начала. Это, с одной стороны, коммуникативная позиция внутренней речи, «речи для себя» с характерными для нее внутренними адресатами (сам говорящий, другое лицо, любое явление мира) и, с другой стороны, ориентация на создание сложно организованного письменного текста, который рассчитан на внешнего адресата (читателя [1]).

Из этой парадоксальной позиции говорящего проистекает основная антиномия поэтической речи, предопределяющая языковую структуру поэтических текстов, в которых высокая степень упорядоченности, касающаяся всех уровней его организации, сочетается с возможностью вводить элементы спонтанной речи. Известно, что в поэтической речи допускаются более свободные синтаксические построения по сравнению с другими типами литературной речи (исключая все виды имитации устной разговорной речи).

Коммуникативная ситуация внутренней речи позволяет употреблять в лирическом тексте языковые черты естественной внутренней речи. В рамках сложно построенного текста эти черты создают образ спонтанно протекающего процесса внутренней речи и — шире — моделируют структуру и динамику внутреннего мира человека в его взаимодействии с миром внешним.

Для лирики специфичны такие языковые черты, которые моделируют внутренний поток сознания. Можно выделить четыре компонента внутреннего мира, четыре процесса, образно передаваемых синтаксической структурой лирических произведений.

1. Чувственное восприятие, созерцание. Образ восприятия создают дейктические средства языка — указательные местоимения и наречия,

[1] Г. В. Степанов выделяет в художественном тексте два типа адресатов: адресат в рамках текста, воображаемое «ты», и реальный адресат (читающая публика) [3].

фиксирующие центр восприятия и очерчивающие некоторый микромир, а также синтаксические конструкции, включающие в свою семантику позицию наблюдателя, воспринимающего описываемую картину. И те и другие конструируют образ мира, в центре которого находится и который воспринимает в момент речи лирический герой (моделируется ситуация *я — здесь — сейчас*): «*Эти* звезды кругом точно все собрались, Не мигая, смотреть в *этот* сад» (А. Фет, Благовонная ночь, благодатная ночь).

2. Адресованная речь (диалог с собой, другим лицом, миром), чрезвычайно характерная для лирики. Адресованную речь передают речевые формы устного диалога — второе лицо, обращение, побуждение, вопрос. Эти формы, как и дейктические средства, включают говорящего (лирическое *я*) в структуру поэтического сообщения: «Сады прекрасные, под сумрак ваш священный Вхожу с поникшею главой» (А. Пушкин, Воспоминания в Царском Селе); «Что ты, осень, наделала с нами! В красном золоте стынет земля» (Н. Заболоцкий, Осеннее утро).

3. Эмоционально-волевые импульсы говорящего — желание/нежелание, чтобы нечто происходило, положительная/отрицательная оценка. Помимо широкого круга разнообразных языковых средств, оценочное отношение передается некоторыми формами устного диалога в специфичном для лирики употреблении. См., например, побудительные высказывания в желательном значении, которое обычно появляется в повелительных формах, если адресатом речи служит не сам говорящий (при автоадресации сохраняется побудительное значение), но другое лицо или любое явление мира: «Приюти ты в далях необъятных! Как и жить и плакать без тебя!» (А. Блок, Осенняя воля).

4. Процесс мышления, познания явлений мира, заключающийся в присвоении предметам мысли разнообразных признаков (предикация как психологический акт, протекающий во внутренней речи) и в вопросах, возникающих в процессе поисков знания.

Предикация, кроме формы развернутого предложения-суждения, выражается особой семантической структурой лирического текста, конденсирующей предикативную семантику. Например, словосочетания с пропозитивной семантикой (свернутые предикаты) могут занимать позиции любых членов предложения или именных предложений («Запевающий сон, зацветающий цвет, Исчезающий день, погасающий свет» — А. Блок, Запевающий сон, зацветающий цвет), образуя ряды чисто предикативных конструкций, заполняющих композиционное пространство стиха.

Такой структурный принцип организации лирического текста как бы повторяет структурный принцип внутренней речи, в которой сгущение мысли достигается сплошной предикативностью [4]. В этом отношении строение лирического текста является в известной мере изоморфным строению внутренней речи. Лирика не прямо отражает, но моделирует внутреннюю речь.

Поиски знания, характерные для внутренней речи, выражаются в лирических текстах безответными вопросами, вопросно-ответной структурой и ответами на имплицитно присутствующие в тексте вопросы.

Языковые черты, моделирующие внутреннюю речь, свободно вводятся в поэтические тексты вследствие частичной общности условий коммуникации в поэтической (лирической) и внутренней речи. К таким общим условиям относятся: приоритет точки зрения говорящего, известность говорящему предмета речи, присутствие в сознании говорящего в момент речи всей экстралингвистической ситуации, особая позиция говорящего по отношению к адресатам речи, в частности, возможное слияние речевого субъекта и адресата, поскольку одним из адресатов речи становится сам говорящий, предельная общность в этом последнем случае апперцепционной базы собеседников.

Некоторые из этих условий подробно проанализировал Л. С. Выготский, который сравнивал внутреннюю речь с устной разговорной речью и с письменной речью. Л. С. Выготский исходил из того, что функциональное назначение речи оказывает прямое влияние на ее структуру, на ее лексику и синтаксис. Рассматривая внутреннюю речь как особый вид ре-

чевой деятельности, Л. С. Выготский писал: «Небезразлично, думается нам, говорю ли я себе или другим. Внутренняя речь есть речь для себя. Внешняя речь есть речь для других. Нельзя допустить даже наперед, что это коренное и фундаментальное различие в функциях той и другой речи может остаться без последствий для структурной природы обеих речевых функций» [4, с. 279]. Во внутренней речи говорящему всегда известен предмет речи. «Мы всегда в курсе нашей внутренней ситуации. Тема нашего внутреннего диалога всегда известна нам. Мы знаем, о чем мы думаем. Подлежащее нашего внутреннего суждения всегда наличествует в наших мыслях. Оно всегда подразумевается» [4, с. 301]. Общность апперцепции «при общении с собой во внутренней речи является полной, всецелой и абсолютной». «Во внутренней речи нам никогда нет надобности называть то, о чем идет речь, т. е. подлежащее» [4, с. 302]. Отсюда вытекает предикативность (в пределе — абсолютная предикативность) как основная синтаксическая форма внутренней речи.

По мысли Л. С. Выготского, чистая предикативность возникает и во внешней речи в двух основных случаях: в ситуации ответа или в такой ситуации, когда подлежащее высказываемого суждения заранее известно собеседникам. Это происходит в устном диалоге, который характеризуется минимумом синтаксической расчлененности, сгущением мысли, тенденцией к предикативности. В письменной речи, напротив, синтаксическая расчлененность достигает своего максимума. Письменная речь по сравнению с устной — это максимально развернутая форма речи. Общий вывод Л. С. Выготский формулирует следующим образом: «Если в устной речи тенденция к предикативности возникает иногда (в известных случаях довольно часто и закономерно), если в письменной речи она не возникает никогда, то во внутренней речи она возникает всегда. Предикативность является основной и единственной формой внутренней речи, которая вся состоит с психологической точки зрения из одних сказуемых, и притом здесь мы встречаемся не с относительным сохранением сказуемого за счет сокращения подлежащего, а с абсолютной предикативностью» [4, с. 300—301]. «Чистая предикативность внутренней речи,— пишет Л. С. Выготский,— была установлена в эксперименте как факт». И далее автор замечает: «Устная речь таким образом занимает среднее место между речью письменной, с одной стороны, и внутренней речью— с другой» [4, с. 301].

Если взглянуть с этой точки зрения на поэтическую речь, то легко увидеть, что она также занимает как бы среднее место между непоэтической письменной речью и внутренней речью. В ней существует лишь тенденция к абсолютной предикативности, которая не всегда реализуется полностью. Но возможны и сплошь предикативные лирические тексты, состоящие из одних предикатов. В поэтической речи можно наблюдать тенденцию к сгущению мысли путем концентрации предикативной семантики. Поэтический текст в этом отношении имеет сложную иерархическую структуру, включающую предикаты разных рангов. Это речь одновременно и развернутая и свернутая. При этом единство и теснота стихового ряда, выделение свернутого предиката (именной группы с пропозитивной семантикой) в отдельную строку повышает его в ранге и ставит в равноправное семантическое положение с главным грамматическим предикатом. См., например, стихотворение А. Пушкина «Все в жертву памяти твоей», состоящее только из одних предикатов — безотносительно к их принадлежности к тем или другим членам предложения, или стихотворение А. Фета «Это утро, радость эта», где тема — лирическое *я* и его восприятие описываемого мира, а текст содержит сплошь предикаты к этому постоянному «субъекту» лирических высказываний.

Повышенная предикативность поэтической речи возникает таким образом не только за счет пропуска темы, как в устной речи, но (и это главное) за счет усложненной семантической структуры поэтического текста. Поэтому, строго говоря, поэтической речи следует отвести не среднее положение между письменной речью («речью для других») и внутренней речью («речью для себя»), но такое положение, при котором признаки этих двух типов речи сложным образом совмещаются. Их переплетение и взаимодей-

ствие создают некоторое третье качество, так что в структуре поэтического текста нельзя отделить «речь для себя» от «речи для других», если рассматривать речь как целое. Путем анализа можно отметить лишь языковые черты того и другого типа речи.

Такое сложное взаимодействие «речи для себя» и «речи для других» наблюдается во всех перечисленных выше случаях, когда поэтический текст моделирует внутреннюю речь. Органическое слияние двух типов речи в поэтических текстах проявляется в семантике языковых средств. В частности, формы диалогической речи во многих случаях совмещают в себе значения, восходящие к двум названным источникам.

Указательные местоимения и наречия в поэтической речи способны выступать одновременно в анафорической и собственно дейктической функции (указание на речь и указание на действительность). В первой функции они организуют связный текст («речь для других»), во второй — передают внутреннее видение поэта, непосредственное восприятие (один из компонентов внутренней речи, внутреннего мира). Например, в стихотворении А. Фета «Сад весь в цвету»:

Сад весь в цвету,
Вечер в огне,
Так освежительно-радостно мне;
Вот я стою,
Вот я иду,
Словно таинственной встречи я жду.
Эта заря,
Эта весна
Так непостижна, зато так ясна!
Счастья ли полн,
Плачу ли я,
Ты — благодатная тайна моя!

Здесь местоимение *этот* выступает в анафорической функции, оно является связующим элементом текста. И в то же время оно устанавливает позицию наблюдателя, эмоционально воспринимающего описываемую картину, т. е. служит способом выражения внутренней речи.

Рамки лирического стихотворения открывают возможность выражать внутреннюю речь — по крайней мере, на отдельных участках текста — в предельно концентрированном виде. Например, в следующей строфе из стихотворения Б. Пастернака «Марбург», где, помимо дейксиса, вопрос и побуждение, обращенные лирическим героем к себе, и перечислительный ряд предикативно-характеризующих конструкций, выражающих восприятие лирического *я*, передают поток внутренней речи:

Когда я упал пред тобой, охватив
Туман *этот*, лед *этот*, *эту* поверхность
(Как ты хороша!) — *этот* вихрь духоты...
О чем ты? Опомнись! Пропало. Отвергнут.

Таким путем в лирическом тексте сочленяются два полярных начала — спонтанная внутренняя речь и — в высшей степени организованная, развернутая письменная речь — «речь для других».

В формах адресованной речи указанная антиномия поэтической речи проявляется еще более отчетливо. Обращение в поэтической речи способно совмещать функцию адресации и номинации (наименования предмета речи), адресации и предикации. Адресация относится к сфере внутренней речи, она служит знаком внутреннего диалога (диалога с собой, другим лицом, миром). Номинация и предикация — принадлежность сообщающей речи — «речи для других». Ярко обнаруживает сочетание внутренней речи и внешней речи в лирическом тексте употребление форм лица. Второе и третье лицо могут относиться к одному и тому же предмету. Усиление номинативной функции в обращении может сопровождаться свободным переходом от второго лица к третьему и обратно. В стихотворении Тютчева «Как хорошо *ты*, о море ночное» в четвертой строке первой строфы появляется третье лицо («Ходит, и дышит, и блещет *оно*...»), а в четвертой стро-

ке второй строфы — снова второе лицо («Тусклым сияньем облитое море, Как хорошо *ты* в безлюдье ночном!»). Второе лицо — знак внутреннего диалога, третье лицо — знак отчуждения, установления дистанции, превращения адресата в предмет «речи для других».

Более сложная структура возникает, когда в речи от первого лица, обращенной к лирическому *ты*, лирический герой отчуждает себя и говорит о себе в третьем лице. В стихотворении Тютчева «С какою негою, с какой тоской влюбленной» напряженный внутренний диалог с лирическим *ты* строится как отчужденный, отстраненный от *я* рассказ («С какою негою, с какой тоской влюбленной Твой взор, твой страстный взор изнемогал *на нем*!»; «И на руки *к нему* глава твоя склонялась, И, матери нежней, тебя лелеял *он*»...), и лишь в последней строфе возвращение к первому лицу сразу же устраняет дистанцию между *я* и *он*: «А днесь... О, если бы тогда тебе приснилось, Что будущность *для нас* обоих берегла...».

Так лирическая поэзия вырабатывает тонкие формы сочетания в тексте знаков внутренней речи и речи, рассчитанной на внешнего адресата.

Формы повелительного наклонения как знак прямой автокоммуникации — призыва говорящего к себе — обычно оказываются включенными в такой контекст, сверхиндивидуальный смысл которого расширяет адресата. Например, в стихотворении Пушкина «Соловей и роза»:

Не так ли ты поешь для хладной красоты?
Опомнись, о поэт, к чему стремишься ты?
Она не слушает, не чувствует поэта;
Глядишь, она цветет; взываешь — нет ответа.

Совмещение автоадресации с неопределенно широким адресатом — характерная черта лирической поэзии. Неоднозначность адресата, его расширение ведет к появлению обобщающего модального значения в повелительном наклонении. Ср. стихотворение Ф. Тютчева «Не рассуждай, не хлопочи!...». В заключительных строках третьей главы поэмы А. Блока «Возмездие» (*Когда ты загнан и забит*) конкретный и глубоко личный эпизод приобретает надындивидуальную значимость. Это наполняет формы повелительного наклонения широкой коммуникативной направленностью (*Тогда — остановись на миг Послушать тишину ночную*).

«Речь для себя» и «речь для других» оказываются в подобных случаях нераздельно слитыми. Глубоко внутренний опыт поэта, его диалог с собой в поэтическом тексте предельно возможным образом экстериоризирован. Автокоммуникация в поэзии стремится перерасти в коммуникацию с внешним миром. И чем крупнее масштаб поэта, чем значительнее содержание поэтического произведения, его общезначимость, тем скорее это происходит.

Безответный вопрос как знак внутренней речи, внутренних поисков знания о мире способен приобщать к этим поискам более широкого адресата. Подобно тому как смысл призыва к себе может оказаться созвучным широкому кругу адресатов, смысл безответного вопроса также может быть близким широкому адресату-читателю и вовлекать его в то стремление к знанию, которое характеризует внутренний мир поэта: «А в сем коне какой огонь! *Куда ты скачешь, гордый конь, И где опустишь ты копыта*?« (А. Пушкин, Медный всадник). «О смертной мысли водомет, О водомет неистощимый! *Какой закон непостижимый Тебя стремит, тебя мятет*?» (Ф. Тютчев, Фонтан). Безответный вопрос, как и повелительные формы — способ экстериоризации внутреннего мира, установления связи индивидуального с общим.

Неназывание предмета речи как знак внутренней речи компенсируется в поэтическом тексте его развернутой характеризацией. В неназывании предмета речи сказывается природа поэтического познания, способ восприятия и выражения. В поэтической речи наименование предмета речи бывает не только избыточным, но и невозможным в силу его сложности, отсутствия готового имени, или нежелательным, поскольку имя дает лишь общее понятие о предмете, не раскрывая индивидуального представления поэта о его сущности. Такое представление способны дать лишь признаки

предмета. Поэтому имя устраняется, а обозначение признаков заполняет пространство лирического текста, создавая его повышенную предикативность, концентрируя признаковую семантику. Яркий пример — стихотворение Б. Пастернака «Сложа весла», где предмет речи обозначен указательным словом *это*, а все пространство стихотворения заполнено раскрытием его признаков («*Этим* ведь в песне тешатся все. *Это* ведь значит — пепел сиреневый, Роскошь крошёной ромашки в росе, Губы и губы на звезды выменивать! *Это* ведь значит — обнять небосвод» и т. д.).

Л. С. Выготский отметил «сокращение мысли» и упрощение синтаксиса внутренней речи. В поэтической речи мысль одновременно и сокращается и развертывается, синтаксис и упрощается и усложняется. Сокращение мысли за счет пропуска наименования предмета речи (знак внутренней речи) сочетается с развертыванием мысли за счет варьирования предикатов, образования р я д о в предикатов, кружения вокруг одной темы («Еще, еще раз о том же самом!» [5]). Развернутый ряд сообщений, с одной стороны, моделирует внутренние поиски знания, стремление постигнуть предмет путем присвоения ему все новых признаков, при помощи все новых уподоблений, с другой стороны, такой ряд — структура, организуемая как «речь для других».

Повышенная предикативность поэтической речи наиболее отчетливо демонстрирует парадоксальность ее структуры. В данном случае одно и то же свойство имеет двойственную функцию. С одной стороны, концентрация предикативной семантики частично моделирует внутреннюю речь (частично — потому, что тяготение к абсолютной предикативности проявляется в поэтической речи лишь как тенденция). С другой стороны, это же свойство поэтической речи придает ей широкую социальную направленность и особую социальную значимость, поскольку повышенная предикативность уплотняет информацию и делает небольшой по размеру текст хранителем и передатчиком большого объема информации [6]. В этой особенности поэтической речи нерасчленимо соединяются «речь для себя» и «речь для других».

По способности конденсировать информацию с повышенной предикативностью сопоставима одна из наиболее существенных черт поэтической речи, проявляющаяся в области лексической семантики,— оперирование смыслами, а не значениями слов, сообщающее словам повышенную ассоциативность. Эту черту как присущую и внутренней речи и художественной — в широком смысле — речи также раскрыл Л. С. Выготский [4, с. 309]. В поэтической речи ее лексическая и синтаксическая структура одинаковым образом призваны концентрировать смысл, уплотнять информацию.

Неразделимое слияние в поэтической речи языковых особенностей, характеризующих «речь для себя» и «речь для других», усложняет семантику средств языка в поэтических текстах. Семантическая неоднозначность, которую можно наблюдать в поэтической речи, возникает в значительной степени как результат совмещения в поэтической речи двух коммуникативных ситуаций и слияния двух типов речи — внутренней речи и внешней речи.

Такое употребление грамматических форм, которое сложным образом совмещает внутреннюю и внешнюю речь, приближая текст то к одному, то к другому полюсу, хорошо согласуется с положением Ю. М. Лотмана о том, что «реальный поэтический текст транслируется по двум каналам одновременно...Он осциллирует между значениями, передаваемыми в канале „Я — Он“ и образуемыми в процессе автокоммуникации. В зависимости от приближения к той или иной оси и от ориентированности текста на тот или иной тип передачи он воспринимается как „стихи“ или как „проза“» [7, с. 236—237].

Совмещение двух каналов коммуникации делает лирическую поэзию единственным в своем роде способом экстериоризации внутреннего мира. Эта же особенность коммуникации в поэзии позволяет моделировать некоторые черты поэтического мышления — подвижность границ, их размывание между внешним миром и внутренним миром поэта.

Своеобразной чертой поэтического мышления является диалогическое общение со всем миром, расширение границ внутреннего мира до мыслимых границ мира внешнего. Сознание поэта раздвигает свои пределы, вмещая в себя внешний мир, который становится миром внутренним и в котором число возможных собеседников, адресатов речи безгранично возрастает. Эта черта поэтического мышления усиливает диалогичность внутренней речи поэта, и она же предопределяет повышенную диалогичность поэтической речи в лирике.

Несколько слов следует сказать об отличии внутренней речи в лирике от внутренней речи в других речевых жанрах. Диалогические формы речи, воспроизводящие внутреннюю речь, могут присутствовать и в эпических жанрах — во внутреннем монологе героя повествования, в несобственно прямой речи, при включении в повествование «субъектного плана» персонажа, его точки зрения. Во всех подобных случаях имитируется коммуникативная ситуация естественно протекающей внутренней речи, которая всегда представляет собой «речь в речи», «чужую речь», входящую в речь автора, а не прямо, непосредственно в рамки произведения. Этим отличается внутренняя речь в романе от внутренней речи в лирическом стихотворении.

Автор лирического стихотворения, включающий в текст элементы внутренней речи, занимает, как это было показано выше, двойственную коммуникативную позицию, в то время как коммуникативная позиция героя романа однозначна, как и в естественной ситуации внутренней речи. Сложную полифоническую структуру, ориентированную на адресата-читателя, представляет роман в целом.

Лирика предполагает непосредственное (а не опосредованное, как в романе) введение внутренней речи в рамки стихотворения. Интересен в этом отношении остроумный эксперимент А. А. Потебни, обнажающий особенности жанра. А. А. Потебня приводит стихотворение Фета «Облаком волнистым»:

Облаком волнистым
Пыль встает вдали;
Конный или пеший —
Не видать в пыли.
Вижу: кто-то скачет
На лихом коне.
Друг мой, друг далекий,
Вспомни обо мне!

В этом стихотворении,— пишет Потебня,— «только форма настраивает нас так, что мы видим здесь не изображение единичного случая, совершенно незначительного по своей обычности, а знак или символ неопределенного ряда подобных положений и связанных с ним чувств. Чтобы убедиться в этом, достаточно разрушить форму. С каким изумлением и сомнением в здравомыслии автора и редактора встретили бы мы на особой странице журнала следующее: „Вот что-то пылит по дороге, и не разберешь, едет ли кто или идет. А теперь видно... Хорошо бы, если бы заехал такой-то!“» [8, с. 340].

Этот текст представляет внутреннюю речь и в письменном воспроизведении требует включения в границы определенного жанра. Его бессмысленность объясняется отсутствием жанровых рамок. (О рамках художественного произведения см. [9]). В дневниковом жанре подобное высказывание не будет бессмысленным — это будет естественная «речь для себя». В эпическом жанре художественной литературы такое высказывание, чтобы обрести смысл, должно предстать как «речь в речи», как чья-то точка зрения. «Чужая речь» должна быть вставлена в речь автора, которая, в свою очередь, должна быть заключена в рамки определенного эпического жанра — романа, поэмы и т. д. Ср.: «Он не мог ошибиться. Только одни на свете были *эти* глаза. Только одно было на свете существо, способное сосредоточивать для него весь свет и смысл жизни. *Это* была она. *Это* была Кити. Он понял, что она ехала в Ергушово со станции железной дороги» (Л. Толстой).

Особенность жанра лирического стихотворения — в том, что внутренняя речь лирического *я* вводится в его рамки прямо, непосредственно. Но здесь ее функциональная значимость видоизменяется, поскольку она становится элементом сложно организованной поэтической структуры, строящейся как речь для других и способной, как хорошо сказал Потебня, быть символом «неопределенного ряда подобных положений и связанных с ними чувств».

Отсюда ясно, что не только функции языковых средств в разных жанрах, но и сами по себе речевые жанры различаются в каждом случае своеобразным сочетанием факторов, восходящих к условиям коммуникации.

Способы передачи внутренней речи в лирике являются непреходящими, универсальными языковыми особенностями жанра. Они входят в язык лирической поэзии, становятся поэтическими приемами и, следовательно, элементами формы. Форма повторяется, тускнеет и сама по себе утрачивает ценность. Вдохнуть жизнь в эти приемы может только живое и значительное, незаурядное содержание (означаемое лирического текста, референт). Небезразлично, как поэт воспринимает мир, что является предметом его внутреннего созерцания, что его притягивает или отталкивает, как он оценивает вещи, какие желания он высказывает, какие вопросы он задает, как он отвечает на вопросы и, наконец, какие признаки вещей он раскрывает и в какой иерархии их выстраивает. Если эти процессы, протекающие во внутренней речи, ведут к поэтическим открытиям, соответствующие формы передачи внутренней речи, присущие лирической поэзии, обретают живую функцию.

Модель коммуникации позволяет, таким образом, выявить факторы, определяющие постоянные признаки жанра лирического стихотворения, и факторы, определяющие переменные признаки произведений этого жанра.

Поэтическая речь и разговорная речь. Соотношение поэтической и внутренней речи дает ключ к раскрытию другого соотношения — поэтической и разговорной речи.

Известно, что поэтическая и разговорная речь обладают некоторыми общими признаками, выделяющими их из ряда других разновидностей речи. Определенные средства языка употребляются преимущественно или исключительно в этих двух типах речи. Но (если это не прямая имитация разговорной речи) семантика и функции таких средств оказываются в поэтической и разговорной речи различными. Е. А. Земская отметила, что «свойственная и РР, и поэтическому языку свобода построения единиц и конструкций имеет, кроме указанного сходства, и различия: одни и те же по форме единицы и конструкции могут нести разную функциональную нагрузку в РР и языке художественной литературы» [10, с. 8].

Е. Н. Ширяев вплотную подошел к проблеме сходства между поэтической и разговорной речью, исследуя бессоюзные сложные предложения, широко распространенные в обеих разновидностях речи. Общность обнаружилась не только в самом факте регулярного функционирования бессоюзных сложных предложений в поэтической и разговорной речи, но и в некоторых семантических их характеристиках, например, в недифференцированных значениях. С полным основанием Е. Н. Ширяев квалифицирует подобное сближение как парадокс: «поэтический язык, который по своей природе является языком, требующим тщательнейшей художественной обработки и потому в принципе исключающий всякую спонтанность, явным и неслучайным образом сближается со спонтанной РР. Противоположности сходятся. В чем же причина такого парадокса?» [11, с. 35].

Отмеченный Е. Н. Ширяевым парадокс со стойкой закономерностью проявляется в функционировании всех синтаксических средств в поэтической речи. Причина указанного парадокса, а именно — присутствие в высокоорганизованном поэтическом тексте черт спонтанной речи, близкой к разговорной,— может быть в полной мере раскрыта, если ввести в поле зрения внутреннюю речь, которая в этом отношении может послужить своего рода опосредующим звеном между разговорной и поэтической речью.

Коммуникативная ситуация внутренней речи по ряду признаков совпадает с коммуникативной ситуацией разговорной речи (см. изложенные выше идеи Л. С. Выготского об общих коммуникативных условиях в устной и внутренней речи). Решающую роль в сближении устной и внутренней речи играют факторы, восходящие к позиции говорящего и характеру адресованности. Именно к этим двум слагаемым модели коммуникации относятся основные условия функционирования разговорной речи, которые выделяют ее исследователи: неподготовленность речи; непринужденность общения; непосредственное участие говорящих в акте коммуникации [1, с. 9; 10, с. 5; 12, с. 11]. К позиции говорящего по отношению к адресату речи и по отношению к внеязыковой ситуации восходят и такие факторы, определяющие строение разговорной речи, как общность апперцепционной базы участников диалога [13] и «сильная опора на внеязыковую ситуацию» [12, с. 11].

Все перечисленные условия коммуникации, присущие разговорной речи, характеризуют и внутреннюю речь. Спонтанность речи вытекает из самой природы внутренней речи. Непосредственное участие говорящих в акте коммуникации связано с тем, что адресатом во внутренней речи часто является сам говорящий. Если же адресатом служит другое лицо, то воображение говорящего приближает его, как бы ставит его в ситуацию непосредственного общения (см. выше о функциях второго лица). Сильная опора на внеязыковую ситуацию во внутренней речи вытекает из полной известности говорящему предмета речи и присутствия в его сознании в момент речи всей экстралингвистической ситуации.

Перечисленные условия коммуникации, общие для внутренней и разговорной речи, создают базу для сходных принципов построения речи и употребления одинаковых языковых средств. В той мере, в какой лирическая поэзия моделирует внутреннюю речь, в ней открывается возможность свободного функционирования речевых форм и языковых единиц, общих для внутренней и разговорной речи. Лирическая поэзия — единственный жанр, в котором регулярное употребление формально «разговорных» средств языка не является результатом имитации разговорной речи (хотя такая имитация во многих поэтических стилях имеет место), но непосредственно вытекает из ряда определенных коммуникативных предпосылок, характеризующих и устную разговорную речь и внутреннюю речь поэта.

Следует упомянуть также явление, присущее внутренней речи, но наблюдаемое и в устной разговорной речи,— диалогическое общение не только с другими лицами, но с самим собой и с предметами. Воображаемый диалог с другими лицами и диалог с собой — общераспространенное свойство внутренней речи. Вероятно, не для всех и не в одинаковой степени характерен диалог с предметным миром. Свидетельством естественного внутреннего диалога с собой служат дневниковые записи или устная речь наедине с собой. Диалог с предметами также иногда принимает устную форму, озвучивается. Например, водитель такси возится с мотором и, не понимая, что происходит, говорит с вопросительной интонацией: «*Не понял*?...» Прислушивается к работе мотора и через некоторое время отвечает: «Так. Теперь понял». Интересен разговор Гете с камнем, который изобразил Томас Манн в романе «Лотта в Веймаре». Приводится устный рассказ Гете:

«— И вот, когда мы,— так продолжался рассказ,— едва тащились по дороге, к тому же еще круто поднимающейся в гору, я вдруг увидал на обочине нечто, заставившее меня немедленно вылезть из экипажа, чтобы поближе рассмотреть диковинку. „Как ты-то сюда попал? Откуда ты взялся?“ — спрашивал я, ибо что бы вы думали глядело на меня из грязи? Близнецовые кристаллы полевого шпата!

⟨...⟩ все начали высказывать восторг по поводу встречи рассказчика с этим чудом природы, и восторг неподдельный, ибо он так живо и драматично рассказал о ней, а его радостное и удивленное восклицание: „Как ты-то сюда попал?“ было столь очаровательно, такое неожиданное, трогательное и сказочное впечатление производило, что человек — и какой че-

ловек! — на „ты“ обращался к камню, что этот случай вызвал живое участие не в одном горном советнике» [14].

В обоих случаях диалог происходит с предметами, близкими говорящему, хорошо ему знакомыми. Эта черта в высшей степени присуща внутренней речи поэта, который сближается с предметным миром (ср. слова Б. Пастернака о «чувстве короткости со вселенной» [15]). Она предопределяет повышенную диалогичность лирической поэзии.

Поскольку коммуникативная позиция говорящего в поэтической речи частично совпадает с коммуникативной позицией говорящего во внутренней и разговорной речи, то и поэтическая речь в известной мере оказывается носителем тех свойств, которые определяют структуру разговорной речи,— некоторой спонтанности и непринужденности. Эти свойства и являются источником более свободного употребления языка, менее строгих синтаксических построений, чем в непоэтической речи, вполне допустимых (как и в разговорной речи) и мало заметных отклонений от нормы, возможности появления аграмматических структур.

Близость поэтической и разговорной речи ограничивается чертами, вытекающими из тех коммуникативных условий, которые у них совпадают, т. е. условий, присутствие которых в поэтической речи объясняется тем, что лирическая поэзия моделирует внутреннюю речь. Но, как это было раскрыто выше, передача внутренней речи — лишь один канал связи. В поэтической речи действует одновременно другой коммуникативный канал, предполагающий резко отличную от первой позицию говорящего. Эта позиция характеризуется установкой на создание особым и сложным образом организованного письменного текста, рассчитанного на внешнего адресата-читателя. Условия, входящие в модель коммуникации в этом другом канале связи, не имеют общих признаков с коммуникативными условиями разговорной речи. Своеобразен характер референции в поэтическом сообщении, несравненно более сложной по сравнению с обиходной речью (говоря о ключевых темах лирики, Л. Я. Гинзбург отмечает, что «они касаются коренных аспектов бытия человека и основных его ценностей...» [16]). Сложно строится поэтическое сообщение (текст) — так, что в нем возникает свой индивидуальный код (поэтический язык), создающий неповторимый индивидуальный смысл.

Своеобразие коммуникации в поэтической речи, особый характер всех слагаемых коммуникативной модели часто радикальным образом изменяют семантический и функциональный статус средств языка по сравнению с разговорной речью — вплоть до омонимии.

Сопоставление коммуникативных условий в трех типах речи — внутренней, устной разговорной и поэтической — показывает, что парадоксальность поэтической речи таится в самих факторах коммуникации. Коммуникативные признаки, общие для поэтической и разговорной речи, приводят к употреблению одинаковых конструкций и к некоторым сходным принципам построения речи. Но с другой стороны, признаки, различающие поэтическую и разговорную речь, служат причиной различий семантики и функций одних и тех же языковых средств или различного воплощения в структуре речи некоторого общего принципа.

К таким общим принципам, общим тенденциям, проистекающим из знания экстралингвистической ситуации и присутствия собеседника (признаки, общие для разговорной и внутренней речи), относится возможность строить речь с опущенными смысловыми звеньями. Например — последовательности высказываний со сложными отношениями, предполагающими вербально не выраженные смыслы. Возможная смысловая сложность и неоднозначность отношений между высказываниями в поэтическом тексте не позволяет эксплицировать такие отношения без существенных потерь. Эта черта присуща поэтической речи в силу сложного характера референции. В то же время, как это показал Е. Н. Ширяев, в устном диалоге подобная экспликация (восстановление опущенных звеньев) в принципе возможна (см. [11]). И общность и различия связаны здесь с общностью одних коммуникативных признаков и различием других. В поэтической речи усложнению отношений между высказываниями в тексте

способствуют и некоторые особенности структуры поэтического сооощения (структура сообщения — один из компонентов коммуникативной модели), в частности, невербальные аспекты структуры сообщения — единство и теснота стихового ряда и, наряду с линейным, вертикальный способ смысловой связи [17].

Различия между поэтической и разговорной речью при некоторых чертах внешнего сходства объясняются различной конфигурацией признаков, восходящих к условиям коммуникации в этих двух типах речи.

Заключение. Характеристики, вытекающие из условий речевой коммуникации, образуют всякий раз новую конфигурацию коммуникативных признаков, совокупность которых предопределяет значение синтаксической формы в речи. Многие средства языка остаются семантически тождественными себе лишь при сохранении в определенном неизменном виде всех условий коммуникации.

Участие всех компонентов коммуникации в становлении семантики и функций языковых средств и в формировании типа речи говорит о том, что выделение в особую сферу прагматических факторов и жесткое разграничение высказывания-результата и высказывания-процесса способны заслонить реальный механизм образования значений в формах языка. Знаменателен в этом отношении вывод Е. В. Падучевой о том, что семантику предложения следует описывать «в контексте речевого акта, т. е. описывать семантику предложения, функционирующего как высказывание. Объект, с которым должна иметь дело семантика,— это не только семантическое представление предложения, но и семантико-прагматическое представление предложения в составе речевого акта» [18].

Если рассматривать высказывание (в широком смысле) как результат, то в поле зрения попадает только структура текста. Если же мы берем высказывание как процесс, то мы должны считаться со всеми условиями коммуникации, включая и структуру текста. В этом случае принимаются во внимание все факторы, которые определяют семантику и функции средств языка и специфику функционального типа речи и речевого жанра. Обеспечивается, таким образом, необходимая полнота условий, регулирующих употребление языка в речи. Полная модель коммуникации может послужить надежной основой для построения лингвистики речи — лингвистики типов речи и речевых жанров.

ЛИТЕРАТУРА

1. Русская разговорная речь. М., 1973.
2. *Якобсон Р. О.* Лингвистика и поэтика.— В кн.: Структурализм: «за» и «против». М., 1975.
3. *Степанов Г. В.* К проблеме единства выражения и убеждения (автор и адресат).— В кн.: Контекст. 1983. М., 1984.
4. *Выготский Л. С.* Мышление и речь. М.— Л., 1934.
5. *Сильман Т. И.* Заметки о лирике. Л., 1977, с. 140.
6. *Лотман Ю. М.* Структура художественного текста. М., 1970.
7. *Лотман Ю. М.* О двух моделях коммуникации в системе культуры.— Труды по знаковым системам. VI. Тарту, 1973, с. 237.
8. *Потебня А. А.* Эстетика и поэтика. М., 1976.
9. *Успенский Б. А.* Поэтика композиции. М., 1970.
10. *Земская Е. А., Китайгородская М. В., Ширяев Е. Н.* Русская разговорная речь. Общие вопросы. Словообразование. Синтаксис. М., 1981.
11. *Ширяев Е. Н.* Бессоюзное сложное предложение в современном русском языке: Автореф. дис. на соискание уч. ст. докт. филол. наук. М., 1983.
12. *Земская Е. А.* Русская разговорная речь: лингвистический анализ и проблемы обучения. М., 1979.
13. *Якубинский Л. П.* О диалогической речи.— В кн.: Русская речь. I. Пг., 1923.
14. *Манн Т.* Лотта в Веймаре.— Собр. соч. М., 1959, т. 2, с. 697.
15. *Пастернак Б.* Воздушные пути. Проза разных лет. М., 1982, с. 376.
16. *Гинзбург Л. [Я.]* Частное и общее в лирическом стихотворении.— ВЛ, 1981, № 10, с. 153.
17. *Балашов Н. И.* Структурно-реляционная дифференциация знака языкового и знака поэтического.— ИАН СЛЯ, 1982, № 2.
18. *Падучева Е. В.* Референциальные аспекты семантики предложения.— ИАН СЛЯ, 1984, № 4, с. 292.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 1 1986

БОНДАРКО А. В.

СЕМАНТИКА ПРЕДЕЛА

В языковых значениях содержится денотативный аспект, сопряженный с отношением единиц системы языка к внешнему миру. Вместе с тем с каждой формой связана особая языковая семантическая интерпретация (способ представления) мыслительного содержания. Это явление привлекало к себе внимание языковедов XIX в. в связи с рассмотрением внутренней формы в языке как «способа представления внеязычного содержания» [1, с. 47]. Для данного аспекта языковых значений в лингвистической литературе нет единого термина. Тем не менее он так или иначе освещается, когда речь идет о языковой стилизации [2, с. 10—13 и сл.], о стратификации семантики, о соотношении языкового и мыслительного содержания (значения и смысла) и т. п. [3, с. 232—234; 4, с. 44; 5, с. 14—25; 6; 7, с. 57—75]. В целом же степень разработки указанного аспекта языковых значений на современном уровне явно недостаточна. Это становится особенно ясным на фоне интенсивного изучения семантики в рамках денотативно-понятийных, референциальных и коммуникативно-прагматических концепций. Важно подчеркнуть, что сами по себе эти концепции оказываются односторонними вне соотнесенности с анализом языковых значений с точки зрения их внутренней содержательной формы.

В понятии языковой семантической интерпретации мыслительного содержания, с нашей точки зрения, могут быть выделены следующие аспекты: 1) избирательность по отношению к элементам внеязыкового мира, отражаемым в сознании людей; 2) модификация понятийной основы содержания в исторически сложившихся значениях языковых единиц (со всеми их оттенками и возможными элементами избыточности; в частности, речь идет об избыточности, вытекающей из обязательности грамматических категорий в языках флективно-синтетического типа); 3) сочетание денотативных и коннотативных элементов значений; 4) различие дискретного и недискретного представления мыслительного содержания; 5) сочетание эксплицитных и имплицитных содержательных элементов; 6) конкретно-языковые проявления семантической категоризации (вариативности) в ее отношении к формальным различиям (вариативность выходит далеко за пределы понятия языковой семантической интерпретации, но вместе с тем пересекается с ним; ср., в частности, межъязыковые различия в иерархизации семантических типов, подтипов, разновидностей и вариантов в рамках определенной семантической категории).

Указанные аспекты понятия языковой семантической интерпретации мыслительного содержания далее в той или иной мере затрагиваются при рассмотрении семантики предела.

Внутренний и внешний предел. В самом общем смысле предел действия — это его временна́я граница, ограничение его протекания во времени (речь идет о «действии» в самом широком смысле, охватывающем любые разновидности глагольных предикатов, включая состояния и отношения).

Предел может быть внутренним и внешним. В тех случаях, когда временна́я граница не зависит от характера самого действия и обусловливается внешними по отношению к нему факторами (обстоятельствами ограничения длительности и т. п., наступлением другого действия), мы имеем дело с внешним пределом. Например: *Он находился там до трех часов*; *Буду спать, пока меня не разбудят*. Если же ограничение протека-

ния действия во времени определяется характером самого действия, отраженным в значениях глагола (в частности, в значениях вида и способа действия, а также в лексической семантике), то речь должна идти о в н у т р е н н е м п р е д е л е. Такой предел касается «внутреннего времени действия» (по выражению Г. Гийома [8, с. 47—48]).

Значения внутреннего и внешнего предела могут пересекаться и взаимодействовать. Характерный пример — глаголы ограничительного и длительно-ограничительного способов действия (*полежать часа два*, *пролежать весь день* и т. п.). Их специфика состоит в том, что в самом способе действия (а это в других случаях источник «внутренне-предельных» значений) заключена связь с внешним пределом. Ограничение длительности — это «внешне-предельное» значение. Не случайно оно соотносится со значением обстоятельств типа *пять минут*, *целый месяц*. Вместе с тем данное значение включено в семантику приставочного глагола и взаимодействует со значением совершенного вида (СВ). На семантику ограничительного или длительно-ограничительного способа действия накладывается видовое значение предела: ограниченное мерой длительности действие представлено в полноте (исчерпанности) этой меры. Тем самым внешне-предельная по своему мыслительному содержанию характеристика глагольного действия в своем конкретно-языковом воплощении становится элементом его внутренней содержательной структуры. Далее речь будет идти лишь о внутреннем пределе.

Характеризуя понятие предела, необходимо эксплицировать упомянутое выше «ограничение действия во времени». Предел — это значение полноты (исчерпанности) фиксируемого данным глаголом проявления действия во времени [1]. Имеется в виду не само по себе внеязыковое действие со всеми его реальными элементами, а его представление в глагольных значениях. В полноте, исчерпанности представляется то проявление, которое определяется, в частности, способом глагольного действия (ср. глаголы типа *посидеть*, *просидеть*).

У начинательных глаголов значение ограниченности пределом относится не к действию в целом, а лишь к его начальной фазе. Действие может продолжаться, например: *Мы поплыли к другому берегу* (*и продолжали плыть*); *Он громко заговорил* (*и продолжал говорить*), но этот элемент предполагаемого (или явно обозначенного) продолжения находится за пределом той выделенной в языковом представлении действия фазы, которая действительно исчерпала себя и продолжаться не может.

Реальный и потенциальный предел. В аспектологических работах давно проводится различие между реальным достижением предела и направленностью на предел [см. 10, с. 10, 16—17; 11, с. 15]. Обозначим это различие терминами р е а л ь н ы й / п о т е н ц и а л ь н ы й п р е д е л (ср.: *Он пробрался/пробирался через толпу*).

Различие между реальным и потенциальным пределом в русском и других славянских языках подчеркивается четким распределением этих значений по видовым формам: реальный предел — постоянный семантический признак СВ (НСВ способен передавать лишь особую имплицитную разновидность реального предела); потенциальный предел может быть выражен лишь формами НСВ.

Значение потенциального предела (в его отношении к реальному пределу) в разных языках занимает различное положение в общей системе лимитативных отношений. Так, в немецком языке, как отмечает В. М. Павлов, «...существуют лексемные отображения трансформативных действий (т. е. предельных в самой объективной действительности — *Б. А.*), допускающие как выражение таких действий в процессном аспекте (с ослабленным или даже дезактуализированным „фоном“ осмысления трансформативного действия как объективно направленного к достижению

---

[1] Ср. суждения Ф. Ф. Фортунатова о значениях форм перфективного и имперфективного вида в общеиндоевропейском языке: «... первая обозначала данный признак в полноте его проявления во времени, а вторая не имела этого значения, т. е. обозначала тот же признак без отношения к полноте его проявления во времени» [9, с. 161].

предела), так и выражение целостного представления действий в их полноте и исчерпанности...» [12, с. 54].

Понятие потенциального предела сопряжено с процессностью, т. е. с представлением действия в процессе его протекания, ср.: *Суп уже закипал в чугунке*; *Мать выздоравливает* [см. 7, с. 118—159]. Выражение потенциального предела обязательно предполагает процессность, но не всякая процессность предполагает потенциальный предел, поскольку процесс может быть и непредельным (*Мы гуляли по парку*). Между процессом, связанным с потенциальным пределом, и непредельным процессом в русском языке нет четких формальных различий. В связи с этим и семантическое различие может быть размытым.

Значения реального и потенциального предела отличаются друг от друга разной степенью дискретности. Реальный предел — самостоятельное, четко выделяющееся значение, тогда как потенциальный предел — лишь переменный элемент, сопровождающий значение процессности.

При всех различиях между реальным и потенциальным пределом эти разновидности предела объединяются в понятии предельности. Предельность глагола — это его способность выражать либо реальный, либо потенциальный предел. Соответственно непредельность — отсутствие способности выражать какой бы то ни было предел — как реальный, так и потенциальный (ср.: *бездельничать*).

Эксплицитный и имплицитный предел. Вводя данное различие, мы имеем в виду разновидности реального предела, связанные прежде всего с эксплицитным (явным, подчеркнутым) или имплицитным (менее явным, неподчеркнутым) характером самого содержания. Имплицитное (подразумеваемое) содержание вытекает из содержания эксплицитного или из сопровождающей его ситуативной информации. Имплицитное содержание может быть особой модификацией эксплицитного содержания в ограниченных условиях функционирования грамматических единиц (в частности, когда вместо маркированной формы употребляется форма немаркированная).

Предел является э к с п л и ц и т н ы м, если налицо явно выраженное значение полноты (исчерпанности) данного проявления действия. В славянских языках такому характеру значения предела соответствует его выражение специальной грамматической формой СВ. Предел является и м п л и ц и т н ы м, если данное значение лишь подразумевается в определенных условиях контекста, хотя и при участии грамматических форм, допускающих такую импликацию. По отношению к русскому языку речь идет прежде всего об употреблении формы НСВ в позициях нейтрализации видового противопоставления и так называемой «конкуренции видов». Форма НСВ участвует в передаче значения предела, но особым образом; допуская в силу своей семантической немаркированности имплицитную информацию о реальном пределе. Ср.: 1) эксплицитный предел: *После короткого затишья вдруг опять сорвался дождь и с шумом обрушился на землю*; 2) имплицитный предел а) при нейтрализации видового противопоставления в настоящем историческом: *После короткого затишья вдруг опять срывается дождь и с шумом обрушивается на землю*; в прошедшем времени при выражении повторяющихся действий: *После короткого затишья вдруг опять срывался дождь и с шумом обрушивался на землю* (в обоих случаях НСВ выступает вместо невозможного в данных условиях СВ); б) при «конкуренции видов»: *Я уже читал* (ср.: *прочитал*) *эту книгу*.

Основной семантической разновидностью реального предела является эксплицитный предел. Имплицитная же разновидность имеет относительно периферийный характер. Потенциальный предел, как было показано выше, характеризуется содержательной недискретностью. Мы имеем здесь дело с особой разновидностью имплицитного предела: подразумевается направленность действия на достижение его границы.

В грамматической системе русского языка обращает на себя внимание четкое распределение семантических разновидностей предела по видовым формам: основная линия явно выраженных разновидностей предела (реальный эксплицитный предел) сопряжена с СВ; разновидности предела,

противопоставленные звеньям этой цели (потенциальный предел, противопоставленный реальному, и имплицитный реальный предел, противопоставленный эксплицитному), связаны с НСВ (который вместе с тем выражает и непредельные действия).

Абсолютный и относительный предел. М. Я. Гловинская обратила внимание на тот факт, что не все глаголы СВ в русском языке обозначают действие, которое далее не может продолжаться (*лечь*, *надеть*, *сесть*, *умереть*, *упасть* и т. п.). Существуют целые группы глаголов СВ, обозначающих действие, которое может быть продолжено. Таков, в частности, класс глаголов, обозначающих изменения свойств или положения в пространстве: *возрасти*, *замедлить(ся)*, *заострить(ся)*, *нарастить* (*темпы*), *окрепнуть*, *ослабеть*, *охладить(ся)*, *повысить(ся)*, *покраснеть*, *разогреть(ся)*, *сократить(ся)*, *увеличить(ся)*, *удалить(ся)*, *удлинить(ся)*, *ускорить(ся)* и т. п. [см. 13, с. 9].

Различие невозможности/возможности дальнейшего продолжения действия имеет важное значение. Указанные факты дают основание выделить две разновидности предела: абсолютный и относительный предел. Этот вывод расходится, однако, с тем заключением, к которому приходит М. Я. Гловинская (предел не является универсальным свойством значения СВ). С нашей точки зрения, в высказываниях типа *Цены повысились*, как и в высказываниях типа *Он надел пальто*, налицо значение предела, только в первом случае предел относительный, а во втором абсолютный.

Рассмотрим пример: — *Ты заметил? Поезд замедлил ход.* В реальной действительности замедление хода поезда может продолжаться, однако этот элемент, связанный с лексическим значением глагола и ситуативной информацией, не противоречит выражаемому формой СВ значению ограниченности пределом. Говорящий, употребляя форму СВ, представляет в полноте осуществления именно данное и только данное проявление действия (то, что он заметил). Последующее же замедление хода поезда выходит за пределы значения СВ, хотя и включается в общий объем передаваемой информации (как элемент «ситуативного фона»).

Различие между абсолютным и относительным пределом выявляется в лексических значениях глаголов, в значениях некоторых способов действия, в ситуативной информации и в сочетаемости глагольных форм. Однако значение СВ, заключающее в себе лишь минимум информации о пределе, данным различием не затрагивается. Как и всякое грамматическое значение, оно характеризуется определенной избирательностью по отношению к явлениям объективной действительности и денотативным аспектам семантики. Таким образом, категориальное значение СВ, основанное на понятии предела, действительно распространяется на все глаголы. Следует лишь учитывать тот интерпретационный элемент семантики предела, о котором шла речь выше.

Понятие относительного предела распространяется не только на указанную выше группу глаголов, но и на другие глаголы. Речь идет прежде всего о глаголах начинательного способа действия (ср.: *Волки завыли и продолжали выть до утра*). Как уже было отмечено выше, само значение начинательного способа действия предполагает отнесенность предела к начальной фазе и последующую имплицируемую длительность процесса. Относительность предела включается в данном случае в характеристику способа глагольного действия. Глаголы ограничительного и длительно-ограничительного способов действия не столь тесно связаны с относительным пределом, но вполне допускают сочетаемость типа *Проболел целый месяц и продолжает болеть.*

В системе разновидностей семантики предела рассматриваемое членение проходит внутри понятия реального предела (по отношению к потенциальному пределу вряд ли существенно различие в направленности на абсолютный или относительный предел). Указанные разновидности касаются эксплицитного предела, выражаемого формами СВ, но могут быть отмечены и при передаче имплицитного предела с участием форм НСВ. Ср.: а) *Он снимает пальто и входит в комнату* (абсолютный имплицит-

ный предел); б) *Внезапно поезд замедляет ход, все начинают собирать вещи* (относительный имплицитный предел).

Поле лимитативности. Назовем систему разных типов отношений действия к пределу в данном языке, соотнесенную с системой разноуровневых формальных средств, функционально-семантическим полем (ФСП) лимитативности. Данное поле охватывает все указанные выше разновидности внутреннего предела и разные отношения действия к пределу, включая его отсутствие. Внешний предел относится к данному полю лишь постольку, поскольку он связан с внутренним пределом. Что же касается собственно внешнего предела, то эта семантика скорее относится к сфере длительности (в случаях типа *Мы сидели там до вечера*) или к пересечению длительности и таксиса (в случаях типа *Мы сидели там, пока не стемнело*).

Поле лимитативности есть в любом языке, однако в структуре данного ФСП существуют межъязыковые различия. В русском языке в поле лимитативности представлена следующая иерархия отношений действия к пределу: 1) наиболее абстрактное и наиболее грамматикализованное противопоставление ограниченности/неограниченности действия пределом, лежащее в основе грамматической категории вида и охватывающее всю глагольную лексику; 2) особая разновидность указанного противопоставления — направленность действия на предел (результат)/его достижение (*доказывать — доказать*, *светлеть — посветлеть* и т. п.); 3) противопоставление предельности/непредельности как признаков глагольных лексем и образуемых ими лексико-грамматических разрядов предельных/непредельных глаголов [см. 10, с. 10—17; 14, с. 11—12, 38—40, 157—196].

В центре семантической структуры рассматриваемого поля в русском языке находится категориально-грамматическая лимитативность (включая указанную в п. 2 ее спецификацию), на периферии же — противопоставление значений предельности/непредельности. Если иметь в виду компоненты ФСП в единстве их содержания и выражения, то структура поля лимитативности в русском языке включает: а) категорию вида как грамматическое ядро (центр) поля, б) периферийные компоненты — лексико-грамматические разряды предельных/непредельных глаголов и связанные с ними способы действия; к периферии данного поля относятся также лексические обстоятельственные показатели типа *постепенно*, *совсем*.

В тех языках, где ограниченность/неограниченность действия пределом не имеет статуса грамматической категории, т. е. не опирается на специальную систему грамматических форм, значимость противопоставления предельности/непредельности в общей системе отношений действия к пределу повышается. Так, во французском языке предельность/непредельность глагола, как отмечает Е. А. Реферовская, играет доминирующую роль в аспектуальной характеристике действия, какой бы глагольной формой оно ни выражалось [15, с. 91—109]. В немецком языке категориальный семантический признак предельности/непредельности стоит на первом месте по значимости среди различных проявлений взаимодействия грамматических форм с категориальными элементами семантики глагольных лексем (к такому выводу приходит В. М. Павлов [12, с. 49]). В узбекском языке, где отсутствует обязательная и всеобъемлющая категория вида, а формальные показатели аспектуальных отношений употребляются факультативно, как отмечает Д. М. Насилов, возрастает роль аспектуальных характеристик, заключенных в лексической семантике глаголов,— значений действия и состояния в их отношении к значениям предельности/ /непредельности [16, с. 128—165].

В группировку полей аспектуальности (с семантикой характера протекания и распределения действия во времени) помимо лимитативности входят следующие ФСП: длительность, кратность, фазовость, перфектность, статальность и реляционность (выражение отношения). С группировкой ФСП аспектуальности пересекается временна́я локализованность/ нелокализованность (ср., в частности, выражение узуальных и «вневременных» действий), которую мы трактуем как особое ФСП.

Статус поля лимитативности в аспектуальных системах разных языков

не одинаков. В русском и других славянских языках лимитативность занимает центральное положение среди других аспектуальных полей. Это обусловлено наличием грамматической категории вида, базирующейся на отношении действия к пределу. Однако в языках, где лимитативные отношения не грамматикализованы и не характеризуются той регулярностью, которая наблюдается в славянском глаголе, поле лимитативности может занимать иное положение в аспектуальной системе. Лимитативность оказывается лишь одним из центров группировки полей аспектуальности либо явно уступает центральное положение другим аспектуальным отношениям, в частности, кратности. Так, в коми-зырянском языке, как отмечает Б. А. Серебренников, почти с абсолютной регулярностью выражается многократность действия. Вместе с тем «одна и та же глагольная форма, в зависимости от контекста, может выражать в одинаковой мере как совершенное, так и несовершенное действие» [17, с. 86]. В кетском языке, по данным Е. А. Крейновича, значения завершенности/незавершенности действия сопряжены с временными различиями: завершенность связана с прошедшим временем, а незавершенность — с будущим и настоящебудущим [18, с. 14—17]. С другой стороны, отмечается регулярность выражения однократности/многократности [19, с. 79; ср. 20, с. 199—201]. В венгерском языке помимо признаков предельности/непредельности выражается и признак «достижение предела», однако видовые образования характеризуются лишь ограниченным охватом глагольной лексики и недостаточной регулярностью, что не позволяет говорить о наличии вида как грамматической категории [21, с. 70]. Как отмечает Л. Дэжё, признак достижения внутреннего предела, доминантный в русском языке, не имеет такого статуса в венгерском. Важную роль в венгерской аспектуальной системе играет количественная аспектуальность, в частности, выражение итеративности [21, с. 70—80].

Подобные факты свидетельствуют о том, что с точки зрения статуса лимитативности в общей системе аспектуальных отношений могут быть выделены разные типы аспектуальных систем. В частности, четко выделяется тип аспектуальной системы с ярко выраженной доминантой лимитативности, опирающейся на грамматическую категорию вида. Этот тип наиболее полно представлен в славянских языках. С другой стороны, может идти речь об аспектуальных системах с не столь явно выраженной лимитативной доминантой и даже о системах с недоминирующей лимитативностью.

Далее на материале русского языка анализируются выделенные выше лимитативные отношения.

Ограниченность/неограниченность действия пределом. Понимание значения СВ на основе признака ограниченности действия пределом (Огр.) вполне согласуется с определением, базирующимся на признаке ц е л о с т н о с т и. Именно потому, что действие представлено во всей полноте его проявления, фиксируемого данным глаголом, оно характеризуется неделимой целостностью [см. 22, с. 18—19; 23, с. 13—18; 24, с. 27—29].

Основное значение форм НСВ противоположно значению СВ: выражается действие, не ограниченное пределом (Неогр.); например: *Когда выставляли раму, разбили стекло.* В особых условиях функционирования НСВ эта семантически немаркированная форма, как было отмечено выше, предполагает возможность передачи значения имплицитного предела.

Данное определение видовых значений вполне совместимо с определением, основанным на признаке «перемены ситуаций» (при СВ) и представлении действия (при НСВ) в рамках одной ситуации [см. 25, с. 13—17]. Поскольку действие представлено как ограниченное пределом, оно, исчерпав данное свое проявление, сменяется чем-то другим — состоянием или другим действием. При Неогр. для подобных переходов нет предпосылок (ср. приводимое иногда сравнение со сменой кинокадров и изображением происходящего в рамках одного кадра).

Акцент на последующей ситуации (состоянии или другом действии) — важный элемент характеристики значения СВ. Этот элемент «взгляда

вперед» может быть выявлен на уровне отдельного слова (например, *посинеть* — доведенное до предела становление данного признака есть вместе с тем наступление нового состояния — *стать синим*). Однако наиболее полное выявление отношения к последующему состоянию или другому действию реализуется в высказывании.

Важнейший признак противопоставления Огр./Неогр. в русском языке — его распространение на всю глагольную лексику и на все другие формы глагола. Данное противопоставление распространяется и на глаголы НСВ и СВ, образующие видовую пару, но при этом не находящиеся в отношении «направленность на предел/его достижение». Таковы, например, видовые пары *дать — давать*, *допустить — допускать*, *закашляться — закашливаться*, *заметить — замечать*, *засмотреться — засматриваться*, *застать — заставать*, *заявить — заявлять*, *испытать* (*страх* и т. п.) — *испытывать*, *наградить — награждать*, *обнаружить — обнаруживать*, *обойтись — обходиться*, *остаться — оставаться*, *охаять — охаивать*, *повиснуть — повисать*, *поместить — помещать*, *послать — посылать*, *появиться — появляться*, *предложить — предлагать*, *предусмотреть — предусматривать*, *разрешить — разрешать*, *случиться — случаться*, *увенчать — увенчивать*, *удивиться — удивляться*, *успеть — успевать*. Ср. также образованные путем перфективации пары типа *дарить — подарить*, *советовать — посоветовать*, *стараться — постараться*, *щадить — пощадить*. Как отметил Ю. С. Маслов, глаголы типа *видеть — увидеть*, *благодарить — поблагодарить*, *являться — явиться* не могут служить для разграничения попытки и успеха [26, с. 304].

Видовые пары в таких случаях создаются не для выражения соотношения «направленность на предел/его достижение», а для иных целей. Так, вторичные имперфективы используются преимущественно или исключительно для выражения повторяемости действия, а также при употреблении НСВ в обобщенно-фактической функции, в настоящем историческом и т. п.

Сфера различия Огр./Неогр. шире видовых пар любого типа. В частности, ограниченность пределом может быть отнесена к любому способу действия, связанному с СВ. Соотносительность с глаголом НСВ не обязательна.

Направленность действия на предел (результат)/его достижение. Рассматриваемое семантическое различие, основанное на противопоставлении потенциального и реального предела, представляет собой особую разновидность отношения Неогр./Огр. Признак Неогр. в данной его разновидности заключает в себе два семантических элемента: а) обозначение действия в процессе его протекания, б) направленность процесса на достижение результата. Признак Огр. выступает как реальное достижение результата (Результ.). Термин «результат» мы употребляем именно по отношению к рассматриваемой разновидности ограниченности действия пределом. Результат — это такой предел, которого достигает направленный на него процесс.

Соотношение Направл./Результ. выступает в двух вариантах, различающихся с точки зрения признаков преднамеренности (контролируемости) / непреднамеренности (неконтролируемости) процесса. Ср.: а) *отстирывать — отстирать*, *белить — побелить* и т. д.; б) *замерзать — замерзнуть*, *мелеть — обмелеть*, *стареть — постареть* [см. 10, с. 13; 14, с. 162—163]. Данное различие существенно а) с точки зрения взаимодействия результативности с переходностью/непереходностью (глаголы преднамеренного действия переходны, а непреднамеренного — непереходны); б) в связи с этим при преднамеренности достигнутый результат становится характеристикой того объекта, на который направлено действие, тогда как при непреднамеренности результат — характеристика субъекта; в) в действии и его результате отражаются такие свойства субъекта, как одушевленность/неодушевленность, отнесенность к признакам «лицо/не-лицо»; г) модальность волеизъявления характеризует лишь преднамеренные дей-

ствия; в связи с этим только такие действия могут выступать в конативных ситуациях типа «попытка (желание, стремление) — результат» (*Откачивали, да так и не откачали* и т. п.).

Может показаться излишним при наличии общего противопоставления Огр./Неогр. выделять одну из его разновидностей как особый тип отношения действия к пределу. На самом деле этот «частный случай» чрезвычайно важен. Перед нами семантически наиболее яркая разновидность противопоставления видов. Данное различие легко опознается говорящими как актуальное для смысла высказывания. Ср.: — *Сегодня сын сдавал экзамен.* — *И сдал?* Именно это противопоставление в первую очередь связывается в сознании носителей языка с формами НСВ и СВ.

Естественно, что распространение видовых различий на всю глагольную лексику влечет за собой далеко идущее абстрагирование категориальных видовых значений, в известной степени их формализацию. И в то же время необходимо придавать должное значение конкретной и живой *основе видового противопоставления — признакам, сохраняющим непосредственную* смысловую значимость. Если в целом противопоставление Огр./Неогр. в силу своей всеобщей (в рамках глагола) распространенности и обязательности играет строевую грамматическую роль и далеко не всегда является существенным для смысла высказывания, то противопоставление Направл./Результ., не обладая признаком всеобщности и обязательности, характеризуется актуальной смысловой значимостью. Поэтому данное различие следует рассматривать как смысловое ядро семантики вида.

При обсуждении вопроса о значениях видов распространен такой способ рассуждения: рассматривается некоторое значение, трактуемое теми или иными исследователями как грамматическое значение СВ, затем выясняется, что оно действительно не для всех глаголов; далее на этом основании данная точка зрения признается неправильной. На наш взгляд, при установлении категориальных значений не следует отводить значения, не обладающие признаком всеобщности. Категориальное значение может находить в части материала (в нашем случае — в широко распространенном типе результативных видовых пар) свою наиболее полную и характерную манифестацию, которая должна быть отражена в лингвистическом описании.

Предельность/непредельность. Противопоставление предельности/непредельности (далее П/НП) трактуется нами как наличие/отсутствие любого предела — как реального (эксплицитного и имплицитного), так и потенциального. В русском языке различие П/НП подчинено грамматической категории вида. Это находит выражение в распределении П/НП по видам: несоотносительный НСВ — непредельность; видовые пары и несоотносительный СВ — предельность. С другой стороны, П/НП воздействует на видообразование и функционирование видов. Так, непредельные глаголы НСВ (*гостить, держать, нищенствовать, подпевать* и т. п.), в отличие от предельных, неспособны к выражению реального имплицитного предела. Таким образом, П/НП и вид связаны отношениями взаимообусловленности (ср. иную точку зрения в работах Н. Телина) [27], где видовая семантика полностью отделяется от П/НП).

Как и в других языках, П/НП в русском языке коренится в семантике глагола, в ее отношении к идее предела. Но специфика русского и других славянских языков заключается в том, что «предельная/непредельная способность глагола «реализуется в рамках жесткой и облигаторной видовой системы. Заложенная в семантике глагола способность к П/НП получает реализацию в словоформах с определенным грамматическим видовым значением. Способность к П/НП, заключенная в лексическом значении глагола и отражающая свойства самого внеязыкового действия, в своей реализации в «видовом» языке включается в жесткие рамки системы видовых форм и видовых значений. Других способов выявления, свободных от системы видов, «терминативно/атерминативная способность» не имеет.

Возникает вопрос: как же в таком случае можно выделить П/НП как особый тип и уровень лимитативных отношений? Ответ заключается в сле-

дующем. Противопоставление П/НП выделяется как лимитативное отношение особого уровня на основе лексически конкретной ориентации данного отношения на отдельный глагол и на разряды глаголов. П/НП — это характеристика того или иного глагола (того или иного из его значений) или разряда глаголов. Что же касается противопоставления Огр./Неогр., то это противопоставление категориальных признаков форм СВ и НСВ в грамматической системе.

Остановимся на одном из «трудных случаев». Выше уже были упомянуты видовые пары, в которых НСВ не выражает направленности на достижение предела. Ср., например, имперфективы *давать*, *закашливаться*, *замечать*, *благодарить*, *видеть*, *дарить*, *советовать*, *стараться*, *щадить* и т. п. Предельны или непредельны такие глаголы? Обычно предельность определяется как направленность действия на предел, однако в данном случае такой направленности нет.

Обратимся к предлагаемому нами истолкованию П/НП на основе наличия/отсутствия предела — как реального (эксплицитного и имплицитного), так и потенциального. Указанные глаголы обнаруживают явно выраженную способность к передаче имплицитного предела. В первую очередь речь идет о выражении повторяющихся действий: *Каждый раз их допускали к экзаменам*; *Им часто удавалось*... и т. п. Ср. также употребление НСВ а) в настоящем историческом: *Войдя в купе, он замечает на столике букет цветов*; *В блокноте журналиста появляется запись*...; б) в обобщенно-фактической функции: *Я замечал это*; *Кто его туда посылал? Этот вариант ему уже предлагали* и т. п.

Глаголы типа *видеть — увидеть*, *просить — попросить*, *советовать — посоветовать*, *хвалить — похвалить*, *благодарить— поблагодарить*, *клясться — поклясться*, *лгать — солгать* — это, по определению Ю. С. Маслова, глаголы «непосредственного, непрерывного эффекта». Они обозначают такие действия, которые ни при каких обстоятельствах не могут мыслиться как оставшиеся «неэффективными», «безуспешными» [26, с. 314]. Значение «непрерывного эффекта» можно рассматривать как особую (лексически обусловленную) разновидность реального имплицитного предела. В сочетании со способностью передавать имплицитный предел в «обычном» смысле (в определенных функционально-грамматических позициях) это создает достаточную базу для вывода о том, что рассматриваемые глаголы предельны. Соотносительность с СВ подтверждает этот вывод.

В силу обязательности категории вида в славянских языках значение СВ (ограниченность пределом и вместе с тем целостность действия) имеет более широкую сферу распространения, чем сфера тех глаголов, у которых достижение предела могло бы быть соотнесено с направленностью на предел. Многие глаголы СВ обозначают действие как ограниченное пределом вне соотношения «направленность на предел — его достижение». Соответственно расширяется и сфера предельности. Она включает и такое выражение реального предела, которое не соотносится с направленностью на предел.

Для дальнейшего исследования П/НП важно разграничение и соотнесение двух аспектов проблемы: сущность П/НП как понятийной категории, имеющей свое основание во внеязыковой действительности [см. 10, с. 12—17], и реализация (и в то же время интерпретация) данного противопоставления в единицах того или иного конкретного языка (см. о соотношении предельных/непредельных действий и предельных/непредельных глаголов [14, с. 164—165]).

Лимитативные ситуации. Для анализа семантики предела на уровне высказывания может быть использовано понятие лимитативной ситуации (ЛС). ЛС — это выражаемая в высказывании типовая содержательная структура, базирующаяся на элементах поля лимитативности и представляющая то или иное отношение действия (и ситуации в целом) к пределу. ЛС — разновидность более широкого понятия аспектуальной ситуации, которое, в свою очередь, охватывается родовым понятием категориальной ситуации [см. 7, с. 190—200; 28, с. 99—124]. Как и все категориальные

ситуации, ЛС трактуются нами как структуры, относящиеся к области собственно языковой семантики в ее речевой реализации. Рассматриваемые структуры включают не только понятийную основу передаваемого содержания, но и его языковую семантическую интерпретацию.

Могут быть выделены предельные и непредельные ЛС, а в рамках каждого из этих типов — их разновидности и варианты. Так, ситуации, включающие элемент потенциального предела, выступают в следующих разновидностях:

1. Соотношение «попытка — результат (отрицательный или положительный)». В ситуациях данного типа [26, с. 303] налицо контраст потенциального предела (с явно выраженным модальным элементом конативности) и предела реального. Например: *Олесова ... Ты меня убивал, злодей, но ты меня не убил, не убил*! (В. Панова, Еще не вечер); ср. экспликацию модального элемента в результативной части ситуации: *Кузьмич закидывал, закидывал ногу в кузов и никак не мог закинуть* (Е. Носов, Мост).

2. Направленность процесса на результат (без элемента конативности) — обозначение достигнутого результата: *Снег иссякал и как-то разом, неожиданно оборвался* (Ю. Соловьев, Пешком за облака).

3. Выражение направленности процесса на результат при невыраженности его достижения. Потенциальный предел в данном случае выступает вне синтагматической соотнесенности с реальным пределом: *Сгущались сумерки.*

Рассмотрим более подробно одну из разновидностей ЛС реального предела — результативные ситуации с элементом имплицируемой процессности. Выражается (формой СВ) достигнутый результат с дополнительным оттенком связи с предшествующим процессом, который привел к данному результату [26, с. 313]. Элемент имплицируемой процессности может актуализироваться показателями постепенности достижения результата (*постепенно*, *не сразу* и т. п.), темпа (*медленно*, *быстро*), периода времени, занятого действием (*за два месяца*). Например: *Машина постепенно набрала скорость*; *Не сразу я привык к этому*; *Труба перископа медленно уползла обратно в шахту*; *Я быстро добрался до верхней площадки*; *За три часа мы упаковали вещи.*

В высказываниях с формами будущего времени возможно своего рода раздвоение временнóй отнесенности самого достигнутого результата и приводящего к нему процесса: *Иди домой, а то совсем замерзнешь.* В таких случаях достигнутый результат относится к будущему времени, а подразумеваемый предшествующий процесс затрагивает сферу настоящего.

Элемент имплицируемого предшествующего процесса при выражении формой СВ достигнутого результата не равнозначен процессу, выражаемому формами НСВ: *Машина постепенно набирала скорость.* При НСВ в эксплицитной форме передается протекание процесса в динамике его переходов от более ранних моментов к более поздним. В рассматриваемых же случаях процессность выступает «в снятом виде», как дополнительный имплицитный элемент, примыкающий к основному значению достигнутого результата.

Явление имплицируемой процессности выходит за рамки результативных ситуаций. Как уже было отмечено в начале статьи, особый тип последующего имплицируемого процесса представлен при выражении начинательности: *Мы медленно пошли вниз.* Слово *медленно* не только характеризует начальную фазу действия (завершаемую с промедлением), но и актуализирует последующую предполагаемую длительность процесса: не сразу двинулись и медленно продолжали идти. Данный тип имплицируемой процессности представляет собой своего рода контраст по отношению к рассмотренному выше языковому материалу: если результативность при СВ может включать имплицируемое указание на предшествующий процесс, приводящий к данному результату, то начинательность предполагает последующий процесс, вытекающий из доведенной до предела начальной фазы действия.

Проведенный в этой статье анализ лимитативных отношений демонстрирует их сложную дифференциацию, тонкие оттенки языковой интерпретации понятийной основы семантики предела. Сфера аспектуальности вообще представляет собой развитую систему внутриязыковой семантики с сильно выраженным интерпретационным элементом. Вместе с тем общий принцип анализа, учитывающего не только денотативно-понятийные, но и интерпретационные аспекты языкового содержания, может быть реализован в разных функционально-семантических сферах грамматики, в частности, при исследовании модальных, персональных, залоговых, субъектно-объектных, квалитативных, квантитативных, посессивных, локативных, кондициональных и других отношений.

Для современной лингвистической теории характерна ориентация прежде всего на референциальные, денотативные, универсально-понятийные и коммуникативно-прагматические аспекты семантики. Эта направленность теории имеет глубокий смысл. В ней находит многообразное проявление тот факт, что языкознание становится одной из основных наук о мышлении. Однако без специальной разработки на современном уровне собственно языковых способов представления мыслительного содержания в значениях языковых единиц и их сочетаний в речи лингвистическая теория значения не может быть адекватной. Возможно и необходимо непротиворечивое соотнесение концепций «отражательной» семантики и концепций «языкового содержания». Такое соотнесение разных подходов в общей системе лингвистических теорий должно быть подготовлено специальным исследованием интерпретационных аспектов языковых значений.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Потебня А. А.* Из записок по русской грамматике. Т. I—II. М., 1958.
2. *Mathesius V.* Obsahový rozbor současné angličtiny na základě obecně lingvistickém. Praha, 1961.
3. *Dokulil M., Daneš Er.* K t. zv. významové a mluvnické stavbě věty.— In: O vědeckém poznání soudobých jazyků. Praha, 1958.
4. *Daneš Fr., Hlavsa Z. et al.* Větné vzorce v češtině. Praha, 1981.
5. *Sgall P., Panevová J.* Obsah, význam a gramatika se sémantickou bází.— SaS, 1976, roč. XXXVII, seš. 1.
6. *Бондарко А. В.* Грамматическое значение и смысл. Л., 1978.
7. *Бондарко А. В.* Принципы функциональной грамматики и вопросы аспектологии. Л., 1983.
8. *Guillaume G.* Immanence et transendance dans la catégorie du verbe.—In: *Guillaume G.* Langage et science du langage. 3-e éd. Paris, 1973.
9. *Фортунатов Ф. Ф.* Сравнительное языковедение.— В кн.: *Фортунатов Ф. Ф.* Избранные труды. Т. I. М., 1956.
10. *Маслов Б. С.* К основаниям сопоставительной аспектологии.— В кн.: Вопросы сопоставительной аспектологии. Л., 1978.
11. *Маслов Ю. С.* Очерки по аспектологии. Л., 1984.
12. *Павлов В. М.* Темпоральные и аспектуальные признаки в семантике «временных форм» немецкого глагола и некоторые вопросы теории грамматического значения.— В кн.: Теория грамматического значения и аспектологические исследования. Л., 1984.
13. *Гловинская М. Я.* Семантические типы видовых противопоставлений русского глагола. М., 1982.
14. *Шелякин М. А.* Категория вида и способы действия русского глагола (Теоретические основы). Таллин, 1983.
15. *Реферовская Е. А.* Аспектуальные значения французского глагола.— В кн.: Теория грамматического значения и аспектологические исследования.
16. *Насилов Д. М.* Аспектуальные значения аналитических образований и разряды глагольной лексики в узбекском языке.— В кн.: Теория грамматического значения и аспектологические исследования.
17. *Серебренников Б. А.* Категории времени и вида в финно-угорских языках пермской и волжской групп. М., 1960.
18. *Крейнович Е. А.* Глагол кетского языка. Л., 1968.
19. *Крейнович Е. А.* Способы действия в глаголе кетского языка.— В кн.: Кетский сборник. Лингвистика. М., 1968.
20. *Успенский Б. А.* О системе кетского глагола.— В кн.: Кетский сборник. Лингвистика.
21. *Дэжё Л.* Типологическая характеристика русской грамматики в сопоставлении с венгерской. Простое предложение. Будапешт, 1984.

22. *Бондарко А. В.* Вид и время русского глагола (Значение и употребление). М., 1971.
23. *Шелякин М. А.* Основные проблемы современной русской аспектологии.— В кн.: Вопросы русской аспектологии. Воронеж, 1975.
24. *Ломов А. М.* Очерки по русской аспектологии. Воронеж, 1977.
25. *Барентсен А. А.* К описанию семантики категорий «вид» и «время» (На материале современного русского литературного языка).— In: Tijdschrift voor slavische Taal-en Letterkunde. The Hague, 1973.
26. *Маслов Ю. С.* Вид и лексическое значение глагола в русском языке.— ИАН ОЛЯ, 1948, № 4.
27. *Thelin N. B.* Aspekt und Aktionalität im Russischen.— Die Welt der Slaven, 1980, Jg. XXV, № 2.
28. *Бондарко А. В.* Функциональная грамматика. Л., 1984.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 1 1986

ДИСКУССИИ И ОБСУЖДЕНИЯ

ЗОЛОТОВА Г. А.

О НЕКОТОРЫХ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ РЕЗУЛЬТАТАХ РАБОТЫ НАД «СИНТАКСИЧЕСКИМ СЛОВАРЕМ РУССКОГО ЯЗЫКА»

В Институте русского языка АН СССР подготовлен к печати «Синтаксический словарь (репертуар элементарных единиц русского синтаксиса)», о работе над которым журнал «Вопросы языкознания» уже информировал читателей (ВЯ, 1980, № 4).

Помимо практического, справочного назначения для широкого круга читателей — и филологов, и изучающих русский язык,— Словарь послужит источником обработанного материала для дальнейших лингвистических изысканий. Не меньшее значение выполненной работы в том, что, подвергнув функционально-семантическому анализу строй русского синтаксиса, Словарь подготавливает решение ряда дискуссионных проблем синтаксической теории. О них и пойдет речь в настоящей статье.

В «Синтаксическом словаре» реализована идея взаимодействия лексики и грамматики, связанная с именами В. В. Виноградова и других наиболее глубоких и дальновидных лингвистов. Эта идея стала особенно актуальной в наше время, когда синтаксисты обратились к семантике. На теперешнем этапе зависимость правил построения синтаксических конструкций от лексико-семантических характеристик их компонентов стала очевидностью, уже не требующей доказательств, но требующей систематизации материала.

Для осмысления синтаксического механизма языка необходим ответ на вопрос о том, в каких единицах, на каком уровне системы это взаимодействие осуществляется. Возникла задача Словаря — представить синтаксические ресурсы русского языка научно систематизированными в словарных параметрах. Словаря подобного типа не было в лексикографической практике.

Осуществление этой задачи предлагаемым путем стало возможным на основе решения принципиального вопроса синтаксической теории — выявления конститутивной единицы синтаксиса. В качестве такой единицы выдвинуто понятие с и н т а к с е м ы. Синтаксемой названа минимальная, далее неделимая семантико-синтаксическая единица русского языка, выступающая одновременно как носитель элементарного смысла и как конструктивный компонент более сложных построений, характеризуемая определенным набором синтаксических потенций.

Напомним основные предпосылки описания синтаксем как конститутивных единиц русского синтаксиса. За различительные признаки синтаксемы принимаются 1) категориально-семантическое значение слова, от которого она образована, 2) соответствующая морфологическая форма и 3) вытекающая из (1) и (2) способность синтаксически реализоваться в определенных позициях. Некоторое множество позиций в различных синтаксических конструкциях обобщено в трех разграничиваемых и противопоставляемых возможностях, или функциях:

I — самостоятельное, изолированное употребление конститутивной единицы;

II — употребление единицы в качестве организующего компонента предложения (предицируемого, предицирующего или распространителя);

III — присловное употребление единицы в качестве компонента словосочетания (приглагольное, приименное, приадъективное, приадвербиальное).

В этом делении воплощается понимание синтаксической функции как конструктивной роли синтаксической единицы в построении коммуникативной единицы.

Набор позиционных возможностей служит основанием для разграничения трех функциональных типов синтаксем: свободных (в Словаре помещаются под буквой **А**), обусловленных (**Б**) и связанных (**В**). Свободные синтаксемы способны выступать в функциях I, II и III; обусловленные — в функциях II, III, реже в I; связанные — только в III функции. Таким образом, диапазон синтаксических потенций каждой синтаксемы определяется ее функциональными свойствами, принадлежностью к одному из трех функциональных типов.

Функциональный анализ единиц определяет и структуру словарной статьи. «На входе» материал классифицируется по морфологическим показателям (для имен — падеж и предлог, по порядку падежей и по алфавиту предлогов), затем пропускается сквозь классификационный фильтр синтаксических функций, распределяясь по функциональным типам (рубрики **А**, **Б**, **В**) и «на выходе» показывает набор функций и позиций для каждой формы в каждом из ее структурно-семантических значений.

Поскольку термин «синтаксема» употребляется и применительно к типу, и применительно к манифестирующей его конкретной словоформе, естественно, что как словарная единица синтаксема представлена рядом лексических «делегатов», одного категориально-семантического подкласса, в примерах и иллюстрациях. В случаях, когда синтаксема образуется от слов лексически замкнутого круга, Словарь стремится перечислить их с возможной полнотой. Понятно, что структурно-семантические значения, выявленные у каждой синтаксемы, абстрагированы от множества конкретных употреблений словоформ данного подкласса, регулярно занимающих соответствующую позицию в соответствующей конструкции в текстах, представляющих различные виды общественно-речевой практики.

Таким образом, выявление минимальных конститутивных единиц синтаксиса и их соотносительных функционально-позиционных характеристик позволило сделать синтаксему порядковой единицей словарного представления строительных средств русского синтаксиса.

В результате, подтвердив эффективность понятия синтаксемы, сформулированного и теоретически заявленного в работах автора 1969, 1973, 1982 г., Синтаксический словарь впервые в практике грамматического осмысления и описания языков представляет синтаксическое устройство русского языка в виде систематизированного перечня синтаксем с характеристиками и иллюстрациями их синтаксических свойств, в составе всех моделей словосочетаний и предложений, в которых каждая из синтаксем способна функционировать.

Возникает вопрос о правомерности именования работы Словарем, о характере жанра этого исследования. Сама постановка задачи сталкивается с устойчивым представлением о противопоставленности двух (и только двух) способов описания языка. Согласно этому представлению, словарный состав языка получает отражение в словарях, формы слов и синтаксические конструкции описываются в грамматиках. И накопившийся практический опыт лингвистических описаний и все большее проникновение языковедов в сущность взаимодействия лексики и грамматики делают это разделение в большой степени условным. Грамматические пометы о формах слов и их синтаксическом окружении сопровождают слова, толкуемые или переводимые в словарях. С другой стороны, грамматические описания, чтобы быть адекватными объекту, все более стремятся использовать в построении синтаксиса лексико-семантические показатели.

Как всякий словарь, книга содержит в виде «словарных статей» снабженный объяснениями и примерами перечень единиц, расположенных по определенным принципам, выработанным лексикографической практикой

(алфавитный порядок предлогов, глаголов, указатели, ориентирующие читателя). Но цель Словаря — показать синтаксическое устройство языка.

Можно сказать, что создан новый жанр грамматического словаря. Можно сказать иначе, что создан новый тип грамматического описания, представления синтаксического строя русского языка в словарных параметрах. Не исключен вопрос: нужна ли какая-то иная, новая система описания синтаксического механизма, кроме той, которая освящена традицией?

С точки зрения общегносеологических оценок всякий поиск — благо, всякий новый опыт, пусть и небесспорный, интересен. Научная ценность полученного знания измеряется тем, может ли оно служить производству, получению нового знания, служить орудием познания в руках исследователя. В этом смысле существенно то, что система информации, разработанная в Синтаксическом словаре, способствует прояснению важных вопросов, обсуждаемых, но не решенных современной грамматической наукой.

Среди результатов, полученных путем словарного описания синтаксического строя, можно отметить следующие:

1. Установление релевантного для синтаксиса уровня абстракции от конкретного, с учетом взаимодействия трех составляющих синтаксемы — категориально-семантического, морфологического и функционально-синтаксического ее признаков — дало основание увидеть на этом уровне то взаимодействие формы и содержания, которое позволяет синтаксеме функционировать как единице формы и значения.

Язык осуществляет возможность выразить содержание мысли средствами синтаксиса путем предикативного сопряжения синтаксем, т. е. элементов, являющихся одновременно конструктивными и смысловыми. Этот результат вносит коррективы в распространенные представления о соотношении синтаксиса и семантики как двух будто бы независимых друг от друга ярусов языка. Способы проявления этой бесспорно существующей взаимной зависимости неоднородны. Словарь дает основания для предварительных обобщений и дальнейших размышлений по этой проблеме.

Характеристику каждой синтаксемы можно представить схематически в виде таблицы, в которой формы и значения синтаксем составят вертикальную координату, функции и позиции — горизонтальную. Схема наглядно выявит разнонаправленность взаимодействия этих координат: семантика свободных синтаксем (локативных, темпоративных, директивных, делиберативных и др.) независима от их позиционных возможностей, она заключена в синтаксеме как бы «до предложения» (диагностическим показателем чего и служит типичная для них возможность изолированного употребления); значения обусловленных и связанных синтаксем (субъектных, объектных и др.), напротив, производны от реализуемой ими позиции.

2. Вступая в предложение определенной структуры, синтаксема приобретает статус его компонента. Предложение любого состава и с точки зрения организации и с точки зрения членения может рассматриваться как одна из исчисляемых комбинаций синтаксем.

Таким образом, преодолевая затруднение, в котором оказалась стратификационная концепция языковых уровней, вынужденная констатировать, что между предложением и словом нет отношения целого и части (см., например, [1]). Недостающим звеном системы, частью по отношению к целому — предложению, оказывается не слово-лексема в исходной форме, а слово-синтаксема, или синтаксическая форма слова. Проясняются отношения синтаксемы со словом и предложением, с одной стороны, и отношения синтаксической и морфологической формы слова, с другой: объем понятия и дифференциальные признаки морфологической и синтаксической формы слова (синтаксемы) не совпадают. В пределах одной морфологической формы, как правило, различается ряд омонимичных и полисемичных синтаксем. Понятно, что синтаксемы (1) «*о* + предл. пад.»

с делиберативным значением и (2) «*о* + предл.» со значением признакового партитива являются, при морфологическом подобии, структурно-смысловыми омонимами, они различаются и значением и набором позиционных возможностей, что определяет и их функциональную характеристику:

(1) представляющая тип свободных синтаксем, реализует свои потенции в изолированных позициях заголовка или тематически экспозиционного отрезка текста (I, 1,2. *О вреде табака*; *О детях*; *Об очередных задачах* и т. п.): в позиции предицирующего компонента предложения, при предицируемом имени информативного значения (II.2. *Рассказ — о детях*; *Стихи — о любимой*; *Доклад — о задачах*... и т. п.); в качестве присловного распространителя при глаголах и именах той же семантики (III. 1. *рассказывать о детях*; *петь о любимой*; III. 2. *рассказ о детях*, *песня о любимой* и т. п.);

(2) представляющая тип обусловленных синтаксем, характеризует предмет по количеству его составных частей, либо в предикативной позиции (II. 2. *Всякая вещь о двух концах*; *Домик был о трех окошках* и т. п.), либо в атрибутивной, приименной (III. 2. *домик о трех окошках*, *храм о двух шатрах* и т. п.); оттенок устарелости в этой синтаксеме делает ее возможности и лексически и стилистически ограниченными.

Отношения полисемии возникают в пределах делиберативной синтаксемы в позициях III.1. и 2.: помимо распространения глаголов и имен информативного значения, она выступает как распространитель глаголов и имен так называемого «скорбного чувства» (*сетовать*, *тужить*, *тосковать*, *печалиться*, *грустить*, *плакать о ком — о чем*; *тоска*, *печаль*, *грусть о ком — о чем* и т. п.). В этом случае объектное значение синтаксемы «*о* + предл.» осложняется каузативным оттенком, эта же объектно-каузативная синтаксема в свою очередь вступает в синонимические отношения с объектно-каузативной синтаксемой «*по* + дат.» (*тосковать по дому*, *по друзьям*). Многообразие конкретных условий проявления полисемии в разных синтаксемах будет импульсом для последующих наблюдений и размышлений.

Естественно, что в синонимические отношения (на основе сходства значений и функций, при различии формы) вступают не морфологическая форма, например, «*о* + предл.», во всей совокупности объединяемых ею синтаксем, а делиберативная синтаксема «*о* + предл.» с делиберативной синтаксемой «*про* + вин.» (*о детях — про детей*), так же как с рядом других делиберативных синтаксем, образуемых с помощью производных предлогов (*насчет детей*, *по поводу детей*, *относительно детей* и т. п.). То, что отношения омонимии, полисемии, синонимии, антонимии возникают именно между синтаксемами, а не между падежно-предложными формами вообще, может служить еще одним доказательством объективного существования в системе языка выделенных единиц.

Соотносительность единиц описания обнаруживает системность отношений между ними более наглядно по синтагматической, но, что не менее важно, и по парадигматической оси. Регулярность одних из этих отношений становится явной из самого описания, другие дают стимул для дальнейших исследований.

3. Тройственная характеристика каждой синтаксемы — с точки зрения формы, значения и функции — позволяет более объективно дифференцировать значения падежных форм и семантических групп глаголов. Количество выделяемых единиц (степень дробности деления) — один из самых спорных вопросов семантических классификаций — определяется здесь не произвольно устанавливаемой шкалой обобщения, не интуитивным представлением о типах ситуаций, а синтаксическими условиями употребления.

Функциональный анализ выявляет семантические группировки глаголов (и имен существительных — соотносительных и несоотносительных с глаголами), подтверждая реализацию каждой из них в соответствующих наборах именных распространителей. Внимание к категориально-семантическим характеристикам компонентов позволяет более четко, чем это делалось в ряде описаний и словарей, разграничить типы глаголов — зна-

менательных, способных быть самостоятельными предикатами, и неполнознаменательных, лишь способствующих выполнять эту роль именным признаковым синтаксемам. Ср.:

Дом ***принадлежит*** *деду*	*Кит* ***принадлежит*** *к млекопитающим* (Ср.: *Кит — млекопитающее*)
Он бережно ***относится*** *к книгам*	*Кит* ***относится к*** *млекопитающим* (Ср.: *Кит — млекопитающее*)
Он ***теряет*** *ключи*	*Звуки* ***теряют*** *выразительность* (Ср.: *Звуки становятся маловыразительными*)
Он ***приобретает*** *картины*	*Он* ***приобретает*** *уверенность* (Ср.: *Он становится уверенным в себе*).

Предложения, подобные примерам правой колонки, трактуются как представляющие именную квалификативную модель (с вспомогательным глаголом или без него) и как представляющие фазисные модификации квалитативной модели.

Разграничение именных распространителей по признаку конкретность/абстрактность дает основание различить глагольные словосочетания с предметным именем как средства номинации расчлененного действия, используемые в качестве распространенного предиката глагольной модели, и сочетания с абстрактным именем, служащим, в свою очередь, способом номинализованного представления предикативной единицы, содержащим, таким образом, имплицитную предикативность. Ср.:

Он ***показывает*** *диапозитивы*	*Стихи* ***показывают бедность*** *его воображения* (Ср.: *Стихи показывают, что его воображение бедно*)
Соседи ***говорят об огороде***	*Стихи* ***говорят о бедности*** *его воображения* и т. д.

Предложения, подобные примерам правой колонки, трактуются как полипредикативные структуры. Различение характера синтаксических связей в основных моделях и их модификациях, с одной стороны, в монопредикативных и полипредикативных предложениях — с другой, дает возможность представить всю совокупность «простых предложений» русского языка в иерархически организованном порядке.

Вопрос о семантических классификациях, поставленный на синтаксические опоры, позволяет более четко представить проблему типологии самих семантических отношений. Можно вывести из морфологически похожих сочетаний слов *столб из гранита* и *спор из озорства* отношения предмета и его материала в одном случае, действия и его мотивации — в другом. Существенно при этом, что признак по материалу — иммапентное свойство предмета, которое может быть констатировано как атрибутивно, в распространенной номинации, словосочетании, так и предикативно, в именной модели предложения; что касается причинно-следственных отношений, то это отношения на другом речемыслительном уровне — между пропозициями, или событиями. Описание синтаксем и семантико-синтаксических условий их реализации ориентирует на корреляцию семантических отношений с разными видами мыслительного процесса, получающими выражение в синтаксических построениях разной сложности.

4. Получены основания уточнить соотношение понятий функции и формы. У Е. Куриловича есть такое утверждение: «Функции языковых форм определяются объемом употребления этих форм» [2]. Мы не располагаем сведениями, предпринимались ли попытки определить понятие «объем употребления форм», но функциональное описание синтаксем готово дать ответ на этот вопрос.

Сумма позиционных возможностей каждой синтаксемы, представленных в Словаре, и характеризует «объем употребления» синтаксемы, или

ее функциональное пространство. Эти данные Словаря могут получить числовое выражение, коэффициент, обычно в пределах от 1 до 10. Так, обусловленная синтаксема от личного имени в дательном со значением субъекта состояния (*Саше не спится, но весело ей*) употребляется только в качестве предицируемого компонента модели, другие позиции ей не свойственны. Эта синтаксема получит коэффициент 1 (или 3, если считать разными позиции одноименной субъектной формы при разных предикатах: *Саше не спится, Ей весело, Ей пора вставать*). Равным единице будет и функциональный коэффициент связанной синтаксемы винительного объекта действия: у этой синтаксемы единственный способ включаться в связную речь — при переходном глаголе.

Равен двум коэффициент у ряда обусловленных синтаксем признакового значения: синтаксемы «*из-под* + род.», характеризующей предикативно или атрибутивно предмет — вместилище по бывшему содержимому (*Эта бутылка — из-под кефира; бутылка из-под кефира*), упомянутых выше синтаксем признакового партитива «*о* + вин.» (*Стул — о трех ногах; стул о трех ногах*), фабрикатива («*из* + род.», характеризующего предмет по материалу (*Столб — из гранита; столб из гранита*).

Полный набор из 10 основных позиций, дополненный грамматическими вариантами моделей, дают почти все локативные синтаксемы, приведем схематические примеры функционирования локатива «*над*(*надо*) + + твор.»:

I. В заголовках: *Над ручьем; Над водопадом.*

II. 1. В предицируемом компоненте предложения: *Над камином — зеркало; Над землей темно; Над равниной побелело;*

II.2. В предицирующем компоненте: *Мы — над кратером; Дом — над обрывом;*

II.3. Распространитель модели предложения: *Над цветами жужжат пчелы;*

II.4. Компонент каузативно осложненной модели: *Он поставил дом над обрывом.*

III.1. Приглагольный распространитель: *стоять над рекой;*

1. а. с транзитивным (пути движения) оттенком: *лететь над волнами;*

III.2. Приименной распространитель: *восход над морем; небо над горизонтом.*

Коэффициент локатива «*над* + твор.» можно считать равным 11.

Состав и количество занимаемых синтаксемой позиций определяют объем и способы ее употребления в языке. Любые подсчеты частотности тех или иных форм недостаточно достоверны, не будучи соотнесены с функциональным коэффициентом. Основания исчисления его могут быть детализированы, но в принципе они обусловлены функционально-типологическим характером синтаксемы.

5. Исследование конститутивных единиц русского синтаксиса подтвердило мысль В. В. Виноградова о том, что имена существительные служат в русском языке «опорой большей части синтаксических конструкций» [3]. Именные, а не глагольные синтаксемы оказались главным ключом к синтаксическому механизму русского языка. Описание субстантивных синтаксем составило основную часть Словаря. Известно, что в лексикографии принято фиксировать сочетаемость слов через глагол, от глагола. Однако квалификация валентностных свойств глагола минует особенности безглагольных конструкций, нивелирует разнообразие функциональных возможностей именных синтаксем, не сводимых к зависимости от глагола, наконец, не отражает и многих глагольных конструкций, не укладывающихся в рамки глагольного «управления»; ср., например, несоотносительность с глагольными словосочетаниями структур типа примеров правой колонки, в отличие от левой:

Наловил ***птиц***	***Птиц*** *налетело*
(*наловивший птиц,*	(**налетевший птиц,*
наловив птиц,	**налетев птиц,*
налови птиц...)	**налети птиц...*)

Привезла **раненого**,	***Раненого*** *лихорадит*
(*привезшая раненого,*	(* *лихорадивший раненого,*
привези раненого...)	* *лихорадь раненого...*)
Читать ***раненому***	***Вам*** *выходить*
(*читаю кому...,*	(* *выхожу кому,*
читают кому...)	* *выходят кому...*)
Счет подписывается ***чернилами***	*Счет подписывается* ***контролером***
(*подписывать чернилами,*	(* *подписывать контролером,*
подписывайте чернилами...)	* *подписывайте контролером...*)
Ветром сорвало ***крышу***	***Ветром*** *сорвало крышу*
(*сорвать крышу,*	(* *сорвать ветром,*
сорвав крышу...)	* *сорвав ветром...*).

Очевидно, что одноименные падежные формы существительных в соотнесенных парах примеров представляют разные синтаксемы, находящиеся в разных отношениях с глаголом (так же, как в последнем примере различны отношения с глаголом разноименных форм).

Путь от именных синтаксем, с характеристиками соответствующих глаголов в необходимых случаях, дал возможность полнее представить состав и безглагольных и глагольных моделей русского предложения.

Вследствие такого положения вещей глагольная часть Словаря получила отраженный характер, повторяющий закономерности, установленные в именной части. Глагольные сочетания в Словаре даны дважды: сгруппированными в структурно-семантические разряды, в порядке, соотнесенном с расположением соответствующих субстантивных синтаксем (с индексами, отсылающими к их, более подробной, квалификации), и в алфавитном порядке.

Глагольные сочетания сами по себе представляют различные типы по характеру взаимной связи с именной синтаксемой, что частично выразилось и в используемых терминах: глагольным словосочетанием называется сочетание глагола со связанной синтаксемой, типа **В**, глагольными сочетаниями — сочетания с синтаксемами свободными, типа **А**, и обусловленными, типа **Б**. Особую разновидность сочетаний составляют сочетания именных синтаксем с неполнозначными (фазисными, модальными и вспомогательными) глаголами.

Наблюдения над собственными возможностями субстантивных форм позволили установить, что большинство сочетаний глаголов с именами строится не на основе управления, глагольного «требования», а на основе с и н с е м и ч н о с т и, взаимной готовности обеих сторон к соединению, при наличии общих сем. Круг собственно управляемых, связанных, синтаксем, отражающих индивидуальную лексическую сочетаемость, оказался минимальным.

Сочетаемость, таким образом, предстает в Словаре не как лексическая, а как семантико-грамматическая проблема, устремленная к выявлению обобщающих закономерностей синтаксических связей.

6. Функциональная классификация синтаксем дает ответы на ряд центральных вопросов теории предложения: о предикативном минимуме предложения, о возможностях и способах выражения главных компонентов различных моделей русского предложения, о возможностях и способах распространения моделей, о характере и степени присловной связи. Ряд нерешенных синтаксических проблем: проблема субъекта предложения, проблема «детерминантов», проблема сильного и слабого управления и др.— своим затянувшимся существованием обязан тому, что наблюдались следствия, а причины еще не были выявлены. Эти причины — в наличии системных семантико-синтаксических потенций у синтаксем определенных функциональных типов.

Последовательное описание моделей как результата реализации потенций предназначенных для их построения синтаксем подтверждает тезис о принципиальной двусоставности русского предложения. В этом тезисе, как в фокусе, сходятся логико-философские, гносеологические предпо-

сылки и языковые данные: отображающий разные виды отношений действительности речемыслительный акт, претворяющийся в предложении, заключается в предикативном (в плане модальности, времени и лица) отнесении признака к предмету, его носителю. Именование предмета само по себе или именование признака, не приписываемого ничему, не составляет содержания предложения.

Выделение односоставных предложений было исторически прогрессивным шагом в упорядочении синтаксических конструкций на том этапе синтаксической теории, когда она

а) не преодолела морфологического ограничения, наложенного на представления о способах выражения предицируемого (подлежащего); в силу этого синтаксически не оправданного ограничения за односоставные принимались предложения с обязательным субъектным компонентом (предицируемым), выраженным определенными формами косвенных падежей, ср.: *Ах, няня, няня,* ***я*** *тоскую,* ***Мне*** *тошно, милая моя..* (Пушкин); ***Мне*** *грустно потому, что* ***я*** *тебя люблю..* (Лермонтов); ***Вам*** *холодно немножко,* ***вы*** *закрываете лицо воротником шинели;* ***вам*** *дремлется* (Тургенев); ***Нас*** *много,* ***мы*** *играем,* ***нам*** *весело* (Л. Толстой); ***Свет*** *не без добрых людей* (Посл.) — *Не без добрых душ* ***на свете*** (Некрасов); *Плачет где-то* ***иволга****, схоронясь в дупло, Только* ***мне*** *не плачется—****на душе*** *светло* (Есенин)»; ***У кого*** *— канарейка,* ***у кого*** *— рояли́на,* ***кто*** *со шкафом,* ***кто*** *с утюгом...* (Маяковский);

б) не разграничивала язык и речь; в результате этого неразграничения за односоставные принимались речевые реализации двусоставных языковых моделей с контекстным или ситуативным эллипсисом предицируемого компонента (подлежащего): в силу присущей речи ситуативности (актуализованности категорий «я — здесь — сейчас») и сопротивления избыточности этот компонент часто оказывается избыточным, хотя место и способы его выражения остаются фиксированными. Лингвисту нашего времени понятно, что если лирический герой говорит о себе в одном случае «*Мне грустно,* потому что я тебя люблю...», а в другом «*И скучно, и грустно*! и некому руку подать В минуту душевной невзгоды...» (Лермонтов), используется одна и та же двусоставная модель, сообщающая о состоянии субъекта, но в первом примере — в полной речевой реализации, во втором — в неполной, с опущенным именем субъекта в дательном. Именование предикативно характеризуемого места или времени также может либо присутствовать в тексте, либо быть опущенным в силу очевидности его. Ср. примеры: *Что* ***здесь*** *у вас за край? То* ***холодно****, то* ***очень жарко...*** (Крылов); *Сад маленький, но чего тут не было?* ***Кофейные деревья, бананы, ананасы, множество цветов*** (Гончаров); *Не слышен* ***здесь*** *житейский шум,* ***И прохлада, тишина*** *и* ***полусумрак...*** (Некрасов); [Астров] ***Тишина****. Перья скрипят, сверчок кричит* (Чехов); ***И кругом — ни звука***! (Горький); ***Ни звука, ни шороха*** (Серафимович); ***В этот час*** *было совсем* ***тихо****,—****ни шагов, ни звуков копыт*** (А. Н. Толстой); ***Двенадцать... Сейчас****, наверно, Прошел он через посты.* ***Час... Сейчас*** *он добрался к подножию высоты.* ***Два...*** *Он* ***теперь****, должно быть, Ползет на самый хребет.* ***Три...*** (Симонов).

Полученные в Словаре перечни моделей выявляют регулярные способы выражения предицируемого компонента русских предложений разных типов: обусловленные синтаксемы со значением личного субъекта предицируемого признака (*Он в тревоге; У него озноб; Ему весело; Его знобит; С ним обморок; В нем недоброта и недоверчивость* и т. п.), свободные синтаксемы с локативным значением, некоторые темпоративные в предложениях, предикативно характеризующих неличный субъект — называемое место или время (*За окном* [*на дворе, на улице*] *мороз* [*морозно, морозит*]; *Над равниной побелело* [*месяц, туманно*]; *На солнышке тепло* [*припекает, капель*]; *В лесу сумрак* [*сумрачно, смеркается*] и т. п.; *Восьмого марта — Международный женский день; Сейчас — полночь* и т. п.); отвлеченные имена и инфинитив во вторичных, полипредикативных моделях — с иным набором предикативных признаков; особые формы выражения главных компонентов закреплены за экспрессивно-модальными модификациями

предложений. Диалектическая противопоставленность в предикативном единстве предметного и признакового содержания в разной степени абстракции от конкретного — вот структурно-семантическая основа предикативного минимума (модели) предложения и вместе с тем основание для иерархической классификации моделей по типам отображаемых внеязыковых отношений, в их соотнесенности с соответствующими языковыми средствами и ступенями логико-мыслительного процесса осмысления действительности.

Что касается «детерминантов», или распространителей предикативного минимума предложения, существование которых как особого синтаксического явления было отмечено еще А. Х. Востоковым, позже Л. В. Щербой и В. В. Виноградовым и терминологизировано Н. Ю. Шведовой, следует сказать, что множественность обсуждавшихся в литературе их признаков, или критериев опознания, необязательных в совокупности, лишь частично применимых в разных случаях, свидетельствует сама по себе о принципиальной неоднородности наблюдаемого объекта, рамки которого оказались неправомерно расширенными. Дискуссия о детерминантах может идти далее либо путем наращивания как перечней детерминантов, так и их факультативных признаков, либо путем дифференциации материала с иной точки отсчета.

Действительно, изучение функциональных потенций именных синтаксем показывает, что роль распространителей предложения свойственна только свободным и обусловленным синтаксемам, но не связанным, которые не способны разорвать присловную связь (речь не идет, конечно, о случаях эллипсиса). В примерах типа *Старика забыли*, *Лодку унесло ветром* имя в винительном остается объектным присловным распространителем переходного глагола, вынесенным в препозицию требованиями организации текста (актуальным членением). То, что детерминантами, т. е. распространителями предложения, считают «основные семантические компоненты предложения — субъект, объект»..., выражаемые формами косвенных падежей (*Ему весело*; *У него бодрое настроение*; *С женщиной беда*; *За ним долг*; *Сыну год*; *Старику нездоровится*; *У отца три сына*; *От муравьев польза*; *С сердцем плохо*; *На уме — развлечения*; *В ребенке нет зла* и т. п., можно объяснить только как результат наложения привычных падежных критериев членов предложения на реальные структуры. В итоге механически обессмысливается понятие предложения, насильственно разделяемого между «двумя уровнями анализа». «И устарела старина, И старым бредит новизна»,— сказано о подобных ситуациях у Пушкина. Думается, что задача дальнейшего изучения распространителей предложения — не столько в распределении их по разрядам обстоятельств, сколько в дифференциации характера их отношений с распространяемым целым: существенно различны связь, допустим, между действием и локальной его характеристикой, с одной стороны, и между действием и его причиной, следствием, условием — с другой: в первом случае связь поддается непосредственному наблюдению, во втором конструируется в результате логической операции в сознании субъекта речи. Эти различия ставят соответствующие конструкции в разные парадигматические ряды в системе синтаксических средств.

В заключение можно добавить, что представленная в Словаре грамматическая концепция оснащена обширными материалами из источников разных жанров — от Пушкина до газет последних дней, это делает ее открытой к критическому восприятию, что, в свою очередь, может способствовать дальнейшему совершенствованию синтаксических воззрений, дальнейшему осмыслению принципов и закономерностей синтаксической системы в теоретических и практических целях.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Бенвенист Э.* Общая лингвистика. М., 1974, с. 133.
2. *Курилович Е.* Очерки по лингвистике. М., 1962, с. 131.
3. *Виноградов В. В.* Русский язык (грамматическое учение о слове). М.— Л., 1947, с. 177.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 1 1986

КРИВОНОСОВ А. Т.

ОТРИЦАНИЕ В ПРЕДЛОЖЕНИИ И ОТРИЦАНИЕ В УМОЗАКЛЮЧЕНИИ

(Опыт семантического анализа отрицаний в тексте)

Хотя рассмотрение отрицания является одной из важнейших проблем общего языкознания (прежде всего в плане соотношения формы и содержания, структуры предложения и структуры выражаемой им мысли), тем не менее это явление в лингвистике изучено еще далеко не полно. Отрицание, как известно, всегда было объектом исследования и лингвистики, и формальной логики. В современном языкознании имеется немало работ, посвященных этой проблеме. В некоторых из них не без основания отмечается, что основным содержанием грамматической категории отрицания является логическое отрицание [см., например, 1—7]. Что касается философской и логической литературы, то там также нет последовательного ответа на вопрос о сущности отрицания. Логические операторы отрицания отображают категориальный аппарат человеческого мышления. Как и другие логические формы и категории, они отражают наиболее общие отношения и структуры объективного мира, которые имеют аксиоматический характер. В этом плане не является исключением и формально-логическое отрицание: оно тоже есть отрицание действительности (реального отсутствия чего-то). Отрицание — одна из фундаментальных категорий формальной логики [см., например, 8—12].

В самое последнее время в отечественной лингвистике появилась первая работа, в которой к исследованию отрицания как языковой универсалии был применен логико-грамматический подход (вопрос отрицания в такой плоскости ранее не только не рассматривался, но даже не ставился) [13, 14]. Отечественное языкознание обогатилось новой работой по проблеме отрицания ([15], рецензию на эту работу см. [16]), в которой ее автор на материале различных языков исследует категорию отрицания и средства его выражения в различных языках и намечает пути функционирования отрицаний на двух уровнях членения предложения — синтаксическом и логико-грамматическом. Теперь необходима обработка эмпирического материала с точки зрения изучения соотношения различных средств выражения отрицания в естественном языке и в логике, чему и посвящена данная статья. В качестве исследуемого материала служит роман Г. Манна «Im Schlaraffenland» [17].

Одной из форм мысли (логических форм) является дедуктивное умозаключение (логический силлогизм), которое состоит из трех суждений — бóльшей посылки, меньшей посылки и заключения. В связи с тем, что каждое суждение характеризуется одновременно двумя свойствами — количеством (общие и частные суждения) и качеством (утвердительные и отрицательные), различают четыре типа суждений, из которых нас здесь интересуют два: общеутвердительные (А) и общеотрицательные (Е) суждения [1]. В зависимости от того, каким типом суждения по количеству и ка-

[1] В логике эти суждения соответственно обозначаются символами А, Е. 1) Общеутвердительное (А) — по первой гласной букве латинского слова *affirmo* «утверждаю». Это суждение — общее по количеству («все S») и утвердительное по качеству («суть, являются»); 2) Общеотрицательное (Е) — по первой гласной букве латинского слова *nego* «отрицаю». Это суждение — общее по количеству («все S») и отрицательное по качеству («не есть, не является»). В логике кроме общих и частных суждений по количеству различают также единичные суждения (*Сократ — человек*), которые, однако, в логических операциях относятся к разряду общих сужде-

честву представлено каждое из трех входящих в умозаключение суждений, различают соответствующие модусы, каждый из которых имеет свое название. Например, если все три суждения силлогизма представлены общеутвердительными суждениями (А, А, А), то это модус «Barbara», в названии которого каждая из гласных (А, А, А) обозначает свойство каждого суждения по количеству и качеству и последовательность этих суждений в умозаключении, т. е. бóльшую посылку, меньшую посылку и заключение [2]. Бóльшая посылка: *Все люди с у т ь смертны* (А), меньшая посылка: *Сократ е с т ь человек* (А), заключение: *Сократ е с т ь смертен* (А) (в модусе «Barbara» субъект бóльшей посылки становится предикатом меньшей посылки). Например, последовательность гласных букв в умозаключении (А, Е, Е) отображается в логике модусом «Camestres», в названии которого последовательность гласных также воспроизводит последовательность соответствующих суждений в силлогизме (1), (2), (3) и указывает одновременно на их количество и качество (А, Е, Е). Бóльшая посылка: *Все звезды светят собственным светом* (А), меньшая посылка: *Юпитер н е светит собственным светом* (Е), заключение: *Юпитер н е есть звезда* (Е) (в модусе «Camestres» предикат большей посылки превращается в предикат меньшей посылки, но с отрицанием).

Поскольку почти все умозаключения рассматриваемого здесь типа, выраженные в формах естественного языка, реализуются в виде сокращенных силлогизмов (энтимем) (энтимема — это силлогизм с одним или двумя опущенными суждениями) с опущенной большей посылкой и наличными меньшей посылкой и заключением, то исследуемые здесь языковые построения, репрезентирующие логические энтимемы, восстанавливаются прежде всего в полные умозаключения. Поскольку, далее, целью нашего исследования служит только модус «Barbara», то все представленные в естественном (немецком) языке умозаключения в форме энтимем восстанавливаются в полные силлогизмы только по логическим правилам модуса «Barbara», которые здесь не эксплицируются.

В логике модус «Barbara», как и любой другой модус, предполагает лишь одну языковую форму — сочетание трех простых предложений, выражающих простые категорические суждения, с обязательным наличием логического квантора всеобщности во всех трех суждениях (*все*), а также утверждения во всех трех суждениях (*суть*, *являются*). Естественный язык не знает этой строгой формальной унификации, в нем господствует большое разнообразие форм для выражения одной-единственной логической формы (модуса «Barbara»). На 400 страницах обследованного художественного текста было обнаружено 1380 логических умозаключений, построенных по правилам модуса «Barbara». Подавляющее большинство из них — энтимемы (1377) и лишь 3 умозаключения — полные силлогизмы. Среди общего количества энтимем (в данном случае энтимем с опущенной большей посылкой и наличными меньшей посылкой и заключением) обнаружено два типа энтимем с разной последовательностью представленных в них меньшей посылки и заключения: «меньшая посылка — заключение», т. е. (2) — (3) (всего 657 энтимем) и «заключение — меньшая посылка», т. е. (3) — (2) (всего 720 энтимем). Здесь анализируется только п е р в ы й тип энтимем модуса «Barbara» с последовательностью суждений (2) — (3), который в формах естественного языка сохраняет последовательность суждений, представленных в логических умозаключениях.

ний. О таких единичных суждениях (согласно правилам логики, они отнесены нами к общим суждениям) речь идет и в данной статье.

[2] Для четкого разграничения всех трех суждений в умозаключениях — (1) большей посылки, (2) меньшей посылки и (3) заключения, выраженных в предложениях естественного (в нашем случае — немецкого) языка, эти суждения в статье маркируются цифрами в скобках (1), (2), (3), которые ставятся перед соответствующими суждениями (предложениями). Знак → обозначает перевод предложений естественного языка на язык логики («силлогистики»). Отсутствующее суждение в умозаключении (в энтимеме) отмечается звездочкой (*). Этот же символ служит в экспериментальной части статьи в нескольких примерах также знаком того, что исходный смысл суждения (предложения) или был искажен (не был сохранен), или данное суждение вообще алогично. Знак (") означает логическое ударение.

Этот тип энтимем выражен самыми различными языковыми построениями, что в исследованиях по логике вообще не отмечается: двумя самостоятельными предложениями, одним сложноподчиненным предложением, одним сложносочиненным предложением, одним простым предложением и др.

Как отмечено выше, логическое умозаключение по модусу «Barbara» ни в одной из двух посылок (большей или меньшей), ни в заключении не имеет отрицаний: все три суждения — общеутвердительные (А, А, А). Однако в естественном языке предложения, репрезентирующие умозаключения и построенные по правилам модуса «Barbara», иногда (в меньшей посылке или в заключении) обнаруживают отрицательные форманты (отрицательные слова типа *nicht*, *nichts*, *kein*, *nie*, *niemand* и др., прилагательные с отрицательными префиксами или суффиксами *-los*, *-miß*, *-un-*, скрытые отрицания и т. д.). В 657 умозаключениях модуса «Barbara» в форме энтимем, каждая из которых, как уже отмечено, состоит из двух утвердительных суждений (меньшей посылки и заключения), т. е. в 1314 утвердительных суждениях, было обнаружено 83 суждения (6,3%), выраженных предложениями с каким-либо отрицанием.

В связи с этим возникают вопросы: 1) не допущена ли нами ошибка при подведении того или иного умозаключения под модус «Barbara», который не должен иметь отрицаний? или 2) средства выражения отрицания, будучи таковыми, фактически ничего не отрицают? На первый вопрос мы отвечаем отрицательно: при попытке подвести эти умозаключения под другие модусы («Celarent», «Camestres» и др.) выяснилось, что исходный смысл этих умозаключений искажается. Это и является подтверждением того, что данные умозаключения построены только по правилам модуса «Barbara». На второй вопрос однозначно ответить нельзя. Все языковые средства выражения отрицания, употребляемые в предложении, всегда что-то отрицают. Значит, остается предположить, что предложения, лежащие в основе умозаключений по модусу «Barbara», фактически являясь отрицательными, тем не менее не во всех случаях превращаются на уровне логики в суждения отрицательные, или, что то же самое, отрицательные предложения на уровне языка могут выражать не только отрицательные, но и утвердительные суждения на уровне логики мышления. Как это происходит?

Прежде чем ответить на этот вопрос, необходимы некоторые процедурные и теоретические разъяснения. Все обнаруженные нами средства выражения отрицания в предложении были систематизированы и сведены в некоторые типы (их несколько). Глубина анализа этих типов отрицаний зависит от степени учета трех взаимодействующих факторов. Можно исходить из того, какую роль играет данное суждение в энтимеме, т. е. исследовать прежде все отрицания в предложениях, репрезентирующих меньшие посылки, затем все средства выражения отрицания в предложениях, репрезентирующих заключения. Но так как одни и те же типы отрицаний встречаются в предложениях, репрезентирующих как меньшую посылку, так и заключение, то возможен и иной путь их анализа — от типа отрицательных средств к типу суждений (меньшая посылка или заключение). Было обнаружено также, что для выражения логических силлогизмов служат различные языковые построения с отрицаниями (связь двух самостоятельных предложений, сложноподчиненные предложения, сложносочиненные предложения, простые предложения). Поэтому путь исследования типов отрицаний — от языковых построений с отрицаниями к типам этих средств выражения отрицания — также закономерен. Однако практический анализ умозаключений в формах естественного языка показал, что при анализе эмпирического материала необходимо сочетать все эти три фактора. Мы исходим прежде всего из типов отрицаний, рассматривая их в двух видах суждений (в меньшей посылке и в заключении) одновременно, т. е. отмечаем преимущественное употребление того или иного типа отрицаний в меньшей посылке и в заключении (при этом учитывается также языковая форма энтимемы). Более того, языковые средства выражения отрицания рассматриваются — а это совершенно новая область для языкознания и для логики — также с точки зрения того, почему

они как средство выражения отрицания «проникают» в силлогизмы (модус «Barbara»), которые должны строиться лишь на основе общеутвердительных суждений (А, А, А). В этом и состоит исчерпывающий анализ языковых средств выражения отрицания.

Мы рассматриваем здесь роль отрицаний в формировании умозаключений по утвердительному модусу «Barbara», который, как известно, не должен иметь ни одного отрицательного суждения [под модус «Barbara» эти умозаключения подведены вынужденно в силу того, что их невозможно подвести ни под один отрицательный модус («Camestres», «Celarent»)]. Следовательно, мы должны уже a priori заключить: роль отрицания в предложении и роль отрицания в умозаключении — не одинакова. Поскольку речь идет о модусе «Barbara», то во всех случаях мы обязаны отрицательные предложения преобразовать в утвердительные суждения. При этом необходимо соблюдать одно важное условие: исходный смысл суждения не должен нарушаться.

Как показал анализ эмпирического материала, существует только два пути преобразования предложений с отрицательными формантами в общеутвердительные суждения. Первый путь опирается на два метода (см. о них ниже) — методы целенаправленного преобразования отрицательных суждений в общеутвердительные суждения (без изменения смысла данного суждения). Это преобразование вынужденное, оно необходимо для того, чтобы, сохраняя в неприкосновенности первоначальный смысл предложения, правильно подвести данное умозаключение под утвердительный модус «Barbara», если при этом невозможен ни один отрицательный модус. Второй путь — идентификация (без каких бы то ни было преобразований одного качества суждения в другое качество суждения) общеутвердительного суждения в предложении с отрицанием (предложение с отрицательными формантами, вопреки наличию отрицания или отрицаний, выражает уже само по себе общеутвердительное суждение). В предложениях этого типа происходит нейтрализация отрицаний, вследствие чего предложение, несмотря на наличие отрицания, выражает общеутвердительное суждение.

I. Каким образом возможны преобразования общеотрицательных суждений в общеутвердительные суждения без изменения исходного смысла суждений?

Из 83 энтимем в 51 отрицание представлено в меньшей посылке, причем в большинстве меньших посылок отрицание выражено эксплицитными отрицательными формантами. Оказалось, что процедуру преобразования общеотрицательного суждения в общеутвердительное можно осуществить двумя методами. Проанализируем следующее умозаключение, в котором предложение, выражающее меньшую посылку, имеет отрицание *nicht*. (2) «Und daß er... bloß mein Geld wollte, das konnte ich ihm *nicht* verzeihen. (3) Darum habe ich ihn mit einem besonderen Gefühl der Polizei übоergeben...» (S. 346). (2) *А когда он потребовал у меня деньги, этого я не мигла ему простить.* (3) *Поэтому я с особым чувством передала его в полицрю.* Интуитивно строим умозаключение: (1) Все люди, которые *не* могут пеостить преступника, передают преступника в полицию (А) [3]. (2) Она *н* могла его простить (Е). (3) Она передала его в полицию (А). Получаем интуитивно правильное умозаключение. Мы видим, что это умозаключение верно передает смысл, отраженный в авторском тексте; при этом сохранены в неприкосновенности и смысл меньшей посылки («Она *не* могла его простить»), и смысл заключения («Она передала его в полицию»). Но, оказывается, такой формы умозаключения, какая интуитивно выражена автором романа, нет среди правильных силлогизмов: А, Е, А (т. е. нет таких умозаключений, в которых меньшая посылка была бы «Е», а заключение — «А»). По качеству большей и меньшей посылок (А, Е) это умозаключение можно было бы подвести под умозаключение модуса «Camestres», а по ка-

[3] Данное сложноподчиненное предложение, содержащее отрицание *не* в придаточном предложении, выражает общеутвердительное суждение (А), так как предикат его главного предложения «передает преступника в полицию» не имеет при себе отрицания.

честву большей посылки и заключения (А, А) — под модус «Barbara». Но для того, чтобы правильно построить модус «Camestres», необходимо преобразовать общеутвердительное суждение (А) в функции заключения в общеотрицательное суждение (Е): А, Е, А → А, Е, Е. Однако для того, чтобы правильно построить модус «Barbara», необходимо преобразовать общеотрицательное суждение (Е) в функции меньшей посылки в общеутвердительное суждение (А): А, Е, А → А, А, А. Таким образом, перед нами в форме А, Е, А — конгломерат двух различных модусов, хотя по смыслу это умозаключение интуитивно нами было построено верно (см. выше). Так как любое умозаключение, если оно действительно является умозаключением, должно быть построено по правилам одного из 19 правильных силлогизмов, то приведенное выше умозаключение мы должны отнести только к одному из двух силлогизмов — или к силлогизму модуса «Camestres» [в этом случае за основу мы берем качество меньшей посылки, затем преобразуем заключение общеутвердительное (А) в заключение общеотрицательное (Е): А → Е], или к силлогизму модуса «Barbara» [в этом случае за основу берется качество заключения, а затем меньшая посылка общеотрицательная (Е) преобразуется в меньшую посылку общеутвердительную (А): Е → А].

Строим прежде умозаключение по модусу «Camestres», сохраняя меньшую посылку в виде общеотрицательного суждения (Е): *(1) Все люди, которые передают преступника в полицию, прощают его (А). (2) Она *не* простила его (Е). * (3) Она *не* передала его в полицию (Е). Здесь не только искажен смысл имплицитной (восстановленной) большей посылки, но и смысл всего умозаключения, точнее — его заключения, которое мы находим у автора романа, хотя формально умозаключение по модусу «Camestres» построено верно. Пытаясь подвести искомое умозаключение под модус «Camestres», мы обязаны преобразовать общеутвердительное суждение в роли заключения «Она передала его в *полицию*» в общеотрицательное суждение без изменения его первоначального смысла, что, оказывается, сделать невозможно. Мы не находим ни одного варианта замены этого предложения на синонимичное ему по содержанию предложение, которое выражало бы отрицательное суждение. Возможный вариант с отрицанием «Она *не* могла его оставить *безнаказанным*» означает то же утверждение «Она наказала его» («Она передала его в полицию») на основе нейтрализации двух отрицаний. Вариант «Она *не* препятствовала тому, чтобы передать его в полицию» равен тому же утвердительному суждению «Она передала его в полицию». Смысл умозаключения, приведенного выше, в том, что героиня романа «передала преступника в полицию». В полном согласии с авторским замыслом это утвердительное суждение мы не можем превратить в отрицательное, не исказив смысла всего умозаключения, и, следовательно, не можем подвести это умозаключение под модус «Camestres». Таким образом, пытаясь сохранить смысл «интуитивно правильно понятого» умозаключения, мы не нашли для этого «правильного» умозаключения правильного логического модуса (А, Е, А). А пытаясь построить логически правильный модус «Camestres» (А, Е, Е), т. е. преобразовать общеутвердительное суждение в функции заключения в общеотрицательное суждение, мы исказили первоначальный смысл умозаключения. Таким образом, наше желание подвести искомое умозаключение под модус «Camestres» только на том основании, что в искомом умозаключении меньшая посылка — общеотрицательное суждение, свойственное данному модусу, не увенчалось успехом.

Проведем теперь аналогичный эксперимент с сохранением в неприкосновенности заключения («Она передала его в полицию»), т. е. подведем это умозаключение под модус «Barbara», в котором заключение, как известно, представлено общеутвердительным суждением (А): *(1) Кто прощает преступника, тот передает его в полицию (А). *(2) Она простила преступника (А). (3) Она передала его в полицию (А). Однако стремясь достичь одно, мы упускаем другое; здесь не только искажен смысл имплицитной (восстановленной) большей посылки, но и эксплицитный смысл

меньшей посылки, т. е. основание умозаключения и, следовательно, смысл всего умозаключения, хотя формально умозаключение по модусу «Barbara» построено верно. Таким образом, и в этом случае (кроме случая с «Camestres») мы, формально верно построив силлогизм по правилам модуса «Barbara», вступили в противоречие с авторским замыслом. Чтобы остаться в рамках строгой логической процедуры, мы должны снять это противоречие, но, разумеется, не за счет искажения смысла умозаключения, т. е. того исходного смысла, который продиктован авторским замыслом. Выше мы попытались это сделать путем преобразования общеутвердительного суждения в общеотрицательное суждение в функции заключения, подведя данное умозаключение под модус «Camestres». При этом, однако, мы исказили смысл заключения энтимемы и, следовательно, всего умозаключения. Значит надо, оставив логическую форму заключения силлогизма в неприкосновенности, изменить логическую форму меньшей посылки (общеотрицательное суждение преобразуется в общеутвердительное суждение: Е → А). Чтобы сохранить первоначальный смысл умозаключения, мы обязаны подвести это умозаключение под модус «Barbara». А чтобы подвести это умозаключение под модус «Barbara», мы должны преобразовать общеотрицательное суждение в роли меньшей посылки (Е) (Она *не* могла простить преступника) без изменения его смысла в общеутвердительное суждение, что оказывается вполне возможным. И здесь мы обнаруживаем два совершенно различных метода, используя которые можно было бы общеотрицательное суждение в роли меньшей посылки преобразовать в общеутвердительное суждение, не искажая первоначального смысла суждения.

Первый метод — замена соответствующего предиката с отрицанием на его антоним без отрицания (по принципу: *не было жарко* = = *было холодно*, *не был сыт* = *был голоден*). Подобная антонимическая замена возможна лишь в таких суждениях, предикаты которых по их семантическому значению имеют более или менее близкие антонимы (без отрицаний). Так как здесь не стоит вопрос о том, чтобы найти абсолютный антоним[4] (такие случаи редки, например: *холодно — тепло*, *сыт — голоден*, *белый — черный*, *темно — светло*, и в данном случае для логических преобразований этот вопрос не имеет принципиального значения), то практически все общеотрицательные суждения в функции меньшей посылки на основе этого метода могут быть преобразованы в общеутвердительные суждения без изменения смысла суждения. Приведенное выше умозаключение путем замены предиката на его антоним без отрицания может быть представлено следующим образом: (2) *Этого я не могла ему простить.* (3) *Поэтому я передала его полиции* → (2) *Я на него очень обиделась* (*рассердилась*, *разозлилась*). (3) *Поэтому я передала его полиции* → *(1) Человека, на которого злятся, передают в полицию. (2) Она на него разозлилась. (3) Она передала его в полицию. Ср. аналогичное преобразование: 2) «Sie haben ja Ihre fälligen Wechsel *nicht* bezahlt: (3). . . Sie müssen neue schreiben». (S. 275) → *(1) Кто *не оплачивает* векселя (= кто остается *должником*), тот просит отсрочки. (2) Он остается должником. (3) Он просит отсрочки.

Второй метод преобразования общеотрицательного суждения (Е) в общеутвердительное (А) — преобразование сказуемого с отрицанием в сказуемое без отрицания с перенесением отрицания в состав несказуемостного члена. В этом случае простое предложение с отрицанием преобразуется: а) в придаточное предложение, которому предшествует главное предложение с именным составным сказуемым без отрицания, выраженным связкой *sein* (*быть*, *являться*, *служить*, *принадлежать*): *Он не ходил вчера в кино* → *Он есть тот, кто не ходил вчера в кино* (*принад-*

---

[4] Границы между «отрицательными» и «положительными» понятиями не являются абсолютными. Как пишет В. З. Панфилов, в русском языке многие слова, включающие в свой состав в качестве приставки *не* (*нехороший*, *неприятель*), обозначают «положительные» понятия, которые обладают вполне определенным содержанием и имеют синонимы, не включающие в свой состав эту приставку (*нехороший* = *плохой*, *неприятель* = *враг*) [13, с. 43].

лежит к тем, является тем, кто...); б) но простое предложение может преобразовываться также в простое с изъятием отрицания при глагольном сказуемом и перенесением отрицания в несказуемостный член: Ср. *Он не ходил вчера в кино* → *Не ходивший вчера в кино есть он*; *Он есть не ходивший вчера в кино* [13, с. 43—44].

Продемонстрированные здесь преобразования предложений связаны с далеко не праздным вопросом: почему предложение *Он не ходил вчера в кино* не равно предложениям *Он есть тот, кто не ходил вчера в кино*, *Он есть не ходивший вчера в кино* по качеству выраженных в них суждений, хотя по смыслу эти разноструктурные типы предложений идентичны, или иначе: определяется ли качество суждения на синтаксическом уровне членения предложения с отрицательным формантом или на логико-грамматическом уровне членения предложения с тем же отрицательным формантом? Как отмечает В. З. Панфилов, в формальной логике этот вопрос в достаточно эксплицитной форме по существу не только не рассматривался, но даже не ставился [13, с. 40]. А между тем мы столкнулись с явлением языка, которое требует однозначного решения, чтобы понять, как взаимодействуют предложения с отрицаниями в системе умозаключений.

Суждения качества мы обязаны квалифицировать как отрицательные или утвердительные только в зависимости от того, относится ли отрицание к связке. Поэтому в наиболее логически эксплицитной форме субъектно-предикатная структура суждений может быть представлена, как это принято делать в логике, следующими предложениями: 1) *Он не "ходил вчера в кино* = 2) *Он не "есть ходивший вчера в кино* = 3) *Он есть не "ходивший вчера в кино* = 4) *Он есть тот, кто не "ходил вчера в кино.* В качестве отрицательного суждения может рассматриваться только то, которое выражается предложением с глагольным сказуемым или связкой (с отрицательной частицей), выступающими вместе с обстоятельством времени и места в качестве логико-грамматического предиката (предложения №№ 1, 2). В этих предложениях логико-грамматический предикат совпадает со сказуемым (синтаксической группой сказуемого). Остальные суждения (предложения №№ 3, 4) будут утвердительными на уровне их субъектно-предикатной структуры, но отрицательными на уровне их синтаксической структуры (resp. на уровне пропозициональной функции). В этих предложениях логико-грамматический предикат не совпадает со сказуемым. Поэтому вопрос о том, является ли логическое суждение утвердительным или отрицательным, т. е. вопрос о качестве суждения, необходимо решать с учетом того, сопадают или не совпадают предикаты двух уровней членения предложения — синтаксического и логико-грамматического [13, 14, 18, 19]. Предложение как синтаксическая единица является отрицательным, если в нем есть отрицательный формант, независимо от того, какой член предложения отрицается. Суждение как логическая единица является отрицательным лишь тогда, когда отрицается или глагольный предикат, или связка. Но логическое суждение является всегда утвердительным при наличии в нем отрицания, если этот отрицательный формант отрицает любой непредикативный (несказуемостный) член.

Таким образом, общеотрицательное суждение в роли меньшей посылки *Этого она не могла ему простить* можно перестроить в общеутвердительное суждение без искажения смысла суждения: *Она принадлежит к тем людям* (*есть тот человек*), *которые* (*который*) *не могли* (*мог*) *этого ему простить*. Превратив общеотрицательное суждение (Е) в общеутвердительное (А) *Этого она не могла ему простить — Она принадлежит к тем, кто не мог ему этого простить*, строим силлогизм по правилам модуса «Barbara»: *(1) *Все люди, которые принадлежат к тем, кто не может его простить, передают его в руки полиции* (А), (2) *Она принадлежит к тем, кто не может его простить* (А), (3) *Она передала его в руки полиции* (А). Ср. также следующее умозаключение: (2) ...die Stimme des Dieners hatte vielleicht *nicht* die gewohnte Achtung ausgedrückt? (3) Die Rechte begann ihm leise zu zit-

tern... (S. 380) → *(1) *У человека, к которому не проявляют уважения* (= *отказали в уважении*), *дрожат руки.* (2) *Ему отказали в уважении* (*Он есть тот человек, к кому не проявили уважения*). (3) *У него дрожат руки.* Меньшая посылка «Die Stimme des Dieners hatte vielleicht *nicht* die gewohnte Achtung ausgedrückt» (*К нему не проявили уважения*) с целью элиминации отрицания перестроена на *Ему отказали в уважении.* Однако понятие *отказать* означает *не дать, не давать*, т. е. в понятии *отказать в уважении* имплицитно содержится отрицание *не уважать.* Пытаясь элиминировать отрицание при сохранении исходного смысла, мы, избежав эксплицитно присутствующий отрицательный формант *nicht*, не смогли избежать имплицитного отрицания. Однако мы обязаны подвести это умозаключение только под модус «Barbara» (подведение этого умозаключения под модус «Camestres» меняет смысл данного умозаключения на противоположный). В нашем распоряжении остается единственный способ: оставить в предложении отрицательный формант. Но он должен отрицать не связку данного суждения (при отрицании связки суждения утвердительное суждение превращается в отрицательное суждение), а любой другой член, не входящий в группу предиката. Чтобы суждения *К нему не проявили уважения, Ему отказали в уважении* превратить в общеутвердительное суждение и тем самым доказать его принадлежность к модусу «Barbara», необходимо отрицательный формант вывести за пределы глагольного предиката, связки и присоединить его к любому другому члену непредикатной группы: *Он есть тот человек, к которому не проявили уважения, Он есть тот человек, которому отказали в уважении* (или: *Он принадлежит к тем людям, которым отказывают в уважении*).

В сущности, все умозаключения, в которых мы обязаны элиминировать отрицания в меньшей посылке путем антонимичной замены соответствующего понятия с отрицанием на понятие без отрицания, можно было бы перестроить по этому методу. С точки зрения синтаксической формы простое предложение с отрицанием превращается в сложноподчиненное предложение с отрицанием в придаточном предложении; с точки зрения логической формы общеотрицательное суждение превращается в общеутвердительное суждение: *Она не могла его простить = Она сердилась на него = Она была из тех, кто не мог его простить*; *Он не обижался на ее насмешки = Он равнодушно воспринимал ее насмешки = Он был из тех, кто не обижался на ее насмешки*; *Она не могла устоять против соблазна = Она поддалась соблазну = Она была из тех, кто не мог устоять против соблазна*; *Он не забывает об услуге = Он помнит об услуге = Он есть тот, кто не забывает об услуге.*

Как показал проведенный анализ, общеотрицательные (Е) и общеутвердительные (А) суждения, т. е. те суждения, которые здесь рассматриваются как переходящие друг в друга, не находятся в отношениях противоречия. Они могут без изменения смысла переходить одно в другое на основе двух отмеченных выше методов. Теперь становится понятным, что превращение общеотрицательного суждения (Е) в общеутвердительное суждение (А) (смысл предложения при этом сохраняется) в функции меньшей посылки в данном типе умозаключения есть мера вынужденная, т. к. иным путем невозможно построить это умозаключение по правилам известных логических модусов. Следовательно, можно вывести закон функционирования умозаключений с общеотрицательным суждением в роли меньшей посылки (Е) и с общеутвердительным суждением (А) в роли заключения [при условии, что бóльшая посылка представлена общеутвердительным суждением (А)]: все умозаключения, выраженные формами естественного языка, если их меньшая посылка представлена общеотрицательным суждением, а заключение представлено общеутвердительным суждением, которое не может быть преобразовано в общеотрицательное суждение без искажения первоначального смысла, должны строиться только по правилам модуса «Barbara» и не могут быть построены по правилам ни одного другого модуса.

Рассмотрим вопрос о том, какими языковыми формами выражены исследуемые здесь умозаключения модуса «Barbara», в меньшей посылке которых содержится отрицание.

1) Энтимема выражена двумя предложениями (30 энтимем): а) Отрицательные слова *nicht*, *nichts*, *kein*, *nie*, *niemand*, *niemals* и др. (2)..der Schnapswirt...verabfolgte *nichts* mehr. (3) *Daher* kamen sie auf den Gedanken, Rache zu nehmen für alles ... (S. 123) → *(1) *Все, кто не дает в долг* (= *кто жаден*), *должны быть отмщены.* (2) *Он из тех, кто не дает в долг* (= *он жаден*). (3) *Ему надо отомстить*; б) Отрицательный аффикс (*-los*): (2) ...und ihre...Eltern waren *brotlos.* (3) Sie mußten sich also wohl fügen... (S. 124) → *(1) *Кто сидит без хлеба* (= *кто голоден*), *тот должен идти на уступки.* (2) *Они голодны.* (3) *Они должны идти на уступки.*

2) Энтимема выражена сложноподчиненным предложением (9 энтимем) (те же отрицательные форманты): (2) «...gestern aber, wo sie *nichts* mehr kosteten, (3) hat er alles an sich gebracht...» (S. 268) → →*(1) *Вещь, которая стоит недорого* (= *дешево*), *покупают.* (2) *Эта вещь не дорогая* (= *дешевая*). (3) *Эту вещь купили.*

3) Энтимема выражена сложносочиненным предложением (6 энтимем): (2) Er wußte *nichts* zu erwidern, (3) und ärgerte sich darüber. (S. 165) → * (1) *Кто не находит, что ответить, тот злится.* (2) *Он из тех, кто не находит, что ответить.* (3) *Он злится.*

4) Энтимема выражена простым предложением (2 энтимемы): (2) «Ein *Mißerfolg* (3) macht mich zur lächerlichen Figur...» (S. 215) → * (1) *Неудача делает человека смешным.* (2) *Он относится к тем, у кого нет удачи* (*у кого поражение*). (3) *Он выглядит смешным.*

Иногда вместо эксплицитных средств выражения отрицаний в предложении (*nicht*, *kein* и др.), репрезентирующем меньшую посылку, мы обнаруживаем скрытое отрицание (3 энтимемы), которое, в силу сформулированного выше закона, также элиминируется двумя отмеченными способами: а) Скрытое отрицание может быть выражено словом (неопределенно-количественным числительным *wenig*), в семантическом значении которого содержится указание на отрицание, например: Es lag mir *wenig* daran, gesehen zu werden (*Мне было мало резона в том, чтобы меня видели* = *Я не хотел, чтобы меня видели*): (2) Es lag Frau Türkheimer *wening* daran, auch noch von Sophie gesehen zu werden. Sie sagte hastig: (3) «Nun, er wird wohl zu Hause sein» (S. 142) → *(1) *Все, кто не хочет, чтобы их заметили, должен прошмыгнуть незаметно.* (2) *Она была из тех, кто хотел остаться незамеченным.* (3) *Она быстро прошмыгнула*; б) Отрицательное суждение может быть выражено простым предложением с инфинитивной группой, которая стоит после предикативного ядра. В предикативном ядре простого предложения должны обязательно присутствовать, во-первых, качественное прилагательное (в любой синтаксической функции) или интенсификатор *sehr*, выражающий, как и качественное прилагательное, определенную степень признака, во-вторых, интенсификатор *zu* перед указанными членами (перед интенсификатором или перед качественным прилагательным). Данная лексико-синтаксическая конструкция в переводе на русский язык должна иметь форму: «*слишком* + качественное прилагательное, *чтобы* (*можно было*) + инфинитив глагола». Ср. нем.: *zu stark*, *um ihn zu besiegen*; *zu teuer* (*sehr teuer*), *um es zu kaufen*; *zu faul*, *um diese Aufgabe erfüllen zu können*; «*zu klein* (*sehr klein*), *um in diesem Herbst noch in die Schule zu gehen* и т. д.; (2) Aber er war *zu sehr* auf Heiterkeit und Sattheit angewiesen, *um* es lange bei ihr *auszuhalten*; (3) Er gähnte... heimlich... und empfahl sich... (S. 186) (*Он был слишком сыт, чтобы оставаться долее в гостях* = *Он не мог долее оставаться в гостях*) → → * (1) *Кто не может оставаться в гостях* (= *он был слишком сыт, чтобы оставаться в гостях*), *тот уходит.* (2) *Он принадлежал к тем, что не мог долее оставаться* (= *был слишком сыт*). (3) *Он уходит.*

Рассмотрим теперь заключение силлогизма (2 энтимемы). Из

логики известно: если меньшая посылка представлена общеутвердительным суждением (А), а заключение силлогизма — общеотрицательное суждение (Е), то данный силлогизм должен быть подведен под модус «Celarent». Однако приведенное ниже сложносочиненное предложение, репрезентирующее умозаключение (в предложении, отражающем заключение, содержится отрицание), не может быть подведено под модус «Celarent» по двум причинам: а) бо́льшая (восстановленная) посылка в нашем примере, чтобы сохранить первоначальный смысл умозаключения, должна быть восстановлена только в общеутвердительное суждение (А), что противоречит модусу «Celarent»; б) заключение, хотя оно и содержит отрицание *nicht*, выражено общеутвердительным, а не общеотрицательным суждением в силу того, что в нем отрицается не связка главного предложения, несущего основную информацию, а связка придаточного предложения, которое не содержит основной информации: в заключении силлогизма выражена мысль *Он (есть) р а д тому обстоятельству, что он н е должен платить прачке*, но не мысль ***Он н е*** *(есть) р а д тому обстоятельству, что он н е должен платить прачке.* (2) Andreas schuldete... die Zimmermiete, (3) und es war ein Glück für ihn, daß es auch mit der Entlohnung der Wäscherin *nicht* eilte. (S. 18) → * (1) *Кто задолжал за квартиру, тот рад, что ему н е надо платить прачке.* (2) *Он задолжал за квартиру.* (3) *Он р а д (он е с т ь тот, кто рад), что ему н е надо платить прачке.*

II. Н е й т р а л и з а ц и я отрицаний (30 силлогизмов) — весьма распространенное явление в умозаключениях по модусу «Barbara», в которых предложения в функции меньшей посылки или заключения содержат эксплицитные или имплицитные отрицания. Сами по себе эти средства выражения отрицания, будучи способными превратить утвердительные суждения в отрицательные, в данном случае не влияют на качество суждения. Эти средства выражения отрицания н е й т р а л и з у ю т с я. Ниже рассмотрены все эти случаи.

Риторические вопросы с отрицанием (6 энтимем): а) Риторические вопросы репрезентируют меньшую посылку (2 энтимемы). Оба силлогизма выражены двумя самостоятельными предложениями: (2) «Ich habe Ihnen gar *keine* gekauft?» ... (3) «Sie sind zu liebenswürdig...» (S. 264) → * (1) *Кто покупает другому нужную вещь, тот оказывает ему любезность.* (2) *Он купил ему нужную вещь (Р а з в е я н е купил ее вам? = Я купил ее вам).* (3) *Он оказал любезность.* б) Риторические вопросы репрезентируют заключение (4 энтимемы). Силлогизм выражен двумя самостоятельными предложениями (3 силлогизма): (2) «Sie brauchen Freunde, die Sie anleiten. (3) *Warum* sollte ich es *nicht* tun?» (S. 55) → *(1) *Кто хочет, чтобы его опекали, должен иметь друзей.* (2) *Он хочет, чтобы его опекали.* (3) *Он должен иметь друзей (П о ч е м у этим другом н е может быть она? = = Она может быть его опекуном).* Силлогизм выражен простым предложением (отрицание выражено отрицательным причастием вторым с префиксом *un-*) (1 энтимема): Dürfen Sie (2) durch Irreführung der öffentlichen Meinung (3) *ungestraft* ganze Bevölkerungsmassen ausplündern? (S. 259) → → *(1) *Кто обманывает, того наказывают.* (2) *Он обманывает.* (3) *Его надо наказать (Р а з в е можно оставить его б е з н а к а з а н н ы м? = = Его н е л ь з я оставить безнаказанным = Он должен быть наказан).*

Усиление утверждения путем введения отрицания по модели: «*nichts*, *niemand* + предлоги *als*, *außer*, *wie* + существительное» (6 энтимем). а) Предложение репрезентирует меньшую посылку (5 энтимем). Все энтимемы выражены двумя самостоятельными предложениями. Сочетание «*niemand* + *wie* + существительное»: (2) *Niemand* hatte ihn so schmerzhaft verwundert, *wie* Asta... (3) Jetzt konnte er ihr seine Macht zeigen. (S. 234) → *(1) *Кого обидели, тот мстит.* (2) *Она его обидела (Н и к т о еще так его н е обидел, к а к она = Она его обидела).* (3) *Он мстит ей.* Сочетание «*niemand* + *außer* + существительное»: (2) Niemand hatte ihn so schmerzhaft verwundert, *wie* Asta, niemand *außer* dem Büffetfräulein... (3) Jetzt konnte er ihr seine Macht zeigen. (S. 234) → *(1) *Кого обидели, тот мстит.* (2) *Его обидели (Н и к т о, к р о м е нее, так его н е обидел = = Она его обидела).* (3) *Он мстит ей.* Сочетание «*nichts* + *als* + существи-

тельное»: (2) 'Ein Narr!.... ich bin *nichts* weiter *als* ein Narr. (3) Alle haben recht gehabt, die mich... Zeitvertreib, Plauderer nannten' (S. 384) → *(1) *Дурака можно назвать прожигателем, болтуном.* (2) *Он дурак* (*Он не кто иной, как дурак = Он дурак*). (3) *Он прожигатель и болтун*; б) Предложение репрезентирует заключение (1 энтимема). Энтимема эта выражена сложноподчиненным предложением с подчинительным союзом *als* по модели «*nichts* + *als* + придаточное предложение»: (2) Vollständig ruiniert und mit dem Fluch des ganzen Volkes beladen, (3) hatte er, der berufsmäßige Halsabschneider, *nichts* besseres zu tun gewußt, *als* auch an die eigene Gurgel das Messer zu setzen. (S. 267) → *(1) *Кто разорен, тот кончает самоубийством*, (2) *Он разорился.* (3) *Он покончил с собой* (*Ничего другого не придумал, как покончить с собой*).

Нейтрализация отрицания *nicht* глаголом с префиксом *ver-* по модели «*nicht* + V (ver-)» (6 энтимем). а) Предложение репрезентирует меньшую посылку (5 энтимем): сочетание отрицания *nicht* с глаголом на *ver-* в инфинитиве создает не отрицательное, а утвердительное суждение благодаря отрицательному семантическому значению глагола. Глагол *versäumen* означает *пропустить* (*не присутствовать*), *verkennen* — *обознаться* (*не узнать, не признать*). Сочетание двух отрицаний создает утверждение: *не не присутствовать, не не признать.* Энтимема выражена двумя предложениями. Отрицание «*nicht* + *versäumen*» (*не упустить возможность*): (2) ...daß er *nicht versäumen* dürfe, dem Sieger unter die Augen zu treten. (3) ...holte er ihn ein und ging über die Straße, . . . bemüht, den Augenblick abzupassen, wo sein Gruß bemerkt werden mußte. (S. 271) → *(1) *Кто не хочет упустить возможность показаться на глаза* (= *хочет показаться на глаза*), *тот должен идти навстречу.* (2) *Он хотел показаться на глаза.* (3) *Он пошел ему навстречу.* б) Предложение репрезентирует заключение (1 энтимема). Энтимема выражена сложноподчиненным предложением. (2) Seit er sah, wie Andreas von seinen ...Gedichten ...abdruckte, (3) konnte sich der Romancier den Wunsch *nicht versagen*, durch die Protektion seines... Zimmernachbars in das Beiblatt ...zu gelangen. (S. 394) → *(1) *Через человека, который печатается, можно устроить себе протекцию.* (2) *Андреас печатается.* (3) *Через него можно устроить протекцию* (*не мог отказать себе в желании напечатать = напечатал*).

Отрицание *nicht*, *kein* нейтрализуется по модели «модальный глагол в функции сказуемого + отрицание» (2 энтимемы). Употребление модального глагола в функции сказуемого с отрицанием выражает фактически утверждение: *Man sollte nicht hingehen* (*Не надо было ходить туда = Он ходил туда*). (2) «Man *soll* den unteren Schichten *kein* schlechtes Beispiel *geben*. (3) Man immer so tun, als wenn die fiene Welt allens sauber wäre...» (S. 330) → *(1) *Кто подает дурной пример, тот разоблачает себя.* (2) *Он подает дурной пример* («*Не надо было подавать дурной пример = Подавал дурной пример*). (3) *Он разоблачает себя.*

Нейтрализация отрицания в предложениях, построенных по модели: «сказуемое, выраженное глаголом в сослагательном наклонении + отрицание» (5 энтимем). а) Употребление отрицания в меньшей посылке (3 энтимемы). Все энтимемы выражены сложноподчиненным предложением. (2)'... aber wenn ich *nicht* auch Vorsicht und Überlegung *besäße*, und wenn ich *nicht wüßte*, was ich will, (3) *hätte* ich dann wohl das da in der Tasche?' → → (S. 87) → *(1) *У кого есть ум, тот всего добьется.* (2) *У него есть ум* (*Если бы у меня не было ума = У меня есть ум*). (3) *Он всего добьется.* б) Употребление отрицания в заключении (2 энтимемы). Энтимема выражена сложноподчиненным предложением: (2) «Und wenn Türkheimers Emissionen *nicht wären*, (3) dann *hätte* ich *nicht* mal mehr die... zehn Pfenning...» (S. 198) → *(1) *При наличии ценных бумаг человек остается богатым.* (2) *У него были ценные бумаги* (*Если бы у него не было ценных бумаг = = У него были ценные бумаги*). 3) *Он остался богатым* (*У него не было бы денег = У него были деньги*). Энтимема выражена сложносочиненным предложением с союзом *sonst*: 'Bah! (2) Sie liebt mich, (3) *sonst hätte* sie mir meine

Marotte *nicht* geglaubt'. (S. 119) → *(1) *Кто любит, тот может поверить и лжи.* (2) *Она любит.* (3) *Она поверила лжи.* Если в предложении-заключении с союзом *sonst*, сказуемое которого выражено глаголом в сослагательном наклонении, стоит отрицание, то оно выражает утвердительное суждение, и, наоборот, если в нем нет отрицания, то оно выражает отрицательное суждение: «*Sonst hätte* sie *nicht* geglaubt = Sie hat gegelaubt»; «*Sonst hätte* sie gegelaubt» = «Sie hat *nicht* geglaubt». Союз *sonst* сам по себе выражает отрицательный смысл в предложениях определенной синтаксической структуры. Для того, чтобы нейтрализовать этот отрицательный смысл предложения с *sonst*, необходимо ввести второе отрицание (*nicht*, *kein*, *nie*, *niemand* и др.).

Нейтрализация двух отрицаний по модели «*nicht* + *nicht*» (3 энтимемы). а) Предложение репрезентирует меньшую посылку (2 энтимемы). Энтимема выражена простым предложением. В качестве первого отрицания служит отрицание *nicht* или *ohne*, в качестве нейтрализуемого отрицания служит причастие второе от глаголов с отрицательным префиксом *un-*: (2) «...*ohne* die große *unverdiente* Güte, die Sie mir entgegenbringen, (3) würde ich nie gewagt haben, Sie darum zu bitten...» (S. 31) → *(1) *Кто добр, к тому обращаются с просьбой.* (2) *Она добра* (*Она не без доброты*). (3) *К ней обращаются с просьбой.* (2) Um den Brief *nicht unbenutzt* zu lassen, (3) übergab Andreas ihn einem... Diener.. (S. 27) → *(1) *Кто приносит письмо, тот передает его адресату.* (2) *Он принес письмо* (*не оставил его не использованным = использовал*). (3) *Он передал его адресату.* б) Предложение репрезентирует заключение (1 энтимема). Нейтрализуются два отрицания nicht + ohne: (2)... das die *ungewohnte* Last (3) *nicht ohne* beträchtliches Ächzen empfing. (S. 147) → *(1) *Большой груз рессора воспринимает со скрипом* (*необычный груз = большой груз*). (2) *Груз был большой.* (3) *Рессора сильно скрипела* (*не без скрипа = со скрипом*).

Усиление утверждения предшествующей реплики специальной конструкцией с отрицанием по модели «*gar* + отрицание»: «Das ist noch *gar nichts*» (1 энтимема): «Solch ein vornehmer Geschmack...» (2) «Oh, das ist noch *gar nichts*. (3) Ich will Ihnen nachher was zeigen, daß Ihnen die Äugen übergehen sollen.» (S. 290) → *(1) *У человека, видящего прекрасное, глаза разбегаются.* (2) *Он видит прекрасное* (*Это еще что! = Это еще ничто по сравнению с тем, что ты увидишь! Ты увидишь еще более прекрасное*). (3) *У него разбегаются глаза.*

Предложения диалогической речи, подтверждающие предшествующие отрицательные реплики (нейтрализация двух отрицательных суждений) (1 энтимема). Предложение «Mein Haar! Es ist gerade zerzaust genug» означает: *Ты не должен трогать мои волосы, они и так достаточно растрепаны.* «Mein Haar! Es ist gerade zerzaust genug». «Was tut es?» fragte er... (2) «Ihr merkt so etwas *nicht*. (3) Aber die erste Frau, der ich begegne, sieht mir an, woher ich komme» (S. 253) → *(1) *По растрепанным волосам можно определить состояние человека.* (2) *Волосы были растрепаны* (*но не все это замечают*). (3) *Человек был крайне взволнован.*

Можно сделать следующие выводы.

1) Между отрицательными и утвердительными логическими суждениями существует четкая граница, что и находит отражение в разграничении различных типов умозаключений (модусов). Однако наличие в языковых построениях, выражающих логические умозаключения, различного рода отрицательных средств еще не означает, что эти умозаключения построены по правилам отрицательных модусов («Celarent», «Camestres»). Значит, в некоторых случаях языковые форманты, служащие средством выражения отрицания на уровне предложения, не являются таковыми на уровне умозаключения. Это означает, далее, что общеотрицательные и общеутвердительные суждения не находятся в отношениях противоречия: граница между ними в естественном языке может быть формально-логически нарушена путем взаимопереходов (А) → (Е) и (Е) → (А), но без нарушения смысла суждения. Язык имеет массу форм (без отрицаний), для выражения одной-единственной логической формы (модус «Barbara»). Более того, гибкость естественного языка простирается столь далеко, что эти

языковые формы без отрицаний, выражающие лишь одну логическую форму, пополняются языковыми построениями с отрицательными формантами (в данном случае — 6,3% по отношению к первым). Согласованность между языковой и логической формами подрывается изнутри самим же естественным языком благодаря его способности выражать утверждения через отрицания. Язык располагает для этих целей различными средствами выражения отрицания, которые используются говорящим (пишущим) стихийно, интуитивно, но логически безошибочно. Исследователь же языка правомерность использования отрицательных средств для построения утвердительных логических модусов должен доказать эксплицитно, ибо, как кажется на первый взгляд, мы имеем дело с формальным «нарушением» правильного модуса (например, A, E, A).

2) Средства выражения отрицания, функционирующие в утвердительном модусе «Barbara», элиминируются двумя способами. Если в одном из суждений употреблен один отрицательный формант, то общеотрицательное суждение преобразуется в общеутвердительное суждение без искажения его смысла (всего 53 суждения, в том числе суждений в роли меньшей посылки — 51, в роли заключения — 2) на основе двух методов: а) методом замены соответствующих понятий с отрицанием на их антонимы без отрицания (по принципу: «не холодно» = «тепло»; «не здесь» = = «там»); б) методом преобразования простого предложения с отрицанием при сказуемом в сложноподчиненное предложение с перенесением отрицания к связке придаточного предложения (по принципу: «Он *не* голоден», т. е. «Он *не есть* тот, кто голоден» = «Он *есть* тот, кто *не* голоден»). Иначе говоря: единичное отрицание элиминируется указанными двумя методами на уровне умозаключения. Если в одном из суждений употреблено два отрицательных форманта, то такое суждение уже само по себе, с самого начала выражает утверждение на основе взаимной нейтрализации обоих отрицаний, т. е. нейтрализация двух отрицаний происходит на уровне суждения. (30 суждений, в том числе суждений в роли меньшей посылки — 21, в роли заключения — 9; всего 53 + 30 = 83 энтимемы с отрицаниями построены по модусу «Barbara» из 657 энтимем данного типа).

3) Более высокая частотность употребления единичных отрицательных формантов в меньшей посылке (51) по сравнению с заключением (2) объясняется, по-видимому, свойствами модуса «Barbara»: в любом силлогизме заключение — наиболее важная его часть, его цель. А так как заключение по модусу «Barbara» должно быть только общеутвердительным суждением, то говорящий (пишущий), строя умозаключение по модусу «Barbara», избегает употребления единичных отрицательных формантов как неоднозначных для выражения однозначного утвердительного заключения, хотя они и возможны в исключительных случаях (в 2 заключениях из 657). Если сравнить соотношение этих суждений, имеющих одно отрицание (первая группа), с суждениями, имеющими два нейтрализуемых отрицания (вторая группа), отдельно для меньшей посылки и для заключения, то мы обнаруживаем следующее: в функции меньшей посылки с одним отрицанием употреблено 51 суждение, с двумя нейтрализуемыми отрицаниями — 21 суждение (всего 72 энтимемы); в функции заключения с одним отрицанием употреблено 2 суждения, с двумя нейтрализуемыми отрицаниями — 9 суждений (всего 11 энтимем). Таким образом, в функции меньшей посылки в два с половиной раза чаще представлены общеотрицательные суждения с одним отрицанием, требующие преобразования в общеутвердительные суждения, по сравнению с суждениями, в которых нейтрализуются два отрицания (51 : 21). А в функции заключения, наоборот, почти в пять раз чаще встречаются суждения, два отрицания в которых нейтрализуются (2 : 9). Это позволяет утверждать, что в функции меньшей посылки модуса «Barbara» как менее весомой по сравнению с заключением возможно употребление общеотрицательных суждений, которые, однако, на фоне утвердительных суждений в функции заключения модуса «Barbara» должны быть преобразованы по определенным логическим правилам в утвердительные суждения.

4) Среди способов нейтрализации отрицаний в суждениях модуса «Barbara» наиболее часто представлены модели: «*nichts* + *als*, *außer* + существительное» и «*nicht* + глагол на *ver-*», причем чаще всего эти модели используются в суждениях в функции меньшей посылки. А в суждениях, служащих заключением силлогизма, отрицания нейтрализуются чаще всего в риторических вопросах с отрицанием. Причины предпочтения той или иной модели нейтрализации в меньшей посылке и в заключении силлогизма остаются пока неясными.

5) Что касается языковых способов выражения энтимем данного типа (модуса «Barbara» с последовательностью суждений: «меньшая посылка» — «заключение»), суждения в которых выражены предложениями с отрицаниями, то такие энтимемы в естественном (немецком) языке наиболее часто представлены двумя самостоятельными предложениями: 47 энтимем, выраженных двумя предложениями, выступают в функции меньшей посылки + 3 энтимемы, выраженные также двумя предложениями, выступают в функции заключения = 50. Остальные 33 этимемы представлены сложноподчиненными (14), сложносочиненными (7), простыми предложениями (10) и трехчленными диалогическими единствами (2).

6) Проблема антонимии — не только проблема языкознания, но и проблема логики. Оказалось, что именно благодаря антонимической замене возможен перевод отрицательных суждений в утвердительные, т. е. подведение соответствующих умозаключений под правильный модус — модус «Barbara». Проблема антонимии в языке, следовательно,— это проблема выбора соответствующего логического модуса.

7) Было обнаружено сложное взаимодействие между суждением и предложением. Предложение с отрицательными формантами как и без них может выражать и отрицательные, и утвердительные суждения (четыре варианта). Здесь был показан лишь один из них: «готовность» предложений с отрицательными формантами быть преобразованными в суждения утвердительные, как и их способность ab ovo быть таковыми. Как показал В. З. Панфилов, различные языковые средства выражения отрицания по-разному используются на двух уровнях членения предложения — на синтаксическом и на логико-грамматическом. Здесь эта мысль подтверждена на материале более высокого логического уровня — на уровне умозаключения, необходимыми структурными элементами которого служат суждения. Если бы средства выражения отрицания играли одинаковую роль на двух уровнях членения предложения — на синтаксическом и на логико-грамматическом, то они автоматически «делали» бы отрицательными все предложения и все суждения. Но тогда невозможны были бы никакие преобразования (E) → (A) и (A) → (E), говорящий бы, желая выразить (A), никогда бы не разнообразил его в виде (E), а (E) никогда бы не смог выразить через (A). Это привело бы к обеднению ресурсов языка, к ликвидации его гибкости с целью выражения умозаключений. В формах естественного языка, как теперь становится очевидным [см. 13, 14, 20—22], никогда не отражается «голая» логическая форма, какую мы видим в исследованиях по логике. Логическая форма, в частности умозаключение, всегда представлена многообразием языковых форм (как ни странно, этот важный для логиков и философов вопрос в формальной логике не только не рассматривался, но даже не ставился). Исследование соотношения языковой и логической форм на примере семантического поля отрицания проливает свет на то обстоятельство, почему суждения с противоположным качеством (E) и (A) не находятся в отношениях противоречия: на основе указанных здесь двух методов (процедур) первое может переходить во второе без изменения его смысла.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Шенделъс Е. И.* Отрицание как лингвистическое понятие.— Уч. зап. 1-го МГПИИЯ, 1959, т. XIX.
2. *Васильева С. А.* К вопросу о природе отрицания.— Сб. работ [Ленинградского технологического института пищевой промышленности]. Л., 1958.
3. *Озерова Н. Г.* Средства выражения отрицания в русском и украинском языках. Киев, 1978.

4. *Шипулина Л. П.* К вопросу о мононегативности в английском языке. —Вестн. ЛГУ, серия истории, языка и литературы, 1961, № 2, вып. 1.
5. *Зенчук В. Н.* Отрицание в сербохорватском языке: Автореф. дис. на соискание уч. ст. канд. филол. наук. Л., 1968.
6. *Новиков Л. А.* Логическая противоположность и лексическая антонимия.— РЯШ, 1966, № 4.
7. *Новиков Л. А.* К проблеме отрицания в современном немецком языке.— В кн.: Вопросы лексики, грамматики и фонетики немецкого языка. М., 1974.
8. *Бродский И. Н.* Об объективном смысле отрицания.— В кн.: Материалы к симпозиуму по логике науки.— Киев, 1966.
9. *Бродский И. Н.* Отрицательные высказывания. Л., 1973.
10. *Бродский И. Н.* Философские и логические аспекты проблемы отрицательных высказываний: Автореф. дис. на соискание уч. ст. докт. философских наук. Л., 1974.
11. *Гетманова А. Д.* Отрицание в системах формальной логики. М., 1972.
12. *Воробьев Н. Н.* Конструктивное исчисление высказываний с сильным отрицанием. Труды математического ин-та им. В. А. Стеклова, 1964, т. 72.
13. *Панфилов В. З.* Отрицание и его роль в конституировании структуры простого предложения и суждения.— ВЯ, 1982, № 2.
14. *Панфилов В. З.* Гносеологические аспекты философских проблем языкознания. М., 1982, с. 180—199.
15. *Бондаренко В. Н.* Отрицание как логико-грамматическая категория. М., 1983.
16. *Кривоносов А. Т.* — ВЯ, 1985, № 5.— Рец. на кн.: *Бондаренко В. Н.* Отрицание как логико-грамматическая категория. М., 1983.
17. *Mann H.* Im Schlaraffenland. Berlin, 1951.
18. *Панфилов В. З.* Взаимоотношение языка и мышления. М., 1971, с. 138—166.
19. *Панфилов В. З.* Категория модальности и ее роль в конституировании структуры предложения и суждения.— ВЯ, 1977, № 4.
20. *Кривоносов А. Т.* «Текст» и логика.— ВЯ, 1984, № 3.
21. *Кривоносов А. Т.* Способы выражения отрицания в немецкой диалогической речи. ИЯШ, 1983, № 5.
22. *Кривоносов А. Т.* Языковые средства выражения логического отрицания.— ФН, 1985, № 1.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 1 1986

АРУТЮНОВА Н. Д.

ДИАЛОГИЧЕСКАЯ ЦИТАЦИЯ

(К проблеме чужой речи)

Наталье Юльевне Шведовой
в год ее творческого юбилея

Термин «диалогическая цитация» мы относим к случаям использования реплик собеседника (или их фрагментов) в иных (обычно оппозиционных) коммуникативных целях. Например: Попова. Позвольте, так кто же, по-вашему, верен и постоянен в любви? Не мужчина ли? Смирнов. Да-с, мужчина! Попова. Мужчина! (злой смех). *Мужчина верен и постоянен в любви*! Скажите какая новость! (Чехов); Купцы. Не погуби, Антон Антонович! Городничий. *Не погуби*! теперь: *не погуби*! а прежде что? я бы вас... (Гоголь). Реплика говорящего обращается к нему и против него. Цитация — это коммуникативный бумеранг. Она представляет собой компонент вербальной реакции на высказывание говорящего [1].

Цитация извлекается из речи собеседника. Поскольку оригинал непосредственно дан в текущем диалоге, источник обычно не указывается. Основные свойства цитации проистекают из того, что она входит в диалогический контекст. В классическом случае цитация — это ход в игре на две руки. Этим она отличается от цитирования — введения в текст фрагментов других текстов. Прагматическая ситуация цитирования вовлекает по крайней мере трех участников: говорящего (автора текста), адресата и автора цитаты.

Цитация выражает реакцию на реплику говорящего, и она прямо связана с диалогическими (можно было бы сказать «прагматическими») модальностями — согласием и несогласием (унисоном и диссонансом) [2], а также с различной диалогической тактикой [3, 4]. Заключая свое фундаментальное исследование диалогической речи, Н. Ю. Шведова пишет: «Изученный материал показывает, насколько богаты собственно конструктивные средства для выражения разных оттенков несогласия, отрицания, неодобрения» [2, с. 362]. Цитация ставит говорящего в оппозицию к собеседнику. Протест может быть вызван такими параметрами воспроизводимой чужой речи, как истинность, обоснованность, уместность, адекватность, корректность, ясность, стилевые характеристики, выбор слов, способ обращения и т. п. Он может быть направлен против выраженной в чужой речи точки зрения, оценки, решения, жизненной или коммуникативной позиции. Характеризуя функции повторов с различными модальными частицами, Н. Ю. Шведова отмечает, что они «объединяются широким кругом разнообразных оттенков отрицательного отношения к сказанному или к предмету речи» [1, с. 73]. Вот характерный пример диалогического протеста, выраженного цитацией: Нина. А вас... тетя Аня *послала* белье сторожить? Сергей Ильич. Что ты все, *послала!*

[1] Виды формальной и семантической зависимости вторых реплик диалога от инициальных высказываний подробно описаны Н. Ю. Шведовой [1, 2], которая впервые убедительно показала, что вторые реплики-повторы «образуют систему своеобразных синтаксических единиц разговорной речи» [2, с. 360]. Автор отмечает и наличие у них интонационных особенностей, однако эта проблема не входит в число основных задач ее исследования.

[2] В диссертации А. Р. Балаяна проанализирована роль цитатного реплицирования в диалогах полемического, «унисонного» и ситуативно-ориентированного типов [4, с. 60 и сл.]. В ней также дается схема видов «отраженной» речи [4, с. 68].

В милицию — *послала*, в булочную — *послала*, белье стеречь — *послала*. Меня так больно не пошлешь (Л. Петрушевская).

Явление диалогической цитации разнородно и не имеет четких контуров. Цитация граничит с рядом сходных явлений, таких, как цитирование, прямая, косвенная и несобственно прямая речь, повторы, подхваты и переспросы, литературные реминисценции и др. Хотя граница между этими явлениями не всегда может быть проведена четко, между ними существуют различия. Эти различия относятся к грамматическому, интонационному, функциональному, семантическому и прагматическому планам, т. е. к объему и степени сохранности (соответственно искаженности) чужой речи, целям ее введения в текст, а также к степени и способу ее выделенности из новой для нее «среды обитания». Максимум слияния представлен некоторыми видами литературных реминисценций, в особенности «поглощенной» чужой речью. Чужое слово органически «приживается» на новом месте, которое становится для него своим. Вместе с тем чужая речь не присваивается говорящим. Для автора желательно, чтобы адресат (читатель) уловил взаимодействие разных текстов, разных личных сфер [3]. Пушкин, например, иногда выделял курсивом используемую им чужую речь, ср. в характеристике поэзии Ленского: Он пел разлуку и печаль И *нечто* и *туманну даль* (Евгений Онегин, II, X) [7, с. 190].

Диалогическая цитация, как будет показано ниже, дает примеры разной степени координации чужой речи с новой для нее средой, а также разных способов ее выделения. В настоящей статье будут рассмотрены три вида диалогической цитации: повторы и передразнивание, цитатные вопросы, контрастивное отрицание. В заключение будет высказано несколько соображений о связности диалога.

I

Самым простым и прямым видом цитации являются повторы и передразнивание. Жертвой передразнивания может быть не только собеседник, но и постороннее лицо.

Интонация воспроизводимой речи всегда значима. Она выявляет (или фальсифицирует) ее подтекст. Говоря об изменении интонации как о признаке переданной речи, Н. Ю. Сахарова отмечает, что она выражает субъективную оценку слов собеседника: возмущение, удивление, раздражение и т. п. [8, с. 152].

Передача чужих слов — это высказывание о высказывании, или, в терминологии Р. О. Якобсона, сообщение о сообщении [9, с. 95]. Происходит интонационное травестирование реплики: к чужому высказыванию прибавляется суперсегментный (просодический) предикат оценки (субъективного отношения).

При интонационном травестировании используется особая, причем распределенная по типам, интонация. Н. Ю. Шведова отметила, что «многие повторы вообще могут произноситься только с какой-либо одной интонацией» [2, с. 362]. Из интонации повторов, и это отличает их от переспросов — с одной стороны, и от передразнивания — с другой, исключен коммуникативный импульс: интонация не придает высказыванию значения вопроса, утверждения, побуждения, ответа на вопрос. Вместо обычного коммуникативного значения в реплику вставлено диалогическое «жало». Поэтому вслед за повтором может следовать собственно утверждение или вопрос. Например:—Ты не видишь, что мы погибаем? — *Погибаем, погибаем*! Захныкал! *Да, погибаем*! И погибнем, если будем хныкать, а не действовать.

Воспроизведение чужой речи допускает отклонения от оригинала. Это живой и вольный способ реагирования, и он поэтому не придерживается жесткой нормы. Однако существуют определенные правила сокращения, распределенные по типам. Наиболее распространенный способ сокращения высказывания состоит в его редукции к реме и, прежде всего,

[3] Проблемы диалогизации художественного текста были поставлены и рассмотрены М. М. Бахтиным [5, 6].

в устранении подлежащего. Вопрос, который часто вызывает протест самой своей коммуникативной установкой, регулярно сводится к вопросительному слову; например: — Мы никогда об этом и не говорим. — «Не говорим»! Ты думаешь достаточно не говорить? (Ф. Вигдорова); Иванов у вас где спит? — Зачем он тебе? — «Зачем». Вопросики задаешь (Ф. Вигдорова). Для ряда типов допускается изменение лица в соответствии с условиями текущего речевого акта.

Хотя прагматическая ситуация дает возможность достаточно определенно интерпретировать цитацию, говорящий нередко прибегает к комментарию. Последний может следовать за цитацией, предшествовать ей и ее обрамлять. Многие комментарии имеют вид стандартизованных реплик. Например: — Хочешь откровенно? — Нет. Ну скажи сама, какой взрослый будет с мальчишкой разговаривать на равных? «Хочешь откровенно?» *Какая же с мальчишкой может быть откровенность*? (К. Финн); — Отдай пистолет! — *Заладил*! Все отнимала, отнимала судьба моя. *А теперь вот и последнее*. «Отдай пистолет» (К. Финн.).

Цитацией в диалоге достигается эффект рикошета. Возврат реплики означает ее неприятие, отпор. Отпор, как отмечалось, может быть вызван разными аспектами высказывания. Наиболее важно для данного типа указание на неправильность позиции собеседника — жизненной или коммуникативной. «Чужое слово» принимается как знак некоторой жизненной установки, предопределяющей линию поведения. Если установка не выражена четко, адресат стремится ее выявить: — Не скажу! — *Не скажу*. Что кроется за твоим «не скажу»? Можно было бы даже спросить: «Что ты хочешь сказать этим своим «не скажу»? и такой вопрос относился бы не к утаенной информации, а к утаенным взглядам и намерениям.

Как явствует из сказанного, определяющими для типизации диалогических цитаций этого разряда являются следующие факторы: цитатная выборка и обработка, в частности, сдвоенность повтора, интонация, с которой воспроизводится реплика собеседника, коммуникативная цель цитации. Одна и та же реплика-повтор может в зависимости от испытываемых ею модификаций входить в разные разряды. Двигаясь от наиболее нейтральной и наименее оппозиционной по отношению к собеседнику цитации (повтора) в направлении к наиболее ее маркированной форме (лжеимитации), можно выделить пять опорных типов диалогической цитации [4]. Промежуточные состояния реплик, а также разные виды переспросов нами не учитываются.

1. Нейтральная цитация, или повтор. Этот тип совпадает со значительной частью описанных Н. Ю. Шведовой собственно повторов [2, с. 300 и сл.]. Цель повтора — замедлить темп диалога, выиграть время для обдумывания реплики собеседника и ответа на нее. Обычно реплика воспроизводится полностью или с небольшими усечениями. Но если она стоит во втором лице, то оно «пересчитывается» на первое: — Куда ты ходил вчера? — *Куда я ходил*... Дай вспомнить, кажется, в библиотеку; — А вы как это нас разыскали? — *Как разыскала*? А так и разыскала. Ходила, ходила и нашла (пример заимствован у Н. Ю. Шведовой [2, с. 301]). Просодически повтор выделен переходом на более высокий уровень базового тона и напряженным голосом. Интонация ровная, лишенная модуляций. Особенно важно то, что в интонации отсутствует выражающее иллокутивную силу (коммуникативную цель) скольжение тона. Весь повтор представлен как единый речевой блок (интонация называния). Это как бы отрешенная, машинальная интонация размышления. Произнося, например, вопрос, говорящий сосредоточен уже не на нем, а на ответе. Поэтому из вопроса ушел «живой голос» человеческой коммуникации. Повтор этого типа в известном смысле заполняет диалогическую паузу, длина которой не может превосходить известных пределов. Иначе она перейдет в тягостное молчание.

---

[4] Здесь и далее все наблюдения над просодикой, само выделение интонационных типов, а также термин «лжеимитация» принадлежат С. В. Кодзасову, которому автор приносит искреннюю благодарность за помощь

2. Экспрессивная цитация. Она выражает отрицательное отношение к реплике собеседника или зафиксированной в ней жизненной позиции. Реплика-источник может быть воспроизведена полностью, но чаще из нее выбирается тот компонент, который стимулировал отрицательную реакцию, например, форма обращения: Хазов. А я больше не буду хулиганичать, маманя. Настасья. *Маманя*! Какая я тебе к бесу маманя? (хватает грабли). Я вот сейчас тебе такую «маманю» покажу! (Ю. Чепурин); — Видите ли, в чем тут дело: вот эта вот гражданка. — Вы уж прямо как враги — «гражданка». Соседи ведь (В. Шукшин); — Не дури, мне тебя слушать стыдно. — Ты с кем разговариваешь? Ты с капитаном разговариваешь. «Не дури!»

Просодика цитации определяется эмоциональным озвучиванием нейтральной интонации называния: эмоции как бы накладываются на ровный интонационный «грунт». Эффект эмоциональности создается фонационными и артикуляционными изменениями (качеством голоса и сдвигом вперед артикуляции). Коммуникативная опустошенность интонации компенсируется эмоциональными наполнителями. Напряженность голоса характерна и для этого типа.

Вот еще несколько примеров экспрессивной цитации: Попова. Лжете! Почему вы не хотите драться? Смирнов. Потому что... потому что вы... мне нравитесь. Попова. *Я ему нравлюсь*! Он смеет говорить, что я ему нравлюсь (Чехов); Попова. Неумно и грубо. Смирнов (дразнит). *Неумно и грубо*! Я не умею держать себя в женском обществе (Чехов); Ломов. Сердцебиение... Нога отнялась... Не могу. Наталья Степановна (дразнит). *Сердцебиение*... Какой вы охотник? Вам на кухне на печи лежать, да тараканов давить, а не лисиц травить! *Сердцебиение* (Чехов).

Экспрессивная цитация часто используется в целях активного воздействия на собеседника: — Пускай уходит! — *Пускай уходит*! Это легко сказать — пускай уходит! Его сюда привели, чтобы вы сумели воспитать его человеком, а вы говорите — *пускай уходит* (Ф. Вигдорова); — Не лягу я, — начал было Катаев. — Я тебе дам «не лягу»! — взорвалась Лючия Ринальдовна (Ф. Вигдорова); Ладно! — Это как так ладно? Он перед твоим носом кулачищем трясет, а ты «ладно» (Ю. Чепурин).

Тогда, когда отводится позиция собеседника, выраженная реактивной репликой, экспрессивная цитация соприкасается с элиминирующим отрицанием или заменяется им: Нина. Да пу̀сть чай пьет. Граня. *Не пусть чай пьет*! *Не пусть чай пьет*! Решительная какая (Л. Петрушевская); ср. следующие реакции на реакции: Не «пу̀сть»; Не «ну да̀»; Вовсе не «что̀ поделаешь»; Вот и не «ка̀к знаешь»; И не «наплева̀ть». И здесь цель реплики воздействовать на собеседника, а не просто с ним не согласиться. В этом последнем случае говорящий сказал бы «А мне не наплевать»[5].

3. Парная цитация пресечения. Это стандартная для фамильярной речи реакция на нытье, жалобы, домогательства, вопросы об очевидном, пустые угрозы. Ее цель — прекратить разговор или изменить его направление. Реплика-источник сводится к одному (желательно короткому) компоненту. Просодика создается выключением из интонации иллокутивной силы. На ровную интонацию называния, объединяющую части повтора, наложены негативизирующие ее черты недовольства, презрительности. Артикуляция смещена вперед, тон напряженный, возможно растягивание, пародирующее монотонность речи собеседника. Например: — Учишь тебя, учишь, а все без толку.—*Без толку, без толку*. Заладил; — Заплачьте, Полина Андреевна. — Ну что ты пристала? *Заплачьте, заплачьте*. Разве мое горе слезами выплачешь? (К. Финн). — Разводиться нам пора.— *Пора, пора*. Да, пора!

Парное передразнивание — это отпор, вызванный коммуникативной позицией говорящего — его ворчаньем, упреками, «блефом» и т. п. Следующее за передразниваньем согласие неожиданно для собеседника,

---

[5] Знак ˙ означает падение тона в два интервала; знак ‖ означает двойной акцент.

рассчитывающего на уступку, возражение, спор, но не на унисон. Унисон, впрочем, здесь мнимый. Его цель — вышибить собеседника из занятых им коммуникативных позиций, показать ему, что он не хочет того, чего якобы добивается, и не думает того, что говорит.

4. Парная цитация неодобрения. Цель передразнивания — указать собеседнику на неадекватность, неэтичность и пр. занятой им коммуникативной или жизненной позиции. Большей частью в данном типе речь идет именно о жизненной установке, между тем как в предыдущем разряде имеется в виду прежде всего коммуникативное поведение собеседника. Сокращение реплики-источника происходит так же, как и в предшествующей категории. Иллокутивная сила не всегда полностью выключена из интонации. Говорящий может сочетать ее с выражением осуждения, неудовольствия, презрения, достигаемым сдвинутостью артикуляции в переднюю часть ротовой полости. Части повтора не объединены в единый блок. Для просодики характерна ступенчатая интонация: первый повтор произносится более высоким тоном, чем второй. Ступенчатость может достигаться различием в уровне акцентуации. Как и во всех предыдущих типах, используется напряженный голос. Например: —А может не надо?—Не знаю.—«Не знаю», «не знаю», все я одна должна решать; — Я никуда не поеду.— «Не поеду», «не поеду». А что же делать с билетом?

Как показывают примеры, первое лицо говорящего не преобразуется во второе лицо адресата, что является верным знаком передразнивания, сближающим его с пародированием. Упомянутые типы парной цитации близки между собой.

5. Лжеимитация, или пародирование. Объектом пародирования служит проявившее себя в первичном высказывании свойство говорящего (угодливость, сентиментальность, барственность и пр.). Высказывание воспроизводится полностью и обычно без коррекции. Его иллокутивные черты сохранены. Пародирование достигается изменением фонации и артикуляционной базы. Субъект речи перестраивает себя по модели другого человека, он как бы в него трансформируется, одновременно выделяя и утрируя проявляемые в его речи психологические и поведенческие характеристики и создавая тем самым речевую карикатуру или дружеский шарж.

Например: Купцы. Не погуби, Антон Антонович! Городничий. *Не погуби*! Теперь: *не погуби*! а прежде что? Я бы вас... (Гоголь); Подколесин. Ну полно, я еду — чего же ты раскричался? Кочкарев. *Еду*! Конечно, что же другое делать, как не ехать! (Гоголь); Лука. Барыня больны и не принимают. Смирнов. Пошел. *Больны и не принимают*! (Чехов); — Ну и прыгал ты! Боже! «Селедочку, коньячку, может, еще рюмочку». Не главный крупного завода, а официантик (Р. Самулявичюс).

Пародируя чужую речь, говорящий часто ставит под сомнение подлинность ее эмоциональной «упаковки». Он низводит жалобы до уровня нытья, чувствительность превращает в сентиментальность, твердость в резкость, сочувствие в лицемерие, просьбу в попрошайничество, настойчивость в настырность, скромность в «вечно он прибедняется», торжественность в напыщенность, услужливость в прислуживание и т.п. Каждая «диалогическая эмоция» имеет своего теневого двойника.

Покажем теперь различие приведенных типов на примере одной простой реплики, содержащей прокомментированную диалогическую цитацию.

1. — Куда это ты идешь? — *Куда я иду*... Просто погулять вышел; 2. — Куда это ты идешь? — *Куда иду*! Еще спрашиваешь. За хлебом иду. Ведь ты не купил; 3. — Куда это ты идешь? — *Куда, куда*. Сам ведь знаешь; 4. — Куда это ты идешь? — «Куда идешь», «куда идешь» — Все-то тебе про меня знать нужно; 5. — Куда это ты идешь? — «Куда это ты идешь?» Что это ты так вкрадчиво со мной разговаривать стал?

II

Цитатные вопросы всегда представляют собой реакцию на предшествующее высказывание, из которого и происходит заимствование «чужих слов». Это — вопросы о высказывании. Диалогическая реакция больше, чем инициальные реплики, предрасположена к выражению модальных значений. Не случайно в русском языке большинство частных вопросов в исходной позиции выражают информационное требование, а в позиции ответной реплики развивают модальные значения согласия, возражения, протеста и т. п. Например, *когда*-реплики отрицают истинность утверждения, относящегося к прошлому (— Ты с ним виделся? — Когда это я с ним виделся?); *где*-реплики отрицают существование объекта (Где теперь Суворовы? Где ты видел льва вегетарианца?), *откуда*-реплики отрицают наличие надежного источника информации (Откуда ты это взял? или просто Откуда?). Вопросы могут быть эквивалентны утвердительному ответу, осложненному указанием на очевидность запрашиваемой информации (Ты домой? — Куда же еще?; Это ты сделал? — Я. Кто же еще?) [10].

Цитатные вопросы могут быть ориентированы на выраженную в предшествующей реплике пропозицию или ее часть: (— Смешно. — *Что — смешно*? = Что именно в этом смешного?). Они могут быть ориентированы и на модус полагания предшествующей реплики (— Смешно.— *Почему смешно*? = Почему ты считаешь это смешным?). В первом случае реакция направлена на само утверждение; во втором случае спрашивающий ставит под сомнение основания для утверждения или для исходной предпосылки вопроса. Вопросы, обращенные к модусу полагания, постепенно становятся эквивалентами ответного высказывания с обратным (сравнительно с предшествующей репликой) знаком. Тем самым частная реакция на модус полагания превращается в общую модальную реакцию на пропозицию (— Ты не выполнил моей просьбы? — Почему не выполнил? Выполнил). Цитатный вопрос, относящийся к модусу, в общем случае не требует ответа. Если же апелляция к модусу выражена, она рассчитана на эксплицитный ответ: Юля. Вы, должно быть, сегодня не обедали. Хрущов. *Почему вы это думаете*? Юля. *Сердиты вы уж очень* (Чехов); Клеопатра. Они с каждым днем все больше распускаются, ваши социалисты. Полина. *Почему вы думаете, что он социалист*? Клеопатра. *Уж я вижу. Все порядочные рабочие — социалисты* (М. Горький).

Рассмотрим цитатные вопросы, начинающиеся вопросительными местоимениями *что* и *как*. Ни то, ни другое местоимение в цитатном вопросе не замещает члена предложения, хотя оба типа вопросов относятся именно к пропозиции, а не к модусу полагания. Наиболее простой тип цитатного вопроса — *что*-вопрос — это обращенное к собеседнику требование продолжить, дополнить, уточнить, разъяснить, интерпретировать, довести до логического конца реплику или высказывание [1, с. 79]. Вопрос этого типа возникает в ситуации действительного непонимания или недопонимания, а также в ситуации недомолвки, намека. Он, поэтому, не может быть оставлен без ответа. Вопросительное местоимение не соотносится с позицией актанта (подлежащего, дополнений). Поэтому его сочетаемость не ограничена глаголами, имеющими соответствующие валентности: — Послушай, — сказала мне Галя еще в начале лета, я давно хотела, да как-то не пришлось... А сейчас — не знаю — не поздно ли будет? — Что «поздно»? — Я хотела бы посадить деревце, яблоню (Ф. Вигдорова); Коля. Ну? Полина Андреевна. Что «ну»? Коля. Как получилось? Полина Андреевна. *Что получилось*? Коля. «Что» да «что»! Да улыбка же. Я ведь улыбаюсь, так ты велела» (К. Финн.); — Отец наказал: как была на его иждивении, так и будешь, пока на ноги не встала.— Не-у-же-ли? — по слогам как странно спросила Настя, что Серафима Игнатьевна не поняла. — Что «неужели»? — Именно так и наказал передать? Про иждивение (М. Прилежаева); Дмитрий Борисович. Ты напрасно думаешь, что в личной

жизни у меня не хватит характера, если придется его проявить. Зоя Васильевна. Уже. Дмитрий Борисович. Что «уже»? Зоя Васильевна. Давай, давай характер! Самое время (К. Финн). Но и там, где непонимание связано с дополнением глагола, вопросительное местоимение не занимает его синтаксической позиции: Петровых протянул руку: — Давай,— Что «давай»? — Комсомольский билет. Сниму с учета (М. Прилежаева). Если бы вопрос прямо относился к дополнению, он имел бы другую форму. — Давай! — *Что тебе дать*? (*Что ты хочешь, чтобы я тебе дал*?).

Если неясным остается смысл или коммуникативная цель высказывания (а не его тема), то цитация может вводиться глаголом *значить*. Войницкий. Она мой друг. Федор Иванович. Уже? Войницкий. Что *значит* это «уже»? Федор Иванович. Женщина может быть другом мужчины только под таким условием: сначала приятель, потом любовница, а затем уже друг (Чехов); Полина Андреевна. Сейчас. Ложечко. Что *значит* «сейчас»? (К. Финн). Чужая речь — она может быть сокращена до любого элемента — берется со стороны ее актуального смысла: адресат не уловил не кодовое, а речевое значение слова. Об этом иногда сигнализирует дейктическое местоимение (Что значит *это* «уже»?). Цитируемое слово берется не как изолированная (лексикографическая) единица, а как реплика или ее представитель.

В собственно цитатном вопросе и вопросительное местоимение и цитация равноударны: Что̏ «уже̏»? Цитата произносится напряженным голосом. Это отличает ее от анафорического повтора, встречающегося как в диалоге, так и в монологической речи. Для анафорического повтора характерно не только отсутствие напряжения голоса, но и его понижение: Полина. Ах, Таня, ты раздражаешь! Если мы не закроем — рабочие сделают стачку, и это будет хуже. Татьяна. *Что̀ будет хуже*? Поли́на. Все вообще (М. Горький). Понижение громкости голоса противопоставляет анафорический повтор дейктическому употреблению слова: Вот *до̏м*, который построил Джек. В этом *до̀ме* живет вся его семья. В первом предложении *дом* несет на себе сильное ударение и произносится с повышенной громкостью. Во втором ударение ослаблено и громкость голоса снижена (наблюдение С. В. Кодзасова). По-видимому, акцентная схема цитатных вопросов обусловлена тем, что вопросительное местоимение не соотносительно с определенной синтаксической позицией, вследствие чего между компонентами вопроса отсутствует прямая синтаксическая связь. «Связные» вопросы, в отличие от «бессвязных» (цитатных), задаются только в ситуации возражения, предполагающей, что адресат не согласен с оценкой говорящего. В них вопросительное местоимение не несет на себе сильного ударения; ср.: Что̏ «стра̏нно»? и Что же тут странного?

Близка к *что*-вопросам диалогическая реакция, выраженная репликами с вопросительным местоимением *как*, часто осложненным частицами (*как же*, *как то есть*, *то есть как*, *как это*, *как так*, *как же так*, *то есть*, *как же это так*) [1, с. 72, 78]. Местоимение и здесь ударно. Оно не замещает позиции обстоятельства образа действия и может вводить вопросы, в которых позиция обстоятельства либо вообще невозможна, либо уже замещена: *Как не нужно*? *Как ключом* (*пешком*, *верхом* и т. п.)? В отличие от частных вопросов цитатные *как*-вопросы содержат только ту часть предшествующей реплики, которая принимается адресатом за рему. В цитатном вопросе не фигурирует целиком взятая пропозиция, ср.: *Как же они ушли*? —Через забор и *Как ушли*?—Вот так. Взяли да ушли. Таким образом, частные и цитатные *как*-вопросы формально различны и их нельзя спутать. Интерпретация цитатного вопроса как частного делается нарочито и переключает диалог в план коммуникативной игры. Это хорошо видно в следующих примерах, в которых назначение реплики уточнено требующей интерпретации частицей *то есть*: Мой Сережа в данный момент чистит папу.— *То есть как чистит папу*? — *Столовым ножом*. Папа всегда приезжает с картошки безумно заляпанный (К. Симонов); — Я его выставил. —*То есть как выставил*?— *То есть по форме вежливо, а по существу — бесповоротно* (К. Симонов) [11, с. 121, ср. также 12, с. 326].

Первичное значение *как*-реплики отражает реакцию непонимания или недопонимания, и в этом данный тип сходен с цитатным *что*-вопросом. И тот и другой вопрос требуют ответа, разъяснения: Подколесин. Вы, сударыня, любите кататься? Агафья Тихоновна. *Как-с кататься*? Подколесин. *На даче очень приятно летом кататься на лодке* (Гоголь); Хлестаков. Денег нет у вас? Бобчинский. Денег?; *Как денег*? Хлестаков. *Взаймы рублей тысячу* (Гоголь); Пошли похахалим? — *Как это*? — Ну как? *У меня одна есть, скажем ей, она приведет еще* (В. Шукшин).

Ситуация действительного или мнимого непонимания, столь естественная в условиях диалога, стимулирует развитие целого спектра экспрессивно окрашенных реакций, таких, как удивление, обида, позиция оскорбленной невинности, несогласие, возражение, наконец, отпор. Действительное непонимание и нежелание понять выражаются близкими формулами; ср.: *Не понимаю, что ты хочешь этим сказать* и *Не понимаю, как можно так говорить*. Экспрессивное развитие ситуации непонимания характерно для *как*-вопросов, и это отличает их от цитатных вопросов с вопросительным словом *что* (только автономное *Что*?! имеет эмоциональные коннотации).

Психологические механизмы, связывающие непонимание с производными от него эмоциональными реакциями, не сложны. Удивление дает основание заподозрить, что сообщение было неправильно понято или истолковано: Теперь ведь Зубовской площади нет.— *Как нет Зубовской площади*? — *Есть площадь Шолохова*. Может быть представлена как непонимание и обида, возмущение («Не могу допустить, чтобы вы могли это сказать; возможно, я неверно вас понял»): Агафья Тихоновна. Ничего-с, ничего... Я не того-с... Пошли вон! Яичница. *Как пошли вон*? Что это такое значит: пошли вон? Позвольте узнать, что вы разумеете под этим? (Гоголь); Кочкарев. Нет, вам совсем не следует жениться. Жевакин. *Как так*? Кочкарев. Да так. Ну что у вас за фигура, между нами будь сказано? Нога петушья... Жевакин. Петушья? Кочкарев. Конечно, Что с вас за вид? Жевакин. *То есть как, однако же, петушья нога*? Кочкарев. Да просто петушья (Гоголь).

Может быть представлена как непонимание и растерянность, нежелание выполнить предъявляемое требование: Кочкарев. Ну, послушай, Иван Кузьмич, не упрямься, душенька, женись теперь. Подколесин. Помилуй, брат, что ты говоришь? *Как же теперь*? (Гоголь); Фекла. Сегодня же иные и придут. Я забежала нарочно тебя предварить. Агафья Тихоновна. *Как же сегодня*? Душа моя, Фекла Ивановна, я боюсь (Гоголь).

Следующий шаг в развитии этого значения — отказ, возражение или протест: Кочкарев. Изъясни ей и открой сию же минуту сердце и требуй руки. Подколесин. *Но как же сию минуту*? Что ты! (Гоголь); Зоя Васильевна. Тогда уходи. Дмитрий Борисович. *То есть, как это «уходи»*? Куда мне уйти? (К. Финн); — Ему не до свеклы сейчас,— прибавил Витязь.— *Как это не до свеклы*? Человеку всегда до свеклы (Ф. Вигдорова); Надя. Но почему же невозможно? Ведь это от вас зависит? Бобоедов. От меня... то есть — от закона. Надя. Ну, какой там закон! Пустите... Я вас прошу! Бобоедов. *Как это — какой закон*? И вы тоже закон отрицаете? Ай-ай-ай (М. Горький); Жевакин. Если так, жените меня на здешней хозяйке. Кочкарев. Вас? Да зачем вам жениться? Жевакин. *Как зачем*? Вот, позвольте заметить, странный немножко вопрос. А известное дело зачем (Гоголь).

Практически во всех случаях *как*-реплика может быть интерпретирована в терминах «непонимания»: «не понимаю, как можно так поступать» «не понимаю, как ты можешь это от меня требовать», «не понимаю, зачем задавать глупые вопросы», «не понимаю, как можно так думать» и т. п.

Вопросительное слово в анализируемых репликах вводит речевой акт. Если это утверждение, его представляет рема, вопрос может быть сокращен до вопросительного слова, директивный речевой акт сводится к императиву. Если реплика ограничена вопросительным местоимением (*Как*?!) — обыч-

но это своего рода речевой жест, выражающий изумление, возмущение, гнев, радость и подобные эмоции.

Ярким примером цитатных вопросов, ориентированных на модус полагания (глаголы мнения), являются *почему*-реплики [6]: Бананы, что — кончаются? — *Почему кончаются*? Вон еще сколько! Не видите? Вопрос относится не к причинам «истощения» запасов бананов, а к основаниям мнения: *Почему кончаются*? = Почему вы считаете (думаете, полагаете), что бананы кончаются? По системе Ш. Балли, это частный вопрос к модусу [13, с. 47]. Отнесенность причинного вопроса к пропозициональной установке мнения особенно очевидна в тех случаях, когда сама пропозиция, ее предикат, не допускает каузальных связей: — Он что, сват или брат Мазепе? — *Почему*? — Горой за него стоит, покрывает (Г. Можаев). Родственные отношения имеют следствия, но не причины. Поэтому вопрос не может быть истолкован иначе, как в связи с модусом полагания. *Почему*-реплики не могут быть вызваны утверждениями, касающимися собственного состояния говорящего. И это легко понять: сообщения типа *Я голоден*, *Я хочу спать* не нуждаются в мотивировке и не сочетаются с пропозициональной установкой мнения. Нельзя сказать **Я считаю, что я голоден* (*что мне холодно*, *что я хочу спать*). Поэтому вслед за утверждениями приведенного выше типа не может следовать *почему*-реплика. Содержащаяся в утверждении пропозиция также не стимулирует причинный вопрос. Сообщения о психическом состоянии типа *Мне грустно* (*весело*, *тошно*, *боязно*) могут вызвать причинный вопрос, относящийся к самой пропозиции (*Чему ты радуешься*? *Почему тебе весело*?). Предложения типа *Мне неловко* (*неудобно*) *сказать это* относятся не только к непроизвольному состоянию говорящего, но и к его представлениям о корректном поведении. В зависимости от того, что именно подразумевается в сообщении — состояние или мнение, интерпретируется следующий за сообщением причинный вопрос: — Мне перед ним неловко.— *Почему неловко*? Вы ничего обидного не сказали (апелляция к модусу полагания).— Мне перед ним неловко? — *Почему вам неловко*? Что вы сделали или сказали? (вопрос о причинах, вызвавших чувство неловкости).

Из приводившихся выше примеров ясно, что *почему*-реплики могут следовать не только за утверждением, но и за вопросом. В этом последнем случае необходимо, чтобы в вопросе содержалось исходное предположение, или установка. На важность этой категории при изучении вопросо-ответных пар было обращено внимание в интересной статье А. Н. Баранова и И. М. Кобозевой [14]. Любопытно отметить, что исходное предположение характерно не только для собственно вопросов, но и для вопросов, используемых в качестве косвенного речевого акта со значением просьбы, в частности при испрашивании разрешения: *Семен Афанасьевич, я зайду к вам*? В голосе Короля и вопрос и утверждение. Так — и прося и утверждая — обычно говорит Костик: «Я пойду гулять?» «Я съем морковку?» (Ф. Вигдорова). Тот, кто «просит, утверждая», не ждет позволения, он лишь оповещает о предстоящем действии: — «Я *возьму еще одну*? — сказал он, и, не дожидаясь ответа, взял леденец и сунул в карман» (Ф. Вигдорова).

Почему-реплики не могут фигурировать в качестве реакции на дизъюнктивный вопрос, исходящий из равной вероятности противопоставленных ситуаций. Так, на вопрос *Ты кончил статью или нет*? нельзя ответить ни репликой *Почему* (*это*) *кончил*?, ни репликой *Почему не кончил*? *Почему*-реплики чаще всего употребляются в ответ на вопросы, исходное предположение которых кажется адресату не просто неверным, но вызывает у него протест: — Вы что, конюхом работаете? — *Почему это конюхом*? Трак-

---

[6] Этот тип реплик был подробно рассмотрен нами в [3] в контексте проблем модального диалога. Здесь мы лишь резюмируем суть дела, дополнив описание некоторыми новыми наблюдениями. В аналогичной функции используются *откуда*-реплики: Таиса Петровна. От просто так люди не плачут. Нина. *Откуда она плакала*? (Л. Петрушевская).

тористом. Местоимение *что* внутри вопроса указывает на наличие исходного предположения.

Связь *почему*-реплик с вопросами, базирующимися на исходном предположении, а также с нежелательными для адресата мнениями и предположениями можно показать на следующем диалоге, целиком построенном на *почему*-репликах: Л е л я. Может быть, вы заняты? М а р ж е р е т. *Почему занят*? Л е л я. Ну так. Ведь у вас такое большое дело. М а р ж е р е т. *Почему большое*? Л е л я. Ну, как же... мюзик-холл... Столько артистов... трудно. М а р ж е р е т. *Почему трудно*? Леля. Как вы смешно разговариваете. М а р ж е р е т. *Почему смешно*? Л е л я. Все время спрашиваете: почему. М а р ж е р е т. Потому что я занят. Л е л я. Вот видите. Я этого и боялась. М а р ж е р е т. *Почему боялись*? Л е л я. Может быть мне уйти? М а р ж е р е т. Уходите /.../ Маржерет. Нет, нет, нет, не годится. Л е л я. Почему? М а р ж е р е т. Неинтересно. Флейта, да. Вы флейтистка? Л е л я. *Почему флейтистка*? М а р ж е р е т. Теперь вы начинаете спрашивать: почему (Ю. Олеша).

Приведенный диалог обнаруживает еще одну черту *почему*-реплик: они во многих случаях вовсе не продвигают диалог, а лишь тормозят его развитие, выражая излишний для делового разговора элемент эмоциональности или отводя течение разговора в боковое русло. В технику и тактику веде́ния диалога входят как приемы его сжатия, так и правила и способы затягивания, и этому, в частности, служат манипуляции с чужой речью. Затягивание диалога создается реакциями, минующими основной диалогический стимул или подменяющими его другим стимулом. Стимул говорящего перестает совпадать со стимулом для адресата. При наличии такого рода ножниц стимул адресата выделяется в цитацию, освобожденную от контекста: иначе было бы неясно, на какой именно компонент предшествующего высказывания направлена реакция. Поэтому в цитатных вопросах происходит фокусирование на одном определенном элементе. Реакция на рему предыдущей реплики, как и реакция на прочие компоненты высказывания, далеко не всегда соответствует программе говорящего. Делая некоторое сообщение, он дает понять, что имеет основания считать его истинным. Поэтому требование эксплицировать эти основания, содержащееся в *почему*-репликах, не соответствует ожидаемой реакции. Нарушение программы может преследовать разные цели: иногда это борьба за диалогическое первенство, иногда просто увертка, иногда говорящий нарочно тянет время собеседника, чтобы самому его выиграть, подчас это сброс эмоций.

Почему-реплики используются в ответных реакциях с фиксированным значением возражения, несогласия: — А любви, значит, не было? —*Почему*? Я влюблялся, хотел умереть, потом охладевал, возвращался к жизни и снова влюблялся (А. Алексин). Хотя вопросительное местоимение употреблено изолированно, оно представляет отрицательный цитатный вопрос «Почему не было?» В него может быть вставлена апелляция к модусу мнения: «Почему думаешь, не было?».

В роли ответа на вопрос, просьбу или сообщение могут употребляться и *почему*-реплики, отнесенные не к модусу полагания, а к содержанию самой пропозиции. И эти реплики могут быть ограничены одним вопросительным местоимением, имплицирующим как позитивное, так и негативное значение пропозиции: Х л е с т а к о в. Не можете ли вы мне дать триста рублей взаймы? П о ч т м е й с т е р. *Почему ж*? Почту на величайшее счастие. Вот-с извольте. От души готов служить (Гоголь).

Почему-ответы (иногда *отчего*-реплики), относящиеся к пропозиции, связывают причину с истинностным значением высказывания. В них часто идет речь о планах на будущее, о принятии решений и предстоящих действиях. Поэтому пропозиция может замещаться знаками отношения к действительности — *да* и *нет*. Эти знаки можно с долей допущения считать диалогическими прономинализаторами пропозиций, взятых со стороны их истинностного значения, точно так же как *это* (в одной из функций) можно расценивать как прономинализатор предложения, взятого в аспекте референции, а *так* — считать прономинализатором смысла предложения

(разумеется, также в одной из функций этого полифункционального местоимения: *Я т а к думаю*; *Ты т а к считаешь*?).

В *почему*-репликах в функции заместителя пропозиции используется только *нет*: П о д к о л е с и н. Помилуй, ты так горячо берешься, как будто бы в самом деле уже и свадьба. К о ч к а р е в. *А почему же нет*? Зачем же откладывать? (Гоголь); П о д к о л е с и н. Что ты, с ума сошел? Сегодня под венец! К о ч к а р е в. *Почему же нет*? (Гоголь); — А что, может вместе еще поплаваем? — С тобой-то — *отчего же нет*? В цитатных вопросах возможен эллипсис цитируемого компонента, но не его замена прономинализатором *нет*.

Другое различие между *почему*-ответом, ориентированным на модус полагания, и *почему*-ответом, направленным на пропозицию, состоит в том, что в последнем случае возможна замена личной формы глагола инфинитивом, а в цитатном вопросе этого не происходит: К о ч к а р е в. Ну, уж это мое дело. Дай мне только слово, что потом не будешь отнекиваться. П о д к о л е с и н. *Почему же не дать*? Изволь. Я не отпираюсь: я хочу жениться (Гоголь); — Если хочешь, то объясни, а не хочешь...— *Почему бы мне не хотеть*? (А. Алексин).

Почему-реплики, протестующие против мнения, всегда повторяют его модальность — утвердительную или отрицательную. Это цитация, и она не может корректировать высказывание-источник. Цитатные *почему*-реплики всегда при этом имеют обратное истинностное значение. Они выражают отрицание, возражение, несогласие. С причинным вопросом, ориентированным на пропозицию, дело обстоит сложней. Если причинный вопрос повторяет утвердительную или отрицательную модальность предшествующей реплики, он рассчитан на возражение. Однако в тех случаях, когда отрицательный вопрос-просьба имеет куртуазный характер, возражение эквивалентно согласию: Вы не могли бы мне помочь? — Почему же нет? Конечно. Если причинный вопрос меняет модальность на обратную, он выражает согласие или подтверждение; этот случай представлен в основном реакциями на императив: Скажи, в чем дело? — Почему же не сказать? Скажу.

Есть и другие формальные и содержательные различия между *почему*-реакциями на модус полагания и на пропозицию. Так, первые отдают предпочтение соединению с частицами *это* и *такое*, обладающими коннотацией протеста, возмущения (*Почему т а к о е поздно*? *Почему э т о не придет*? *Непременно придет*!); вторые тяготеют к частицам *же* и *бы* (*Почему ж е не дать*? *Почему б ы и не помочь*?). Такое распределение не является, однако, жестким. *Почему*-ответы, ориентированные на пропозицию, часто используются в качестве реакции на просьбу, побуждение; сами же они могут выполнять функцию воздействия, убеждения собеседника, если тот колеблется. Их цель показать, что нет причин отступиться от прежнего замысла, не совершить некоторого поступка. *Почему*-реплики, относящиеся к модусу полагания, почти исключительно употребляются в качестве реакции на некоторое суждение, истинность которого требует обоснования. Это суждение может соответствовать исходному предположению вопроса. Оно может составлять пресуппозицию утверждения: — Значит он тоже прицеплялся.— Почему «тоже»? Кого еще ты имеешь в виду? (Ф. Вигдорова). Однако в любом случае речь идет о суждениях или предположениях, имплицирующих пропозициональную установку мнения (полагания).

Мы задержались на вопросе о различиях между двумя типами *почему*-реплик, чтобы подчеркнуть, что, несмотря на такие явления, как омонимия реплик, диффузность их значения, эллиптичность синтаксических конструкций, характерные для речевого употребления, в речи постоянно развивается тенденция к формальной дифференциации коммуникативно значимых смыслов, и оптимальной средой для их размежевания является диалог. Именно в нем формируется грамматика речи, и прежде всего грамматика соединения речевых стимулов и речевых реакций — своего рода диалогический синтаксис (интересные соображения относительно связи реплик см. в [12, 15]).

III

Может показаться, что контрастивное отрицание, т. е. отрицание, за которым следует противопоставление (позитивное утверждение), далеко отстоит и от цитатных вопросов и от самого феномена цитации. Однако между этими явлениями есть точки соприкосновения.

Выше уже упоминалось, что отвод, неприятие реплики может принимать форму элиминирующего, т. е. как бы зачеркивающего, стирающего реплику отрицания (— Ладно тебе,— *Нет не ладно*). Чтобы зачеркнуть реплику, ее надо воспроизвести. Элиминирующее отрицание отличается от контрастивного лишь тем, что в конструкции не заполнено место противопоставленного позитивного компонента. Однако «свято место пусто не бывает», и такое заполнение в принципе возможно: Деньги нужны. —Сколько?—Не сколько, а давайте (пример взят из [1, с. 75]); — Мне с тобою поговорить надо, Толька.— Ну? — Не «ну», а слушай (В. Кетлинская) (пример из [4]). Уже эти примеры показывают связь контрастивного отрицания и с цитацией и с диалогом.

Контрастивное отрицание, вообще говоря, предназначено для исправления ошибки, заблуждения, неверного представления о действительности и т. п. аберраций от должного. Оно появляется тогда, когда имеется вербальный или невербализованный, но более или менее четко осознаваемый предтекст, атрибуируемый другому лицу или другому состоянию собственной психики. Связь с предтекстом проявляется в том, что контрастивное отрицание в гораздо большей степени, чем нейтральное, его консервирует, оберегает от воздействия окружающей среды, отделяет от нее. Об этом свидетельствуют почти все различительные признаки, выделенные И. М. Богуславским, сопоставившим синтаксическое поведение этих двух типов негации. Контрастивный контекст позволяет сохранить в условиях негации такие черты позитивных утверждений, как совершенный вид глагола, именительный падеж субъекта и объекта, неопределенные местоимения, он мешает лексикализации отрицания, его слиянию с семантикой глагола [16]. Отмечалось также, что элиминирующее отрицание само по себе лишено каких-бы то ни было импликаций относительно реального положения дел [17].

Цитация тем явственней, чем меньше координировано отрицаемое слово или выражение со своим окружением и чем более оно индивидуально. В обычном, «смысловом» возражении цитация не ощущается: И это не беда, что у нее нет воли, чтобы с нами справиться. *Нужна совсем не воля*, как думает Бегемот, *а интерес* (В. Каверин); Я говорю: — Как же так? Это же произведение искусства. А он: — *Это халтура, а не произведение искусства* (В. Каверин). Однако если бы в последнем, например, диалоге фигурировало сколько-нибудь необычное или субъективно-оценочное наименование, оно приобрело бы цитатный характер: — Это же блеск, чудо, шедевр века! — *Это халтура, а не «чудо» и не «шедевр века»*.

Цитация проступает в тех случаях, когда возражение направлено не только и не столько против нейтрального, объективного смысла высказывания, сколько против высказывания, взятого как со стороны смысла, так и со стороны формы выражения, а иногда только против этой последней:— Держи 75.— Пожалуйста.— Не «пожалуйста», а «есть держать 75»;— Чем меньше женщину мы любим, тем больше нравимся мы ей.— Пушкина хоть не перевирайте. Не «больше», а «легче» нравимся мы ей.

Коль скоро сохраняется связь способа выражения с тем говорящим субъектом, который первым и единственным применил его к данному случаю, его слова будут выпадать из высказывания, произносимого другим лицом. Цитация связана с отстранением говорящего не только от точки зрения, но и от самой речевой манеры оппонента. Она легко просматривается в употреблениях типа: *Он не сожрал обед* (как ты выражаешься), *а съел его*; *Это не деревушка* (как ты называешь), *а районный центр*; *Мы не предки*, как ты любишь называть нас в разговорах с твоими приятелями, *а твои родители*.

Цитация в конструкциях контрастивного отрицания может сопровож-

даться вводными ремарками типа «как ты выражаешься», «как ты говоришь», «как ты называешь», но гораздо реже ее спутниками являются указания на мир мыслей — «как ты думаешь», «как ты считаешь».

Связь контрастивного отрицания с диалогической цитацией проявляет себя в его соотнесенности с *почему*-репликами, рассмотренными выше —Вы уезжаете прямо сегодня? — спросил я. *Почему «вы»? Я еду один = Не «вы», а я*; Это ты сделал? — *Почему это я? Петька = Не я, а Петька.* Такое преобразование возможно в тех случаях, когда *почему*-реплика базируется не на глагольном сказуемом и к ней присоединен снимающий семантическую неопределенность позитивный ответ, который может составить второй — позитивный — компонент контрастивной конструкции. Если же *почему*-реплика основана на глаголе, то преобразование блокировано по причине избыточности позитивной части и «неудобных» отношений между контрастивным и нейтральным отрицанием: Что-нибудь случилось? —*Почему случилось? Ничего не случилось* (≠ *Не случилось, а не случилось); Ничего не случилось? — *Почему не случилось? Случилось* (*Не не случилось, а случилось).

Приведенные наблюдения, как представляется, дают основания для привлечения контрастивного отрицания к анализу диалогической цитации. Вместе с тем не оставляет сомнения, что это явление выходит далеко за пределы диалогической среды: контрастивное отрицание можно встретить в любом тексте, но оно всегда вносит в него ту или другую меру диалогичности.

В заключение нам хотелось бы остановиться на некоторых вопросах связности диалога. За недостатком места изложим наши соображения в тезисной форме.

1. Целесообразно различать: 1) собственно связность диалога, понимаемую как соответствие реакции диалогическому стимулу, «согласование реплик по иллокутивной функции» [15, с. 306], при котором за вопросом должен следовать ответ, за упреком или обвинением оправдание, за директивным речевым актом обещание (согласие), отказ или действие и т. п.; соотношение реплик в этом случае соответствует программе диалога; 2) связность, понимаемую в широком смысле, т. е. смысловую соотнесенность реплик при том, что диалогическая реакция не удовлетворяет коммуникативному запросу собеседника, нарушая программу диалога; таковы реплики, ориентированные на пресуппозиции высказывания [15, с. 311—312], словоупотребление, тон речи, прагматические условия речевого акта и т. п.; рассмотренные выше цитатные вопросы в большой части относятся к этой категории.

2) Преобладание первого или второго типа связности, а также выбор способа связи реплик зависит от типа диалогического общения. Информативный диалог требует удовлетворения коммуникативного стимула. Взаимоинформирующий диалог, происходящий между знакомыми, следует нежесткой социальной программе, согласно которой собеседники должны сообщить друг другу о наиболее важных событиях своей жизни. Если собеседник не спрашивает, то его «контрагент» все равно сообщает, реплики в этом случае могут вовсе не быть между собой связаны, хотя говорящие часто стремятся придерживаться аксиологического согласования сообщений; ср.: 1) — У меня сын провалился на экзамене.— А у меня теща сломала ногу; и 2) — У меня дочь вышла замуж.— А у меня сын защитил диссертацию. Аксиологическое согласование может привести к вырождению взаимоинформирующего диалога во взаимные жалобы или в обоюдное хвастовство. В этих случаях в репликах производится аксиологическое контрастирование ситуации говорящего с ситуацией адресата, ср. в детском стихотворении С. В. Михалкова «А что у вас?»:— А у меня в кармане гвоздь, а у вас? — А у нас сегодня гость. А у вас? — А у нас сегодня кошка родила вчера котят. Котята выросли немножко, А есть из блюдца не хотят.— А у нас на кухне газ. А у вас? — А у нас водопровод. Вот... — А из нашего окна Площадь Красная видна. А из вашего окошка Только улица немножко и т. д.

Такого рода диалог может состоять из автономных реплик, но он следует некоторому сценарию, принятому для данного жанра общения. В рекогносцировочном диалоге реплики связаны предикатами, переменной величиной в них является субъект (— Я люблю зиму.— А я — лето). В обсуждении с целью принятия решения или выработки некоторой позиции, точки зрения реплики скреплены общей темой, тезисом, но различаются своими «модусами», отношением к теме, а также теми доводами, которыми обосновывается каждая точка зрения (ср. в «Мертвых душах» обсуждение вопроса о том, выгодно ли покупать на вывод крестьян; одни утверждали, что дело это ненадежное, так как на новых землях в южных губерниях нет реки, а другие говорили, что дело это небезнадежное, так как «русский человек способен ко всему и привыкнет ко всякому климату»). Наконец, развлекательный разговор строится по принципу концертной программы. В нем действует принцип аналогии в соединении реплик-выступлений, а иногда и аналогия оказывается весьма проблематичной: — Но нигде я не ел лучшего пирога, как в Вене у голландского посланника. Это, я вам скажу, был *генерал* и главнокомандующий всех пирогов.— Могу представить,— осклабился толстяк,— я тоже знавал одного *генерала*, он был мне даже отдаленный родственник (М. Харитонов).

3. От жанра общения зависит и степень запрограммированности диалогических реакций, т. е. связанность реплик, устанавливаемая иллокутивной силой, или их свободное смысловое взаимодействие. Наиболее недвусмысленный речевой стимул содержится в вопросах и директивных речевых актах. Поэтому всякая словесная реакция на них будет интерпретироваться в связи со стимулом:— Тебя отпустил дежурный командир? — Сегодня Колышкин дежурит. Это означало: «Не у Колышкина же мне спрашиваться» (Ф. Вигдорова). Казалось бы не связанная с вопросом реплика заключает в себе не только отрицательный ответ, но и мотив, по которому говорящий не был отпущен и даже не просил разрешения. Однако уже обычное повествовательное предложение часто содержит весьма слабый и неоднозначный речевой стимул. Разброс возможных реакций на сообщение может оказаться весьма велик. Выбор наиболее адекватной реакции во многом определяется самим жанром общения. Так, например, в информативном диалоге неуместно запрашивать основания истинности сообщения, т. е. пропозициональная установка должна в этом случае интерпретироваться как знание, а не как мнение; в неофициальном разговоре, в котором выражаются точки зрения и предположения, сообщение может «законно» вызвать вопрос, направленный на пропозициональную установку полагания (— Андрей, вероятно, откажется от этого предложения.— Ты так считаешь? — Почему ты так думаешь?). Если говорящий хочет получить на свое сообщение вполне определенный отклик, он сопровождает его стимулирующим вопросом: Мне не понравился этот фильм, *а тебе*? Я отдыхал в Крыму, *а ты где*? Мой сын увлекается детективами, *а твой*? Мой сын увлекается детективами; *это плохо, как ты думаешь*? Мой сын увлекается детективами. *У тебя нет случайно детективов Агаты Кристи*? Мой сын увлекается детективами; *как бы заставить его читать серьезные книги*? В рамках межличностной праздноречевой деятельности наиболее желательна для говорящего реакция, отвечающая условию согласия (единомыслия и «единочувствия»). Адресат должен принять приглашение к сопереживанию. Ожидается, что он так или иначе выразит свое со-чувствие (со-радость, со-восхищение, со-возмущение и т. п.). «Отпадение» от точки зрения говорящего не столь закономерно в этом случае, как в обсуждении практического или теоретического вопроса, а также как отрицательный ответ в информативном диалоге.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Шведова Н. Ю.* К изучению русской диалогической речи. Реплики-повторы.— ВЯ, 1956, № 2.
2. *Шведова Н. Ю.* Очерки по синтаксису русской разговорной речи. М., 1960.
3. *Арутюнова Н. Д.* Некоторые типы диалогических реакций и *почему*-реплики в русском языке.— ФН, 1970, № 3.

4. *Балаян А. Р.* Основные коммуникативные характеристики диалога: Дис. на соискание уч. ст. канд. филол. наук. М., 1971.
5. *Бахтин М. М.* Проблемы поэтики Достоевского. Гл. 5. М., 1963.
6. *Бахтин М. М.* Слово в романе.— В кн.: *Бахтин М. М.* Вопросы литературы и эстетики. М., 1975.
7. *Лотман Ю. М.* Роман Пушкина «Евгений Онегин». Комментарий, Л., 1983.
8. *Сахарова Н. Ю.* Некоторые вопросы передачи речи.— Уч. зап. ЛГПИ им. А. И. Герцена, 1964, т. 241.
9. *Якобсон Р.* Шифтеры, глагольные категории и русский глагол.— В кн.: Принципы типологического анализа языков различного строя. М., 1972.
10. *Шмелев Д. Н.* О некоторых особенностях употребления вопросительных местоимений и наречий в разговорной речи.— Русский язык в национальной школе, 1959, № 6.
11. *Винокур Т. Г.* О некоторых синтаксических особенностях диалогической речи: Дис. на соискание уч. ст. канд. филол. наук. М., 1953.
12. *Булыгина Т. В., Шмелев А. Д.* Диалогические функции некоторых типов вопросительных предложений.— ИАН СЛЯ, 1982, № 4.
13. *Балли Ш.* Общая лингвистика и вопросы французского языка. М., 1955.
14. *Баранов А. Н., Кобозева И. М.* Семантика общих вопросов в русском языке (категория установки).— ИАН СЛЯ, 1983, № 6.
15. *Падучева Е. В.* Прагматические аспекты связности диалога.— ИАН СЛЯ, 1982, № 4.
16. *Богуславский И. М.* Отрицание и противопоставление.— В кн.: Проблемы структурной лингвистики. 1980. М., 1982.
17. *Lasnik H.* On the semantics of negation.— In: Contemporary research in philosophical logic and linguistic semantics. Dordrecht, 1975.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 1 1986

ТОРСУЕВА И. Г.

ДЕТЕРМИНИРОВАННОСТЬ ВЫСКАЗЫВАНИЯ ПАРАМЕТРАМИ ТЕКСТА

Проблема соотношения высказывания и текста предполагает постановку некоторых частных вопросов: 1) каковы основные параметры текста, детерминирующие высказывание, 2) какова степень детерминированности высказ вания текстом как целым, 3) какова доля информации, которую данное высказывание несет о тексте. Прежде чем ответить на эти вопросы, следует остановиться на существенных свойствах текста. Наиболее важной характеристикой в данном случае является системный характер текста.

Трактовка текста как системы эксплицитно или имплицитно присутствует во многих работах. Еще в 1927 г. А. М. Пешковский писал: «Так как всякий художественный текст представляет собой с и с т е м у определенным способом соотносящихся между собой фактов, то всякое с м е щ е н и е этих соотношений, всякое изменение какого-либо отдельного факта ощущается обычно чрезвычайно резко и помогает оценить и определить роль элемента, подвергшегося изменению» [1, с. 29]. Исследование рукописей А. С. Пушкина, проведенное С. М. Бонди, основано на представлении о тексте как о целом, где все взаимосвязано. Положение о системном характере текста использовано С. М. Бонди как м е т о д анализа черновиков А. С. Пушкина. Он указывает, что при прочтении черновика следует «идти в работе не от частей к целому, а от целого к частям (и потом опять к целому); не из прочтения отдельных слов составлять целое стихотворение, отрывок, а, наоборот, пользоваться пониманием целого для прочтения отдельных слов» [2, с. 173]. Мысль о предшествовании целого его частям и детерминирующую роль целого отстаивал в своих работах М. М. Бахтин [3, с. 260]. Как систему трактует стихотворный текст Л. И. Тимофеев [4].

В лингвистике текста прослеживаются два подхода к анализу текста: от целого к частям и от частей к целому. Второй подход характерен для грамматики текста, где изучаются формы и средства связи элементов и объединение мелких единиц в более крупные. Поскольку система есть объединение частей в целое и само целое, то и тот и другой подход являются аспектами системного рассмотрения текста.

Системный подход, разрабатываемый на основе диалектического и исторического материализма, является одним из важнейших методологических направлений научного познания. Его гносеологические корни, по мнению В. П. Кузьмина, лежат в анализе «качественно определенных совокупностей, связанных необходимым образом» [5, с. 58]. Главная методологическая установка системного подхода — исследовать целое как целое. В то же время системный подход дает возможность «выделения предмета из фона». В. П. Кузьмин отмечает, что «...разрабатываемые системным подходом общеметодологические процедуры изучения законов образования целого, законов строения целого, законов функционирования целого, отношений явления (системы) с родовой системой, отношений явления (системы) с другими системами, взаимодействия явления (системы) с внешним миром и т. п. являются существенными звеньями любого процесса научного познания» [6, с. 25].

Знание о явлении действительности предполагает знание о детерминантах его существования. Применительно к соотношению высказывания и текста мы можем сформулировать положение о том, что знание о природе высказывания и его характеристиках является полным только

тогда, когда определены детерминанты его существования в целом — системе текста. В дальнейшем изложении мы будем исходить из следующего определения системы. Система есть целостное в структурном и функциональном отношении образование, внутренняя связь элементов которого является более необходимой и устойчивой, чем связь этих элементов с окружающей средой или элементами других систем. Основными системными принципами являются структурность, иерархичность, целостность, взаимосвязь системы и среды, функциональность, объективность. В работах по системному подходу указывается обычно и принцип множественности описания. Представляется, что в такой формулировке этот принцип относится не к самому объекту, а к его презентации. Свойство системы, которое стоит за этим термином, можно сформулировать как сложность и многоплановость объекта, которые раскрываются в множественности описания.

Текст является сложным объектом, который может быть подвергнут рассмотрению с различных сторон. Он является одновременно феноменом реальной действительности и способом ее отражения, а также реализацией системы языка. Вместе с тем текст представляет собой: основную единицу коммуникации, особый вид деятельности; способ хранения и передачи информации, форму существования культуры, продукт определенной исторической эпохи; отражение психической жизни индивида и т. д. Все эти стороны текста как объекта реальной действительности создают основу для множественности описания текста, отсюда — существование многочисленных определений текста [7—9].

Одним из основных системных параметров текста является иерархичность, которая может быть интерпретирована двояким образом: 1) существование в пределах самого текста нижестоящих уровней и 2) расположение текста в вышестоящем уровне — сверхтексте. Знания о вышестоящих и нижестоящих уровнях исследуемого явления «с неизбежностью входят в совокупное знание о нем самом» [5, с. 63]. В лингвистике членение текста представлено различными единицам и различными способами членения [7, 8, 10]. В пределах данной статьи мы ограничимся определением трех нижестоящих уровней текста и соответственно трех единиц — синтагмы, высказывания и коммуниката, отдавая себе отчет в том, что способ расчленения объекта обусловлен целями исследования. Наше определение синтагмы восходит к теории В. В. Виноградова. Синтагма — минимальная семантико-синтаксическая единица текста, которая в отличие от словосочетания не представлена в готовом виде в языке, а образуется только в процессе порождения (или восприятия) текста для обозначения сложных понятий, возникающих в сознании и отражающих фрагмент воспроизводимой действительности. Высказывание — единица текста, сформированная на основе структурной схемы предложения. Высказывание осуществляет событийную номинацию [11, с. 257]. Коммуникат[1] — часть текста, обладающая относительной смысловой завершенностью, некоторый информационно-тематический блок, иерархически организованный цепью высказываний и входящих в них синтагм. Как единица текста коммуникат имеет референт — фрагмент экстралингвистической ситуации во всей совокупности предметных, временных и пространственных отношений, составляющих ситуативный фон для отдельного высказывания. В отличие от коммуниката, синтагма и высказывание воспроизводят только часть предметных, временных и пространственных отношений ситуации. Три единицы, составляющие звенья иерархии текста, находятся в отношении включения. Естественно, что в частном случае высказывание может совпасть с синтагмой, а коммуникат — с высказыванием.

---

[1] Термин «коммуникат» заимствован нами у К. Гаузенбласа [12]. Для нас он предпочтительнее термина «сверхфразовое единство» (СФЕ). Употребление термина «коммуникат» подчеркивает прежде всего ориентацию на адресата, коммуникативную направленность текстовой единицы. При разбиении текста на коммуникаты исследователь исходит из текста как целого. Логично исходить либо из целого, либо из минимальной единицы. Фраза в нашей концепции минимальной единицей не является.

Текст как система основан на принципе структурности. Структурность является наиболее изученным параметром текста. Под структурностью понимается наличие связей между единицами текста, как одноуровневыми (высказывание — высказывание), так и разноуровневыми (коммуникат — высказывание). Существующие классификации связей весьма разнообразны; выделяются связи контактные и дистантные, анафорические и катафорические, смысловые, импликативные, формальные, логические и т. д. На материале различных языков изучаются средства связи: повторы, артикли, соотношение глагольных времен, прономинализация, синтаксический параллелизм, акцентное выделение, вводные слова, частицы и т. п. [9, 10, 13—16]. Особым видом связи является распределение по тексту тематических и рематических компонентов [13, 17]. Отражением более глубокого понимания структурности является выделение в тексте категорий интеграции, сцепления, ретроспекции, проспекции, партитурности и континуума [18].

В системное рассмотрение текста входит выявление взаимозависимости текста как системы и среды. Эти вопросы получили свое фундаментальное освещение в трудах М. Б. Храпченко [19]. Под средой разумеется историческая эпоха написания текста, адресат, общность языка адресанта и адресата, существование определенных стилей, жанров и т. п. Адресат как компонент среды всегда присутствует в тексте. Г. В. Степанов считает необходимым построение модели адресата. По его мнению, создание адекватной модели адресата «могло бы многое прояснить в проблеме функционирования художественных ценностей» [20, с. 27]. Он пишет: «Построение модели адресата определенной эпохи невозможно без выяснения способов восприятия мира в эту эпоху, без учета семантического инвентаря культуры, без понимания относительной автономности художественного познания действительности» [20, с. 28].

К формам соотношения текста и среды принадлежат литературная критика, различные интерпретации смысла текста, особенности читательского восприятия в зависимости от социальных и индивидуальных факторов [21]. Очевидно, следует различать внетекстовые и межтекстовые связи. Текст детерминирован исторической эпохой его написания, характером и составом аудитории, внетекстовой целью воздействия. Результаты воздействия среды опосредованно отражены в тексте. Результаты воздействия текста на среду представляют интерес для лингвиста только тогда, когда они выражены в другом тексте. В этом случае образуется межтекстовая связь [22].

Формы межтекстовой связи весьма разнообразны. М. М. Бахтин полагал, что все тексты связаны между собой диалогическими отношениями. Он писал: «Каждое высказывание — это звено в очень сложно организованной цепи других высказываний» [3, с. 247]. И далее: «Каждое высказывание полно отзвуков и отголосков других высказываний, с которыми оно связано общностью сферы речевого общения» [3, с. 271]. Уточним, что под высказыванием М. М. Бахтин понимал «единое и целое речевое произведение» [3, с. 294]. Перечисляемые им формы ответных реакций в высказывании — по существу не что иное, как способы связи текстов в сверхтексте. Наиболее распространенными формами межтекстовой связи являются цитаты, аллюзии, реминисценции, ссылки, парафразы, пародии. Сверхтекст может быть как произведением одного автора (цикл стихотворений), так и разных авторов (переписка). Фольклорные и эпические тексты также составляют сверхтекст. В качестве примера можно привести трактовку французского эпоса как сверхтекстового единства [23].

Идея сверхтекста разработана в лингвистике явно недостаточно. Представляется, что лингвистика текста в решении этой проблемы может заимствовать данные литературоведения. Идея сверхтекста в литературоведении разрабатывалась, в частности, применительно к циклам стихотворений. Д. Е. Максимов, анализируя стихотворение А. Блока «Двойник», входящее в цикл «Страшный мир», пишет: «Так, вполне автономное стихотворение, сохраняя свою индивидуальность, включается в „большую молекулу“ блоковского текста, срастается со своим окружением, укрепляя

себя его содержанием и его энергией и увеличивая, таким образом, свою выразительность, свою ударную силу» [24, с. 222]. Следует отметить, что лингвистика нередко имплицитно использует идею сверхтекста для решения своих задач. Так, исследуя особенности лексики в стихотворениях Ф. И. Тютчева, А. Д. Григорьева исходит из концепции единства и целостности лирики позднего Тютчева [25]. Видимо, следует говорить о иерархии сверхтекстов. Ясно, что сверхтекст состоит как минимум из двух элементов. В качестве максимального сверхтекста для художественных текстов может являться мировая литература. Количество промежуточных уровней различно. Степень спаянности элементов каждого уровня также неодинакова. Сформулированное выше определение системы применимо не ко всем сверхтекстовым образованиям. Проблема определения сверхтекстового образования как системы требует отдельного рассмотрения. В рамках данной статьи мы остановимся лишь на соотношении текста как системы и его отдельного элемента — высказывания.

В основе организации текста как системы лежит принцип ц е л о с т н о с т и. Целостность — это «принципиальная несводимость свойств системы к сумме свойств составляющих ее элементов и невыводимость из последних свойств целого; зависимость каждого элемента, свойства, отношения от его места, функций и т. д. внутри целого» [26, с. 464].

В лингвистике текста не существует единой трактовки понятия целостности. О. И. Москальская ставит знак равенства между понятием «целостность» и понятием «связность» [13, с. 17]. А. И. Новиков считает, что «целостность — это свойство не столько самого текста, сколько восприятия» [10, с. 109]. Наиболее близко определению целостности, приведенному выше, понимание И. Р. Гальпериным термина «интеграция» [18, с. 531; 7, с. 124—125]. В. П. Кузьмин подчеркивает: «Соответственно исходным, базовым признаком системы является интегральная целостность или интегральное единство...». При раскрытии понятия «целостность» наиболее важным является положение об активном воздействии системы на ее компоненты. Они могут приобретать новые свойства, терять свойства, присущие им до вхождения в целостную систему; одни сохраняемые качества могут затушевываться, другие, наоборот, проявляться ярче. Элементы системы характеризуются двойственностью их качественной определенности в рамках целого, качественной самостоятельностью и единством. Таким образом, «... целое является определенным д е т е р м и н а н т о м своих частей, оно подчиняет части, преобразует их согласно своей собственной природе» [27, с. 71].

При анализе явления или предмета мы должны исходить из существования нескольких уровней анализа: 1) рассмотрения составляющих предмета, 2) рассмотрения предмета как такового, 3) рассмотрения предмета в системе, 4) рассмотрения предмета в сверхсистеме. В каждом из этих уровней наличествуют свои детерминанты.

Изложенное дает основания для анализа высказывания как компонента текста. Как известно, позиция и функции элемента внутри целого определяют его зависимость от целого. Высказывание как часть коммуниката детерминировано коммуникатом и через него текстом. Высказывание может быть детерминировано непосредственно текстом. Таким образом, высказывание несет информацию о коммуникате и о тексте. Однако текст принципиально несводим к сумме его составляющих [28, с. 110]. Применительно к высказыванию это означает, что оно несет лишь некоторую долю информации, по которой удается судить об отдельных характеристиках коммуниката и текста как целого.

Проблема реконструкции целого по его части, экстраполяции свойств части на целое существенна для литературоведения, и не только для литературоведения. Поэтому важно определить с т е п е н ь д е т е р м и н и р о в а н н о с т и различных типов высказываний в тексте. Например, высказывание *Петр уехал* может встретиться в любом художественном тексте, газетном очерке, судебном протоколе, учебнике по грамматике и т. п. Такие высказывания обладают слабой степенью детерминированности по отношению к тексту. Включенность высказывания в коммуникат

повышает степень его детерминированности. Так, высказывание *Петр уехал* является логическим завершением следующего коммуниката: «Через полчаса дверь отворилась и Петр вышел. Важным наклонением головы ответствовал он на тройной поклон князя Лыкова, Татьяны Афанасьевны и Наташи, и прошел прямо в переднюю. Хозяин подал ему красный его тулуп, проводил его до саней и на крыльце еще благодарил за оказанную честь. Петр уехал». Только на уровне коммуниката можно сказать, что данное высказывание принадлежит тексту А. С. Пушкина.

Помимо степени детерминированности важны и формы детерминированности. В качестве примера приведем начальную строфу стихотворения Б. Ахмадулиной «Хэмингуэй»:

В стране, не забывающей Линкольна,
в селе, где ни двора и ни кола,
как женщина печальна колокольня,
По мне, по мне звонят колокола.

Включенность второго высказывания в коммуникат на поверхностном уровне может быть оправдана соотношением лексем *колокольня — колокола* и рифмой. Однако второе высказывание с точки зрения целого текста важнее первого и именно оно определяет форму первого, а не наоборот. Второе высказывание непосредственно детерминировано заголовком. Более того, оно обусловлено сверхтекстом, в который входит роман Э. Хэмингуэя.

Текст является сложной целостной системой, и поэтому в нем действуют не механические, а более глубокие и сложные факторы причинной зависимости. Каждое высказывание — это арена сложных взаимодействий причинных связей различного порядка. Есть высказывания, прямо детерминированные целым без посредничества ближайшего окружения высказывания. Приведем примеры из повести А. С. Пушкина «Пиковая дама»: «Три дня после того, Лизавете Ивановне молоденькая, быстроглазая мамзель принесла записочку из модной лавки»; «Я думаю, что на его совести по крайней мере три злодейства»; «Подошедшие к ним три дамы с вопросами — oubli ou regret — прервали разговор, который становился мучительно любопытен для Лизаветы Ивановны»; «Он взглянул на часы; было без четверти три»; «Три дня после роковой ночи, в девять часов утра, Германн отправился в монастырь, где должны были отпевать тело усопшей графини». Только в последнем высказывании употребление числа 3 оправдано реально существующим обрядом; в остальных случаях оно могло бы быть иным, если бы не выражало основную идею, связанную с образом Германна,— идею случая, риска, шанса, неустойчивости. Таким образом, высказывание, детерминированное непосредственно текстом как целым, а не своим ближайшим окружением, соотносится с авторским замыслом. Следовательно, в тексте наблюдаются высказывания, слабо, отдаленно связанные с целым; высказывания, опосредованно связанные с целым; и высказывания, прямо, непосредственно связанные с целым.

Высказывание в тексте детерминировано с точки зрения формы (интонация, лексико-грамматический состав, синтаксис) и с точки зрения смысла. Само собой разумеется, что форма и содержание составляют единое целое, но в методических целях вопросы детерминированности формы высказывания и его смысла можно рассматривать в отдельности. Подобное рассмотрение оправдано тем, что одинаковые по форме высказывания имеют разный смысл в разных текстах; более того, одинаковые по форме высказывания могут иметь разный смысл в пределах одного текста. В стихотворении Л. Арагона «Les mains d'Elsa» высказывание *Donne-moi tes mains* повторяется несколько раз, при этом жест, который оно описывает, различен.

Donne-moi tes mains pour l'inquiétude
Donne-moi tes mains dont j'ai tant rêvé
Dont j'ai tant rêvé dans ma solitude
Donne-moi tes maint que je sois sauvé
Lorsque je les prends à mon pauvre piège...

Donne-moi tes mains que mon coeur s'y forme
S'y taise le monde au moins un moment
Donne-moi tes mains que mon âme y dorme
Que mon âme y dorme éternellement.

В последней строфе ладони любимой представляются в форме сердца, форме колыбели, пространства, огражденного от мира. Этот смысл подчеркнут глаголом *se former*, входящим в состав того же коммуниката. Иное значение имеет высказывание *Donne-moi tes mains* в начале стихотворения. Поэт берет руки любимой в свои, что подчеркивается глаголом *prendre*, стоящим в соседнем коммуникате. Здесь уместно вспомнить М. М. Бахтина, который писал: «В пределах одного и того же высказывания предложение может повториться..., но каждый раз это новая часть высказывания, ибо изменилось его место и его функция в целом высказывании» [3, с. 287].

Детерминированность высказывания с точки зрения формы изучена достаточно хорошо. В лингвистике текста эта проблема формулируется как зависимость предложения от контекста. Эта зависимость проявляется в различных аспектах, из которых основными являются рема-тематическое развертывание [29, 30] и оформление предложения в зависимости от предшествующего предложения или нескольких предшествующих предложений [31—33, 14]. Обычно в качестве контекста берется СФЕ [8, 13]. Таким образом прослеживается структурная детерминированность высказывания более крупной единицей текста. Описание формальной стороны высказывания (наличие повторов, форма артикля, порядок слов, выбор местоимений и пр.) свидетельствуют о том, что в том месте текста, где оно находится, высказывание может иметь данную форму. Из описания формальных средств связи высказываний и их организации в коммуникат можно также сделать вывод о допустимости вариантов в лексико-грамматической структуре высказывания. Контекстуальная зависимость высказывания во французском тексте, по мнению В. Г. Гака, значительно сильнее, чем в русском [33, с. 14]. Следовательно, в русском тексте имеются более широкие возможности вариативности лексико-грамматической стороны высказывания. Детерминированность высказывания в рамках более крупной единицы может быть рассмотрена с точки зрения той функции, которую оно выполняет в пределах этой единицы. Так, О. И. Москальская выделяет в абзаце ключевую фразу и комментирующую часть. Ключевая фраза определяется как «выражающая главную мысль абзаца» [13, с. 85].

Итак, грамматическая форма высказывания зависит от ближайшего окружения, т. е. выявляется в плане отношений «высказывание — высказывание», «коммуникат — высказывание». Обычно рамок коммуниката бывает достаточно, чтобы определить, почему употреблено то или иное время глагола, тот или иной артикль, порядок слов и т. п. Это относится и к лексико-семантическим повторам. Однако и текст в целом детерминирует форму высказывания не только через его включенность в коммуникат, но и непосредственно. Эта детерминированность части целым может быть представлена с двух сторон. С одной стороны, речь может идти об анализе в целом тексте функций высказывания, отличных от его функций в коммуникате. С другой стороны, анализируется детерминированность высказывания системными параметрами текста, в частности связью системы и среды.

Рассмотрим два типа высказываний: ключевые и суггестирующие. Под суггестирующими высказываниями мы понимаем такие высказывания, которые как бы исподволь подводят к определенному факту, впечатлению, событию. Примерами суггестирующих высказываний в первой главе романа М. Булгакова «Мастер и Маргарита» являются: «Да, следует отметить первую странность этого страшного майского вечера»; «Он остановил взор на верхних этажах, ослепительно отражающих в стеклах изломанное и навсегда уходящее от Михаила Александровича солнце...».

Эпитеты *страшный* и *навсегда уходящее* не оправданы ни предшествующим текстом, ни ближайшим окружением. Они поддерживают и усиливают сему страха, которая прямо выражена в двух других высказываниях,

где употребление слов *страх*, *ужас* оправдано в рамках коммуниката. Ср.: «Кроме того, Берлиоза охватил необоснованный, но столь сильный страх, что ему захотелось тотчас же бежать с Патриарших без оглядки»; «Тут ужас до того овладел Берлиозом, что он закрыл глаза». Последние высказывания прямо подготавливают читателя к сцене смерти Берлиоза, тогда как суггестирующие лишь настраивают определенным образом, ненавязчиво сопутствуют основной теме. Они связаны непосредственно с текстом как целым и далеко расположенными высказываниями, рассеянными не только в данной главе, но и по всему роману.

Ключевые высказывания трактуются в специальной литературе довольно широко и разнообразно. Они определяются как выражающие главную мысль [13] или как «наиболее важные, существенные для понимания» [10, с. 147]. А. И. Новиков считает, что ключевые элементы связаны с «предметами» в последующем пространстве текста, причем эти связи не сводятся к межфразовым. Можно предположить, что чем сильнее формальная детерминированность высказывания его ближайшим окружением, тем менее его смысл связан с текстом как с целым. И наоборот: чем независимее от ближайшего окружения кажется высказывание, тем сильнее его смысл детерминирован общей концепцией текста.

Обратимся к тексту «Героя нашего времени» М. Ю. Лермонтова: «...идея зла не может войти в голову человека без того, чтоб он не захотел приложить ее к действительности: идеи — создания органические, сказал кто-то: их рождение дает уже им форму, и эта форма есть действие; тот, в чьей голове родилось больше идей, тот больше других действует; от этого гений, прикованный к чиновническому столу, должен умереть или сойти с ума, точно так же, как человек с могучим телосложением, при сидячей жизни и скромном поведении, умирает от апоплексического удара».

В этом фрагменте преобладают потенциально автономные высказывания, которые легко вычленяются из текста и приобретают статус самостоятельного текста. С точки зрения формы они слабо связаны с предшествующими, а иногда и с последующими высказываниями. Однако их изъятие из текста нарушило бы его смысловую структуру, лишило бы текст основной идеи или обеднило бы ее.

Ключевые высказывания не обязательно имеют форму обобщающих сентенций. В вышеприведенной строфе из стихотворения Б. Ахмадулиной «Хэмингуэй» ключевым высказыванием является *По мне, по мне звонят колокола*, что подтверждается его слабой формальной связью с предшествующими строчками.

Ключевыми высказываниями можно считать те, изменение которых повлечет изменение системы. Совокупность таких высказываний в крупном тексте представляет собой одну из форм его структурной организации, где ключевые высказывания отдельных отрывков соотносятся между собой, образуя определенную иерархию по степени смысловой важности. В драматических произведениях, где текст каждого персонажа является своеобразной подсистемой, можно выделить ключевое высказывание, передающее идею данного персонажа. Так, в «Борисе Годунове» А. С. Пушкина в сцене объяснения Самозванца с Мариной идея Самозванца передана тремя коррелирующими высказываниями:

1) С таким трудом устроенное счастье
Я, может быть, навеки погубил;
2) Теперь иду — погибель иль венец
Мою главу в России ожидает...;
3) Она меня чуть-чуть не погубила.

Эти высказывания связаны с исторической концепцией А. С. Пушкина и ориентированы на читателя, знающего историю России. Идея обреченности Самозванца проходит по всему тексту. Но полностью идея предчувствия гибели, идея опасности развернута в сцене у фонтана.

Итак, отдельное высказывание связано с целым текстом отношениями причинности. Отношения между высказываниями, даже расположенными рядом, могут не иметь непосредственно причинного характера. Связь может быть выражена отношениями симметрии; ср.: «Elle dormait,

de chair et d'os. Elle deviendrait songe et douleur» (R. Fallet, Paris au mois d'août). Отношения симметрии подчеркивают зависимость симметричных высказываний от текста как целого. В данном случае это противопоставление материального, чувственного и идеального. Функции отдельного высказывания являются производными от функций системы (речь идет как о типических функциях текста как такового, так и о конкретных функциях данного конкретного текста).

Анализ детерминированности высказывания параметрами текста, в частности, связью системы и среды включает в себя целый ряд моментов. Все факторы, детерминирующие текст условиями внешней среды, усложняют детерминированность высказывания в системе. Первым детерминирующим фактором является язык, на котором написан текст. Это кажется самоочевидным и не требующим разъяснения, однако теория и практика перевода показывает противоположное. Отдельное высказывание, входящее в текст, как правило, реализуется на том же языке, что и текст в целом, кроме случаев иноязычного вкрапления. Формирование отдельного высказывания не может быть соотнесено непосредственно с системой языка, языковая компетенция проявляется только через текст. Детерминированность высказывания системой языка проявляется в следующих моментах: способ отражения языком реальной действительности, правила сочетаемости имен и предикатов, форма синтагмы, способ соединения синтагм в высказывании, способ соединения высказываний, способ рематематического развертывания в рамках коммуниката. Отнесенность текста к определенному стилю и жанру, сочетание различных стилей в тексте определяют форму высказывания.

Текст есть продукт определенной исторической эпохи, и высказывание как часть целого испытывает на себе и это воздействие. Приведем в качестве примера рекламу 1913 г.: «Правление Торг. Дома Обюссон имеет честь известить о получении большого транспорта восточных ковров собственных покупок в Персии, Турции, Малой Азии и французских из Обюссон. Громадный выбор мебельных материй, драпировок, гардин и т. п. Последние новости Парижа и Лондона» (Аполлон, 1913, № 7). Смысл высказывания *Последние новости Парижа и Лондона* читателю 1913 г. был понятен без комментариев, в то время как для современного читателя он становится ясным только из всего рекламного текста.

М. М. Бахтин писал о том, что целостность текста определяется тремя моментами: темой, замыслом и жанром [3, с. 225] и что жанр целого определяет части [3, с. 260]. Произведение В. М. Шукшина «До третьих петухов» имеет подзаголовок «Сказа про Ивана-дурака, как он ходил за тридевять земель набираться ума-разума». В этом произведении присутствуют традиционные сказочные персонажи, литературные персонажи (например, бедная Лиза) и современные герои (например, библиотекарша). Многие страницы диалогов и описаний не дают возможности отнести этот текст к жанру сказки. Например: «Были тут еще какие-то молодые люди, парни и девушки. Им тоже было скучно. Лежали в купальных костюмах среди фикусов под кварцевыми лампами — загорали. И всем было страшно скучно». Однако жанр, обозначенный в подзаголовке, должен быть оправдан не только наличием сказочных персонажей. И Шукшин органически вводит в ткань текста высказывания, которые могли бы встретиться в любой русской сказке и узнаваемы читателем как принадлежащие сказке: «И пошел он куда глаза глядят», «И пришел Иван к избушке Бабы-Яги». Чем более отработан жанр, тем легче определяема принадлежность высказывания данному классу текстов, тем больше информации оно несет о тексте. В жанре сказки отдельное высказывание имеет формальные характеристики, которые свидетельствуют как о сильной зависимости от целого, так и о большой доле информации, сообщаемой им о тексте. Такими формальными характеристиками являются особая ритмика, инверсия, начало высказывания с союза *и* и т. д. [34]. Однако в тексте В. М. Шукшина описана вполне современная ситуация, что определяет многие высказывания. В частности, в диалоги вводится просторечная лексика: «— Да нет,— говорила библиотекарша,— я думаю, это пшено. Он же

козел... Пойдем лучше потопчемся». Таким образом, чем больше степень детерминированности высказывания, тем большую долю информации оно несет о тексте как о целостной системе.

Форма и смысл высказывания детерминированы одновременно целым комплексом факторов: соотношением с другими высказываниями, соотношением с текстом как с целым, соотношением с совокупностью текстов данного адресанта, соотношением с текстами других адресантов как данной эпохи, так и других эпох. Как в сверхтексте, так и в каждом из текстов находит свое выражение внутренняя индивидуальная модель мира автора. Через текст как целое внутренняя индивидуальная модель мира детерминирует отдельное высказывание. Наиболее ярко это прослеживается в поэтических текстах: отдельное высказывание оказывается детерминированным поэтической картиной мира данной эпохи. Естественно, что поэтическая картина мира отличается от картины мира в науке. В науке картина мира представляет собой целостную систему, определяемую структурой материального мира и соотношением присущих ему объективных законов [35]. Иногда картина мира отождествляется с системой знаний [10]. Поэтическая картина мира — это совокупность общих черт, свойственных внутренним индивидуальным моделям мира, отраженным в текстах разных поэтов. Поэтическая картина мира передается в тексте при помощи системы образов, типических мотивов, ключевых лексем. При общности поэтической картины мира внутренние индивидуальные модели мира авторов различны. Поэтическая картина мира — это сочетание объективного и субъективного в представлении о мире. В рассмотрении картины мира лингвистика смыкается с литературоведением, но именно лингвистика дает аппарат и методику вычленения картины мира [36].

Характер отражения картины мира в рамках отдельного высказывания подтверждает идею о том, что текст «не состоит» из высказываний, а «образован» на их основе. Нам кажется уместным провести параллель между анализом текста и квантовой физикой. М. А. Марков пишет: «Хотелось бы обратить внимание еще на одну специфическую черту современного атомизма. Оказывается, что утверждение о том, что „что-то" состоит из „чего-то", в ряде случаев потеряло свой первоначальный непосредственный смысл, вернее, нуждается в серьезном уточнении» [37, с.80]. М. А. Марков пишет также о том, что в известном смысле можно утверждать, что «все» состоит из «всего», т. е. каждая элементарная частица из всех элементарных частиц [37, с. 140]. Также и в тексте все связано со всем. Это бесконечное число разнообразных связей ведет к раскрытию богатства свойств единичного объекта.

Высказывание приобретает в тексте двойственность качественной определенности. Оно обладает характеристикой детерминированности целым и свойством вариативности. Высказывание несет информацию о тексте, в который оно входит. Степень детерминированности выражается в количестве информации, которую единичное высказывание несет о тексте как о целом. Наблюдаются высказывания сильно детерминированные и слабо детерминированные. Степень детерминированности высказывания может быть различной с точки зрения формы и с точки зрения смысла.

Изучение детерминированности высказывания представляется необходимым, т. к. воссоздание целого по части является необходимым условием научного познания. С позиций анализа детерминированности высказывания можно приблизиться к решению проблемы вариативности высказывания в тексте и тем самым к проблеме текстовых вариантов.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Пешковский А. М.* Принципы и приемы стилистического анализа и оценки художественной прозы.— В кн.: Ars poetica, I, М., 1927.
2. *Бонди С. М.* Черновики А. С. Пушкина. М., 1971.
3. *Бахтин М. М.* Эстетика словесного творчества. М., 1979.
4. *Тимофеев Л. И.* Слово в стихе. М., 1982.
5. *Кузьмин В. П.* Место системного подхода в современном научном познании и марксистской методологии.— ВФ, 1980, № 1.
6. *Кузьмин В. П.* Гносеологические проблемы системного знания. М., 1983.

7. *Гальперин И. Р.* Текст как объект лингвистического исследования. М., 1981.
8. *Реферовская Е. А.* Лингвистические исследования структуры текста. Л., 1983.
9. Новое в зарубежной лингвистике. Вып. VIII. М., 1978.
10. *Новиков А. И.* Семантика текста и ее формализация. М., 1983.
11. *Гак В. Г.* К типологии лингвистических номинаций.— В кн.: Языковая номинация. Общие вопросы. М., 1977.
12. *Гаузенблас К.* К уточнению понятия «стиль» и к вопросу об объеме стилистического исследования.— ВЯ, 1967, № 5.
13. *Москальская О. И.* Грамматика текста. М., 1981.
14. *Николаева Т. М.* Контекстуально-конституативная обусловленность высказывания и его семантическая цельность.— В кн.: Русский язык. Текст как целое и компоненты текста. М., 1982.
15. *Halliday M. A. K., Hasan R.* Cohesion in English. London, 1977.
16. *Maingueneau D.* Initiation aux methodes de l'analyse du discours. Paris, 1976.
17. *Слюсарева Н. А.* Проблемы функционионального синтаксиса современного английского языка. М., 1981.
18. *Гальперин И. Р.* Грамматические категории текста.— ИАН СЛЯ, 1977, № 6.
19. *Храпченко М. Б.* Художественное творчество, действительность, человек. М., 1976.
20. *Степанов Г. В.* К проблеме единства выражения и убеждения (автор и адресат).— В кн.: Контекст. 1983. М., 1984.
21. *Лотман Ю. М.* Структура художественного текста. М., 1970.
22. *Попович А.* Проблемы художественного перевода. М., 1980.
23. *Волкова З. Н.* Истоки французского литературного языка. М., 1983.
24. *Максимов Д. Е.* А. Блок. «Двойник».— В кн.: Поэтический строй русской лирики. Л., 1973.
25. *Григорьева А. Д.* Слово в поэзии Тютчева. М., 1980.
26. БСЭ. 3-е изд., 1976, т. 23.
27. *Афанасьев В. Г.* О целостных системах.— ВФ, 1980, № 6.
28. *Сариев Г. Дж.* К проблеме целостности и уровней в системном подходе.— ВФ, 1980, № 5.
29. *Золотова Г. А.* Коммуникативные аспекты русского синтаксиса. М., 1982.
30. *Corblin F.* Sur le rapport phrase — texte. Un exemple: l'emphase.— Le francais moderne, 1979, № 1.
31. *Гак В. Г., Ройзенблит Е. Б.* Очерки по сопоставительному изучению французского и русского языков. М., 1965.
32. *Гак В. Г.* О семантической организации повествовательного текста.— Сб. науч. трудов МГПИИЯ им. М. Тореза. Вып. 103. М., 1976.
33. *Гак В. Г.* Прагматика, узус и грамматика речи.— ИЯШ, 1982, № 5.
34. *Борковский В. И.* Синтаксис сказок. М., 1981.
35. *Волкова З. Н.* Семантика, картина мира и контекст.— Сб. научн. трудов МГПИИЯ им. М. Тореза. Вып. 205. М., 1983.
36. *Гуревич Е. А.* Древнеисландская поэтическая синонимика: Автореф. дис. на соискание уч. ст. канд. филол. наук. М., 1984.
37. *Марков М. А.* О природе материи. М., 1976.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 1 1986

АМАНЖОЛОВ А. С.

К ВОПРОСУ О ДИАЛЕКТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ ПАМЯТНИКОВ ДРЕВНЕТЮРКСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ

Древнетюркские памятники рунического, манихейского и уйгурского письма VII—XI (XIII) вв., как это вполне установлено, своеобразно отражают единое во множестве — древнетюркский язык в его диалектных проявлениях. Диалектные различия памятников древнетюркской письменности выступали в фонетических (орфографических), лексических и некоторых грамматических отклонениях, не затрагивая, однако, основного словарного фонда и грамматического строя древнетюркского языка. В. В. Радлов отмечал: «Древнетюркский язык, судя по всем до сих пор представленным древним языковым памятникам из далекого Востока, был почти единым, так что диалектные различия особенно из-за уйгурского письма, недостаточного для точной звуковой передачи, можно разглядеть только при педантично тщательном сравнении орфографии письменных памятников в единичных, едва заметных на глаз отклонениях» [1, с. 427; всюду перевод наш — *А. А.*].

Тюркская руническая письменность широко употреблялась на территории Центральной Азии и сопредельных областей, преимущественно в тюркском каганате (VI — VIII вв.), в его восточной и западной частях. В это объединение входили различные племена — кыпчаки, огузы, карлуки, уйгуры, татары, курыканы, тюргеши, чики, басмылы и др. Слово *türk* с исходным нарицательным значением «сильный, могучий» (зафиксировано в древнеуйгурских письменных памятниках) стало обозначением правящей этнополитической группировки в тюркском каганате [2]. Уместно заметить, что в XI в. Махмуд Кашгарский употребляет этнический термин *türk* как для обозначения собственно «тюрков» (в отличие от племен туркмен, огузов, кыпчаков, аргу, кыргызов и др.), так и по отношению к тюркоязычным племенам вообще.

Язык тюркской руники, будучи языком письменно-литературным, несомненно складывался на основе близких диалектов ряда древних племен и племенных союзов, вошедших ныне в этнический состав многих тюркских народов. Этот язык значительно отошел в своем развитии от общетюркского или прототюркского состояния, отдельные черты которого могут сохраняться и в современных тюркских языках, например, в якутском. Язык тюркских рунических памятников VII—IX вв., как признает А. Н. Кононов, находился под сильным влиянием древнетюркских диалектов или племенных языков — огузского и уйгурского [3, с. 40]. Более того, принимая во внимание некоторые графические, и, соответственно, фонетико-морфологические различия в языке рунических памятников, А. Н. Кононов считает, что надпись в честь Кюль-Тегина составлена на диалекте господствующего племени ашина («огузско-уйгурский тип»), а надпись Тоньюкука — на диалекте племени ашиде («чисто огузский тип») [3, с. 40—41].

Во второй половине I тысячелетия н.э. у тюркоязычных племен Средней Азии и Восточного Туркестана имели распространение манихейский и согдийский алфавиты. Из новосогдийского письма в VIII в. возникло уйгурское алфавитное письмо. В VIII—X вв. к тюркоязычным племенам проникали также древнеиндийское письмо «брахми» (в переводах на тюркский санскритских текстов) и его видоизменение — тибетское письмо.

Древнетюркские памятники манихейского письма (переводные в своей массе с среднеперсидского или согдийского языков) создавались прежде

всего среди западных «десятиплеменных» тюрков (*on uq*) — «десятиплеменных уйгуров» (*on ujγur*) или тюргешей (*turgäš*, *turgiš*), а затем уже переписывались и распространялись среди восточных тюрков — «девятиплеменных огузов» (*toquz oγuz*) или «девятиплеменных уйгуров» (*toquz ujγur*). Не случайно в древнетюркских манихейских текстах отразилась этнонимика и топонимика Семиречья и Кашгарии [4]. В. В. Радлов с полным основанием отметил: «Собственно все эти писания, как доказывает Chuastuani(f)t, составлены не на уйгурском языке, а на одном из западных диалектов и были уже готовыми введены в употребление в Восточном Туркестане, и именно, на манихейской письменности» [5]. Интересен трехъязычный уйгурский памятник из Кара-Балгасуна на Орхоне (795 г.), имеющий тюркскую руническую, китайскую и согдийскую надписи, где говорится о борьбе уйгуров с карлуками и тибетцами и о принятии манихейства.

Памятники древнеуйгурской письменности тесно примыкают как в языковом отношении, так и хронологически к тюркским руническим памятникам. А. Н. Самойлович особо подчеркнул их близость: «Памятники енисейско-орхонской и уйгурской письменности не дают, по-моему, достаточно доказательств в пользу существования основных различий между языками этих двух письменностей, и я потому не склонен резко разграничивать эти языки, хотя, конечно, не могу отрицать за каждым из них некоторых особенностей» [6].

Древнеуйгурская письменность в VIII—XIII вв. имела широкое распространение у многих тюркских племен и народностей Центральной и Средней Азии, Казахстана и Восточного Туркестана. Уйгурским (*resp.* согдийским) письмом написаны многочисленные покаянные молитвы и религиозные трактаты христианского, манихейского и буддийского содержания (переводы с согдийского, тохарского, китайского, тибетского языков), юридические и медицинские документы, календари и т. п.

Первую попытку классифицировать древнетюркские диалекты по памятникам письменности сделал В. В. Радлов в пятом выпуске «Древнетюркских этюдов» [1]. Он делит язык древнетюркских памятников на северный, южный и смешанные диалекты. К древнему северному диалекту, или «языку тюрков-сиров», им отнесены все памятники тюркской рунической письменности, к древнему южному диалекту, или «уйгурскому языку»,— рукописи сутры «Raja(va)vādaka», документы уйгурского курсивного письма из Турфана и гератская рукопись «Кутадгу билиг». В. В. Радлов отмечает некоторые фонетические и морфологические различия южного и северного диалектов, важнейшие из них: 1) назализация начального *b* > *m* под влиянием носового *n* или *ŋ* (*bän* > *män* «я», *baŋa* > > *maŋa* «мне», *biŋ* > *miŋ* «тысяча») в южном диалекте; 2) в южном диалекте существуют исходный падеж на *-tïn*, *-tin*, *-dïn*, *-din* и местный падеж на *-ta*, *-tä*, *-da*, *-dä* в отличие от нерасчлененного местно-исходного падежа на *-ta*, *-tä*, *-da*, *-dä* в северном диалекте.

Так называемые «смешанные диалекты» с языковыми признаками, характерными как для северного, так и для южного, в свою очередь, делятся на два диалекта — западный, или «язык западных тюрков» (тюркские памятники манихейского письма, манихейские сочинения на уйгурском алфавите, каирская рукопись «Кутадгу билиг» на арабском алфавите), и восточный, или «весь древний литературный язык» (тюркские переводы буддийских сочинений «Maitrisimit», «Suvarṇaprabhāsa», «Ṭišastvustik», «Saddharmapuṇḍarīka» и др.).

Рассмотренная классификация древнетюркских диалектов по памятникам письменности, в сущности, остается недоказанной, хотя и оказала влияние на последующие попытки. Естественно, в ней не учтен выдающийся филологический труд на арабском языке «Диван тюркских языков» Махмуда Кашгарского (XI в.), обнаруженный в начале нашего столетия в Турции [1].

В своей «Древнетюркской грамматике» А. Габэн [8] взяла за основной

[1] Нами использовано узбекское издание трехтомного «Дивана» Махмуда Кашгарского [7].

критерий выделения древнетюркских диалектов различие звуков *ñ* (*nj* — имеет специальное обозначение в орхонских надписях), *n* и *j* в инлауте и ауслауте некоторых основ, например: *añïγ*, *anïγ* и *ajïγ* «дурной, злой зловредный», *čïγañ*, *čïγan* и *čïγaj* «бедный, неимущий», *jañ-* и *jaj-* «разогнать, рассеять; побеждать», *qoñ* и *qoj* «овца».

По наблюдению Махмуда Кашгарского, в XI в. представители племени аргу в отличие от собственно тюрков регулярно заменяли звук *j* в середине или конце слова на *n* [7, I, с. 67]. Кроме того, аргу произносили *oγla* вместо *oγlan* «мальчик, подросток» [7, I, с. 149] и жили в районах Исфиджаба (Сайрам), Тараза (Таласская долина) и Баласагуна (Чуйская долина). Этноним *аргу* сохранился в родоплеменном названии *аргын* у современных киргизов, казахов, каракалпаков, туркменов и некоторых других тюркских народов.

Согласно А. Габэн, тюркские рунические надписи зафиксировали *ñ*-диалект, большинство рукописей манихейского содержания и некоторые рунические рукописи зафиксировали *n*-диалект (сближается с *ñ*-диалектом), а буддийские, позднеманихейские и многочисленные светские рукописи — *j*-диалект. Рукописи на индусском алфавите брахми и рукописи христианского содержания на уйгурском алфавите также тяготеют к *j*-диалекту.

В другой своей работе А. Габэн [9], ссылаясь на Махмуда Кашгарского, отметила принадлежность *n*-(*ñ*) диалекта западнотюркским племенам — аргу, кыпчакам, огузам (гузам) и другим, а *j*-диалекта — древним уйгурам. Вероятно, данное диалектное различие развилось из первоначального звука *ñ* тюркского протоязыка.

Примечательно, что в якутском языке звук *ñ*(*nj*) часто соответствует древнетюркскому звукосочетанию *nč*. Ср. якут. *as-* ~ *añar-* (*ас-* ~ ~ *аньар-*) «колоть, заколоть, пронзить» и др.-тюрк. *sanč-* «1. колоть, вонзать, втыкать; 2. побеждать, поражать» (в древнеуйгурских текстах представлен также другой вариант этого слова *saj-* «прокалывать, пронзать», ср. кирг. *чанч-* ~ *сай-* «колоть, вонзать, прокалывать, пронзать»), якут. *siñigäs* (*синньигэс*) «тонкий» и др.-тюрк. *jinčgä* «тонкий».

Соответствие *ñ* ~ *nj* представлено в двух вариантах имени ханского наставника Тоньюкука — *tuñuquq* (памятник Тоньюкука) и *tunjuquq* (памятники Бильге-кагана и Моюн-Чура). На основе соответствия *n*(*nj*) ~ *nč* можно связать слово *tuñuquq* ~ *tunjuquq* с глаголом *tunčuq-* «печалиться, задохнуться, оцепенеть от горя» (ср. *är tunčuqtï* «мужчина опечалился» [7, II, с. 264]). В таком случае имя Тоньюкука представляет собой отглагольное прилагательное (**tuñuq-*, **tunjuq-*, соответственно *tunčuq-* + аффикс именного словообразования *-uq*) со значением «печальный, опечаленный».

Древнее фонетическое соответствие *ñ*(*nj*) ~ *nč*, по отношению к которому якутский язык обнаруживает наибольшую архаичность, проявилось и в генетической связи орхонского знака для *ñ* с орхоно-енисейскими знаками для *nč* [10].

С. Е. Малов [11] связывал классификацию древнетюркских памятников с языковыми особенностями рунической, уйгурской и арабской письменностей, сменяющих друг друга. Основным критерием древности при делении тюркских языков на древнейшие, древние, новые и новейшие у С. Малова является глухость—звонкость, окончание прошедшего времени *-tï* вместо *-dï* после гласных, звонких и сонорных согласных, звуки *t*, *d*, *z* вместо *j* (в словах типа *ataḥ* ~ *adaq* ~ *azaq* ~ *ajaq* «нога»). По этой классификации язык рун («огузский язык») и древнеуйгурский язык (V—XIII вв.) отнесены к древним тюркским языкам, вместе с тофаларским (карагасским), тувинским, хакасским и шорским, в то время как печенежский язык (рунические надписи на золотых сосудах в Венгрии — IX—X вв.) и кыпчакский язык (арабские грамматики XI—XIV вв.) — к новым тюркским языкам.

По ретроспективной классификации Н. А. Баскакова [12, 13], древнетюркский язык енисейско-орхонских надписей и древнеуйгурский язык вместе с современным тувинским и карагасским языками (по признаку

adaq) отнесены в уйгуро-тюкюйскую подгруппу уйгурской группы восточнохуннской ветви тюркских языков, а язык «Кутадгу билиг» Юсуфа Баласагунского, «Диван лугат-ат-тюрк» Махмуда Кашгарского, «Хибат ал-хакаик» Югнеки, «Кысас ал-анбия» Рабгузи и литературный язык Золотой Орды — к карлукско-уйгурской подгруппе карлукской группы западнохуннской ветви тюркских языков. Древнетюркский язык, или язык древнетюркских письменных памятников Центральной и Средней Азии, как полагает Н. А. Баскаков [14], подразделяется на древнеогузский, древнеуйгурский и древнекиргизский языки (название «древнекиргизский язык» предложено по отношению к языку енисейских рунических надписей).

А. М. Щербак [15] выделяет в языке древних тюрков Восточного Туркестана два диалекта — «уйгуро-огузский» и «карлукский» или «карлукско-уйгурский» по противопоставлению *n*-основ и *j*-основ, йокания и джекания, а также некоторых морфологических признаков, отмеченных А. Габэн. К уйгуро-огузскому диалекту он отнес все памятники уйгурской и манихейской письменностей из Турфана, а к карлукскому диалекту — «Кутадгу билиг», «Хибат ал-хакаик», уйгурскую версию истории принцев Кальянамкара и Папамкара, легенду об Огузе, соответствующие места «Дивана» Махмуда Кашгарского, часть текстов на алфавите брахми и «Кысас ал-анбия» Рабгузи. Однако живые диалекты огузов, карлуков и кыпчаков не противопоставлялись друг другу по признаку *j* — ǯ, они известны преимущественно как джекающие (ср. переход начального *j* в ǯ, *ž* перед узкими гласными в современном уйгурском языке).

В языке западных тюрков, как обнаруживается из греческих, армянских, арабских и китайских источников VI—VIII вв., было известно употребление аффрикаты ǯ вместо щелевого среднеязычного согласного *j* в начале слова, например, *ǯabγu* ~ *jabγu* (титул), *ǯoγ* ~ *joγ* «погребение, похороны», *ǯajïq* «река Яик» [16]. Отмечая в древнетюркском языке йокающий (восточный) и джекающий (западный) диалекты, А. Н. Бернштам высказал оригинальное предположение, что «язык руники вообще будет, по всей вероятности, отражать йокающий диалект, так как это письмо и язык господствующего класса тех племен, где джекание не было известно» [16, с. 24].

Джекание, по свидетельству Махмуда Кашгарского, было характерно для языков (диалектов) огузов и кыпчаков. Кыпчаки, в свою очередь, входили в состав «халаджей» или «халачей» — *ḫalač* [7, III, с. 237—238]. Представляется несомненной трансформация данного этнонима в *алаш* (*алач*) — синоним названия «казах» в казахских и киргизских легендах [17].

В отличие от собственно «тюрков» Махмуда Кашгарского, огузо-туркмены и кыпчаки заменяли начальный *j* на ǯ(*jinčü* «жемчуг», *joγdu* «длинный верблюжий волос», *jätti* «он догнал» — ǯ*inčü*, ǯ*oγdu*, ǯ*ätti* [7, II, с. 364], ср. в современном уйгурском *γнчə*, *джоғдай*, *йəтти*, в казахском *інжу*, *шуда*, *жетті*), начальный *m* на *b* (*män* «я», *mün* «бульон, суп» — *bän*, *bün* [7, I, с. 67]), начальный *q* на *ḫ* (*qaju* «который», *qïzïm* «моя дочь», *qanda* «где» — *ḫaju*, *ḫïzïm*, *ḫanda* [7, III, с. 237—238]), *w* на *v* (*äw*, «дом», *aw* «охота» — *äv*, *av* [7, I, с. 68]) и т. д.

Слова *adaq* «нога», *adγïr* «жеребец», *ädgü* «добро; хороший», *käd* «очень», *adïr-* «разделять», *tod-* «насыщаться» и т. д. в памятниках рунического письма обычно транскрибируются со смычным зубным звонким согласным звуком *d*, а в памятниках уйгурского письма и в арабских рукописях «Кутадгу билиг» — с щелевым межзубным согласным δ: *aδaq*, *aδγïr*, *äδgü*, *käδ*, *aδïr-*, *toδ-* и т. д. По этому признаку язык древнетюркских памятников сближается с якутским (*ataḫ*) и тувинским (*adaq*), с языками *z*-группы (*azaq*) — хакасским, шорским и сарыг-югурским (язык желтых уйгуров), но отличается от большинства других современных тюркских языков, которые являются *j*-языками (*ajaq*, *ajγïr*, *ajïr-*, *toj-* и т. д.). С. Е. Малов, относя вслед за В. В. Радловым и П. М. Мелиоранским памятники древнетюркской письменности к языкам *d*- группы, писал: «Для Центральной Азии переходным временем для замены письма вместе с ре-

лигией и даже языком (вместо „д"-языка тюрки переходили на „й"-язык) были приблизительно XI—XIV вв.» [18].

О диалектном делении древнетюркского языка в XI в. по признаку δ—*z*—*j* имеется указание Махмуда Кашгарского [7, I, с. 68]. Согласно его наблюдениям, в языке племени чигиль и прочих «тюрков» звук δ сохранялся (*aδaq* «нога», *qaδïŋ* «береза»), в языке племен йемек, сувар, булгар, у части кыпчаков и других племен на западе этот звук переходил в *z* (*azaq*), а в языке племен ягма, тухси, кыпчак, ябаку, кай, татар, чумул, огуз и у части аргу на востоке — в звук *j* (*ajaq*, *qajïŋ*). Вместе с тем он отметил свободное чередование звуков *d* ~ δ в словах типа *qadγu* ~ *qaδγu* «печаль, горе, скорбь», *qodï* ~ *qoδï* «вниз», *quduγ* ~ *quδuγ* «колодец», *qudruq* ~ *quδruq* «хвост», *adaš* ~ *aδaš* «друг», *jadaγ* ~ *jaδaγ* «пеший», *daγ* ~ ~ *δaγ* «не» (отрицательная частица в языке племени аргу), *ud* ~ *uδ* «корова» (в языке чигилей и прочих «тюрков»), *bod* ~ *boδ* «туловище, стан; рост», *bädük* ~ *bäδük* «большой», *düdik* ~ *büδik* «танец», *käd* ~ *käδ* «особый, особенный, отменный», *öd* ~ *öδ* «время» и т. д. Следовательно, как уже было замечено нами [19], звуки *d* и δ в древнетюркском языке не противопоставлялись друг другу и употреблялись как варианты одной фонемы *d*.

Тюркские рунические надписи, вероятно, не отражали (или отражали крайне непоследовательно?) звуковой переход *š* > *s* в инлауте и ауслауте, получивший распространение в казахском, каракалпакском, ногайском, сарыг-югурском, хакасском и якутском языках. Взаимозаменяемость знаков для *š* и *s*, как отметил В. В. Радлов, является орфографической особенностью тюркских рунических памятников [20].

Недостаточно точная передача фонетического строя древнетюркского языка различными алфавитами (особенно уйгурским) очень затрудняет классификацию. Так, в уйгурском письме не различались согласные *q* и *γ*, *k* и *g*, *t* и *d*, *p* и *b*, *s* и *z*, *š* и *ž*, *č* и *ǯ*, иногда *š* и *s* (в «Хуастуанифт» *š* постоянно обозначается как *s*).

В тюркских рунических и древнеуйгурских памятниках графически можно наблюдать кажущееся колебание звуков *ä* и *i*, например, в словах *el* «племенной союз» (графически *äl* или *il*), *eki* «два» (*äki* или *iki*), *jer* «земля» (графически *jär* или *jir*) и др. По всей вероятности, различное написание слов, подобных перечисленным (иногда в одних и тех же текстах), своеобразно отражает корневой звук *e* — закрытый вариант широкой гласной фонемы *ä* [21], но не свидетельствует о делении орхоно-енисейских древнетюркских текстов по диалектному признаку *ä*(*e*)—*i*, как полагал И. А. Батманов [22—24]. Спорность точки зрения И. А. Батманова по данному вопросу отмечена А. М. Щербаком [25].

Принимая доводы В. Томсена, который подметил наличие гласного звука *e* в корневом слоге и соответственно транскрибировал орхоно-енисейские надписи (например, *jer*, а не *jär* и *jir*), В. В. Радлов пришел к очень важному заключению: «...так как переход *e*//*i* в современных волжских наречиях представляет собой более новое изменение, то мы вправе согласиться, что в этих словах всех древнетюркских диалектов следует произносить *e*» [1, с. 428]. Однако транскрипция древнетюркских текстов, приведенных в исследованиях С. Е. Малова, как правило, не отражает корневой гласный звук *e* (*ė*). Может быть, это и послужило основанием для ошибочного вывода о том, что орхоно-енисейские (а также таласские) рунические памятники «отражают два явно выраженных наречия: „э" и „и" (ср. *эл* и *ил* — народ, племенной союз)» [24].

Весьма спорным представляется мнение О. Прицака [26] относительно употребления широких гласных вместо узких в непервом слоге и в некоторых аффиксах (*a* вм. *ï*, *ə* вм. *i*), якобы характеризовавшего «тюркютский» диалект или язык рунических надписей тюркского каганата и рукописи рунического письма «Ырк битиг», например: *aña γ* «плохой» вм. *anïγ* (*n*-диалект в рассмотренной ранее классификации А. Габэн) и вм. *ajïγ* (*j*-диалект или уйгурский диалект, согласно А. Габэн и О. Прицаку), *kältəməz* «мы пришли» вм. *kältämäz* (*n*-диалект) и вм. *kältimiz* (уйгурский диалект). Употребление в аффиксах широких гласных (*a*, *ä*) вм. узких (*ï*, *i*), как уже отметила А. Габэн, отразилось во многочисленных рукопи-

сях манихейского содержания, относящихся к *n*-диалекту. Примечательно, что именно в *n*-диалекте твердо фиксируется *aпїγ*, хотя этому диалекту больше соответствовало бы гипотетическое *aпaγ* (по аналогии с гипотетическим звучанием *añaγ*). Об отсутствии колебания звуков *ї* и *a* в слове *añїγ* «дурной, злой, зловредный (плохой)» убедительно свидетельствуют орхонские надписи — $^{a}\tilde{n}^{i}\gamma$ («Памятник в честь Кюль-Тегина», стк. 3, 5, 7) или $^{a}ni\gamma$ («Памятник Тоньюкука», стк. 34). Здесь, как и вообще внутри слова, рунический знак для гласных *ї* и *i* встречается редко (всем, кто непосредственно занимался изучением тюркской руники, эта особенность употребления хорошо известна), однако отсюда никак не следует, что редко обозначаемые графически внутри слова негубные узкие гласные *ї* и *i* должны восприниматься в качественно преображенном виде — как негубные широкие гласные *a* и *ä*.

Правда, Махмуд Кашгарский обратил внимание на то, что огузы, кыпчаки, сувары и другие племена на западе иногда заменяют в аффиксах «кясру» (*ї*, *i*) на «фатху» (*a*, *ä*), в отличие от тюрков, например, говорят *bardam* вм. *bardїm* «я пошел» [7, III, с. 153]. Нам думается, однако, что «фатха» в аффиксе прошедшего категорического времени отражает не качественно другую фонему, а редуцированный (сверхкраткий) произносительный вариант негубного узкого гласного *ї* [ị] или *i* [ị]. Аналогичные звуки представлены в современном казахском, хакасском, татарском, башкирском (графически *ы* и *i* ≈ *e*) и чувашском (графически *ă* и *ĕ*) языках. Редукция узких негубных согласных, развившаяся в ряде современных тюркских языков, зафиксирована, можно полагать, в диалектах огузов и кыпчаков в XI в. Последние, как известно, тогда были джекающими. Следовательно, у нас нет оснований распространять данное явление на язык тюркских рунических памятников.

Характерно, что А. Н. Кононов, хотя и одобрительно оценивает приведенный взгляд О. Прицака на древнетюркскую фонетику, все же на практике придерживается традиционного взгляда. Так, в своей исключительно ценной монографии, обобщающей весь накопленный опыт изучения тюркской руники, он констатирует: «Однако, ввиду того, что трудно с полной определенностью установить, какие из ТРП (тюркские рунические памятники.— *А. А.*) полностью сохраняли огласовку широкими гласными и какие из них были огласованы узкими гласными, мы вынуждены принять традиционную транскрипцию ТРП» [3, с. 40].

Отдельные фонетические (графические) и морфологические отклонения в языке памятников древнетюркской письменности обусловлены не только влиянием разных племенных диалектов, но и динамикой развития одного, можно полагать, опорного диалекта. Разнообразные ранние диалектные напластования, локальная и хронологическая неоднородность памятников, архаичность древней языковой нормы и ограниченное влияние живой тюркской речи — все это способствовало тому, что язык тюркских рунических надписей и его прямой наследник — язык древнеуйгурских буддийских рукописей (древнеуйгурский литературный язык), как и следовало ожидать, принимают «наддиалектный характер» [27, 28, 29]. Диалектная классификация памятников древнетюркской письменности и сближение их с некоторыми современными тюркскими языками на основе какого-нибудь фонетического (соответственно грамматического) признака остаются в известной мере предположительными.

Особенности употребления отдельных языковых единиц в рунических и древнеуйгурских текстах, несмотря на недостаточность их различительных языковых признаков, позволили Л. Ю. Тугушевой сделать вывод о наличии функциональных сдвигов в древнеуйгурском литературном языке, качественно отличающих последний от «орхоно-тюркского» [30]. Всестороннее выявление наиболее существенных разграничительных признаков древнетюркских диалектов даст возможность глубже понять особенности исторического развития тюркских языков.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Radloff W.* Alttürkische Studien. V. Die alttürkische Dialekte.— Известия АН, 1911, VI серия, т. V, № 6.
2. *Németh J.* Der Volksname *Türk.*— Kőrösi Csoma-Archivum, 1926, Bd. II, 4, S. 275.
3. *Кононов А. Н.* Грамматика языка тюркских рунических памятников VII—IX вв. Л., 1980.
4. *Le Coq A. von.* Türkische Manichaica aus Chotscho. I.— APAW, 1911, Abh. VI.
5. *Radloff W.* Alttürkische Studien, IV. Einleitende Gedanken zur Untersuchung der alttürkischen Dialekte.— Известия АН, 1911, VI серия, т. V, № 5, S. 323.
6. *Самойлович А.* [*Н.*] Некоторые дополнения к классификации турецких языков. Пг., 1922, с. 7.
7. *Маҳмуд Кошғарий.* Туркий сўзлар девони (Девону луғотит турк). Т. I—III. Таржимон ва нашрга тайёрловчи С. М. Муталлибов. Тошкент, 1960, 1961, 1963.
8. *Gabain A. von.* Alttürkische Grammatik. 2. verbesserte Aufl. Leipzig, 1950, S. 3—8, 53.
9. *Gabain A. von.* Alttürkische Schrifttum.— SBAW (Berlin), 1950, Phil.-hist. Kl., № 3, S. 21—22.
10. *Аманжолов А. С.* Тюркская руническая графика (методическая разработка). Алма-Ата, 1980, с. 21—22.
11. *Малов С. Е.* Древние и новые тюркские языки.— ИАН ОЛЯ, 1952, № 2.
12. *Баскаков Н. А.* К вопросу о классификации тюркских языков.— ИАН ОЛЯ, 1952, № 2.
13. *Баскаков Н. А.* Классификация тюркских языков в связи с исторической периодизацией их развития и формирования.— Труды Ин-та языкознания АН СССР, 1952, т. I.
14. *Баскаков Н. А.* Об унификации названий древних и средневековых письменных тюркских языков.— В кн.: Тюркологический сборник. 1977. М., 1981, с. 24—25.
15. *Щербак А. М.* Грамматический очерк языка тюркских текстов X—XIII вв. из Восточного Туркестана. М.— Л., 1961, с. 23—26, 30.
16. *Бернштам А.* [*Н.*] О древнейших следах джекания в тюркских языках Средней Азии.— В кн.: Памяти академика Н. Я. Марра (1864—1934). М.— Л., 1938.
17. *Аманжолов С. А.* Вопросы диалектологии и истории казахского языка. Алма-Ата, 1959, с. 40.
18. *Малов С. Е.* Памятники древнетюркской письменности. М.— Л., 1951, с. 221.
19. *Аманжолов А. С.* К генезису тюркских рун.— ВЯ, 1978, № 2, с. 77, примеч. 10.
20. *Radloff W.* Die alttürkische Inschriften der Mongolei. Neue Folge. SPb., 1887, S. 19.
21. *Thomsen V.* Inscriptions de l'Orkhon déchiffrées.— MSFOu, 1896, t. V., p. 14—16.
22. *Батманов И. А., Арагачи З. Б., Бабушкин Г. Ф.* Современная и древняя енисейка. Фрунзе, 1962, с. 45—50.
23. *Батманов И. А.* Следы говоров в языке памятников орхоно-енисейской письменности.— В кн.: Проблемы тюркологии и истории востоковедения. Казань, 1964, с. 118—119.
24. *Батманов И. А.* Древние тюркские диалекты и их отражение в современных языках.— В кн.: Древние тюркские диалекты и их отражение в современных языках. Фрунзе, 1971, с. 12—13, 24—25.
25. *Щербак А. М.* Енисейские рунические надписи. К истории открытия и изучения.— В кн.: Тюркологический сборник. 1970. М., 1970, с. 130.
26. *Pritsak O.* Das Alttürkische.— In: Handbuch der Orientalistik. 5. Bd. Altaistik. 1. Abschn.— Türkologie. Leiden — Köln, 1963.
27. *Тенишев Э. Р.* О наддиалектном характере языка тюркских рунических памятников.— В кн.: Turcologica. К семидесятилетию академика А. Н. Кононова. Л., 1976, с. 164, 170—171.
28. *Тенишев Э. Р.* Отражение диалектов в тюркских рунических и уйгурских надписях.— СТ, 1976, № 1, с. 33.
29. *Тенишев Э. Р.* Языки древне- и среднетюркских письменных памятников в функциональном аспекте.— ВЯ, 1979, № 2, с. 81—82.
30. *Тугушева Л. Ю.* Орхоно-тюркский и древнеуйгурский языки, их сходство и различие.— В кн.: Тюркологический сборник. 1974. М., 1978, с. 124.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 1 1986

КИРИЛЛОВА Н. Н.

О ДЕНОТАТЕ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКОЙ СЕМАНТИКИ

В центре внимания современной лингвистики, по общему признанию языковедов, находятся проблемы семантики, исследование которых проводится по двум направлениям: изучение семантики самостоятельных единиц в их изолированном состоянии и изучение всех видов окружения коммуникативных единиц [1, с. 4—5]. Первое направление включает такие дисциплины, как лексическая, грамматическая, синтаксическая, фонетическая и фразеологическая семантика, а второе представлено так называемой семантикой текста (контекстной семантикой). Фразеологическая семантика имеет номинативную функцию и на этой основе сближается с лексической. Не случайно весь путь развития фразеологии представляет собой изучение фразеологических единиц в сравнении с лексическими как в плане выражения (материальная сторона), так и в плане содержания (идеальная сторона).

В отношении плана выражения разногласия между фразеологами почти отсутствуют: в отличие от лексических единиц, однословных по составу, фразеологическими единицами признаются многословные устойчивые комплексы [1]. Что касается описания плана содержания, то здесь следует отметить борьбу мнений: первоначально (до 60-х годов нашего столетия) фразеологическая семантика (сокращенно ФС) отождествлялась с лексической на базе так называемых эквивалентных отношений. Затем наступил период их дифференциации вследствие того, что фразеологическая семантика была признана неадекватной лексической. В результате фразеологическое значение стали считать особой лингвистической категорией, а фразеология была выделена в самостоятельную лингвистическую дисциплину. Эти два важнейших положения фразеологической теории, выдвинувшие проблему фразеологической семантики в разряд первостепенных проблем языкознания, связаны с именами советских фразеологов В. Л. Архангельского и А. В. Кунина. Заслугой В. Л. Архангельского является то, что он открыл в языковой семантике существование фразеологического значения, показав, что «фразеологическое значение есть значение комбинаторное в том смысле, что оно по-разному детерминируется значениями компонентов ФЕ, взятых на семантическом уровне» [3, с. 124—125]. При этом фразеологическое значение — «явление более сложное, чем лексическое значение» [3, с. 216]. С того времени, когда В. Л. Архангельским был обоснован новый взгляд на семантику фразеологических единиц, различие фразеологического и лексического значений признается всеми фразеологами, хотя не во всех работах употребляется термин «фразеологическое значение». Например, А. И. Молотков пользуется термином «лексическое значение фразеологизма», признавая вместе с тем «своеобразие лексического значения фразеологизма в отличие его от лексического значения слова» [4].

Значительный вклад в семантическую теорию фразеологии внес А. В. Кунин, создавший концепцию автономности фразеологии. Он обосновывает идею, согласно которой фразеология представляет собой фразеологическую микросистему, понимаемую как «традиционное единство системных отношений между компонентами фразеологических единиц

[1] Высказывается и другая точка зрения, согласно которой к классу ФЕ могут относиться и слова с метафорическим значением типа *осел* в значении «глупый человек» [2, с. 65].

и фразеологических единиц между собой на основе их структурно-семантических особенностей» [5, с. 27—28]. Различие фразеологии и лексики подтверждается данными, полученными как в ходе синхронических, так и диахронических исследований. Например, в результате диахронического исследования фразеологии французского языка, проведенного А. Г. Назаряном, получен вывод о том, что «в плане генезиса фразеология и лексика обнаруживают существенные различия» [6, с. 172]. Специфику фразеологической семантики в отличие от лексической лингвисты объясняют по-разному: а) противоречием между реальным значением ФЕ и этимологическим значением ее компонентов [7],б) различным характером внутренней формы ФЕ и слова [8, с. 10], в) различием семантических структур ФЕ и слова, вытекающим из разной степени языковой абстракции: лексическая абстракция является двуступенчатой (понятие — денотат), фразеологическая абстракция носит трехступенчатый характер (понятие — образное представление — денотат) [6, с. 26], г) новыми элементарными смыслами, присущими только ФЕ как языковому знаку экстралингвистической ситуации [2, с. 65], д) семантической структурой слов-компонентов, их динамическим развитием [9], е) устойчивостью фразеологического значения [5, с. 307].

Признание за фразеологическими единицами номинативной функции позволяет рассматривать фразеологическую семантику с позиции теории отражения в сравнении с другими типами семантики — не только лексической, но и грамматической, синтаксической, фонетической,— которые существуют в таксономии лингвистических понятий, ибо «в языке, в общем, все значимо и осмысленно, т. е. все единицы языка имеют значение» [10]. Идеальная сторона языковых единиц двукомпонентна — в ней выделяются значение как результат отражения объективной действительности и значимость как результат действия фактора системности [11]. За основу сравнения указанных типов семантики в данной статье принимается первый компонент.

Принцип отражения требует ответа на два вопроса: 1) что отражается, т. е. каков внеязыковой субстрат изучаемой семантики, и 2) как отражается, т. е. каков характер отражения.

Первый вопрос, по сути дела, это вопрос о денотате, которому в литературе о фразеологической семантике уделяется несравненно меньше внимания, чем в литературе о лексической семантике. Это происходит, на наш взгляд, по двум причинам: a priori по аналогии со словом денотатом ФЕ считаются явления объективного мира, обозначаемые фразеологизмами. Так, денотатом ФЕ *протянуть ноги* является понятие «умереть», а ФЕ *стреляный воробей* — «бывалый, опытный человек». Вторая причина того, что денотат ФС не был объектом специального исследования, заключается в том, что фразеологическая семантика изучается преимущественно не в аспекте отражения объективной действительности (первый компонент идеальной стороны), а в аспекте взаимодействия языковых факторов (проблемы фразеологизации, семантической эволюции, устойчивости, контекстной обусловленности и т. п.).

Проблема денотата фразеологической семантики заслуживает пристального рассмотрения, потому что аналогии с денотатом слова здесь явно недостаточно. Предположить обратное значит лишить фразеологию оснований для существования в качестве самостоятельной дисциплины.

Итак, попытаемся подойти к определению денотата фразеологической семантики с точки зрения ее экстралингвистической обусловленности, т. е. попытаемся ответить на вопрос, имеет ли ФС экстралингвистический субстрат подобно тому, как его имеют другие типы семантики языка. Как известно, под семантикой языка понимается идеальное содержание языка, представляющее собой адекватное отражение объективного мира. В процессе обозначения (номинации) семантический континуум отражается в виде определенных языковых категорий (ср. категории частей речи, категории членов предложения, категория слова, категория фонемы). В основе названных категорий лежит различный характер семантики. В первую категорию входят понятия, объединенные грамматической се-

мантикой,— имя, глагол, наречие и т. п. Вторую категорию составляют понятия синтаксической семантики — подлежащее, сказуемое, дополнение и т. п. Третья категория объединяет понятия на основе лексической семантики (слово). Четвертая категория, несмотря на совершенно иной, «незначимый», характер ее единицы — фонемы — входит, тем не менее, в понятие фонетической семантики [12].

Каждая из названных семантик коррелирует с явлениями объективного мира, в котором находятся ее денотаты. Для грамматической семантики денотатом служат свойства и отношения объектов реального мира (предметность, глагольность, признаковость, и т. д.). Денотатом синтаксической семантики являются «функции объектов в ситуации» [13], т. е. деятель, пациенс, адресат, инструментальность, локальность и т. п. Денотат лексической семантики — предметы, действия, состояния, процессы, качества, имеющие конкретное или абстрактное значение. Денотатом фонетической семантики служит звук (колебания волн воздушной среды, социально значимые для данного коллектива) или, точнее, обертоны звука.

Каков же денотат таких языковых номинативных образований, как, например, *заблудшая овца*, *брать быка за рога*, *до мозга костей*, *себе на уме*, *дело в шляпе* и др.? Для ответа на поставленный вопрос рассмотрим соотношение компонентов на уровне «денотат (объективная действительность) — ФС». Синтаксической основой фразеологизма является свободное словосочетание, денотатом которого служит предметная ситуация. Назовем его денотатом-1. Например, ситуацию, обозначаемую словосочетанием *manger le grenouille*, можно представить следующим образом: «некто (цапля, человек) ест лягушку». Но существительное *grenouille* во французском языке имеет и переносное значение «копилка», образованное на основе переноса по сходству, т. к. во Франции существовали копилки в форме лягушки с открытым ртом, куда бросали деньги. Позднее этим словом стали обозначать деньги, собранные в общую кассу группой людей. Третье значение слова *grenouille* возникло на основе переноса по функции, а словосочетание, в котором оно реализуется — *manger la grenouille*,— приобрело значение «растратить деньги кассы, принадлежащей группе людей, в которую производитель этого действия входит» [14]. Таким образом, на базе двух переносов возникло фразеологическое значение, которое расширилось до значения «растратить чужие деньги»: «Est-ce vrai, vieux, reprit-elle, que tu as tué ton frère et oncle, ruiné ta famille,... et m a n g é l a g r e n o u i l l e (разрядка наша.— *К. Н.*) du gouvernement en Afrique avec la princesse» (H. Balzac, La cousine Bette) «Правда ли, старикан,— продолжала она,— что ты убил своего брата и дядю, разорил свою семью и р а с т р а т и л к а з е н н ы е д е н е ж к и с п р и н ц е с с о й в А ф р и к е?»

Данный фразеологизм имеет вариант *faire sauter la grenouille*, возникший на основе образа «взорвать копилку», в котором все компоненты употреблены в переносном значении (букв. «заставить прыгать лягушку»). Если за обозначение предметной ситуации принять буквальное значение компонентов, то различие между предметной ситуацией и фразеологическим значением ФЕ *faire sauter la grenouille* возрастает еще больше, в результате чего возникает ощущение абсурдности данного фразеологического оборота. В процессе познания смысла фразеологических единиц это ощущение часто имеет место, потому что соотнесенность значения ФЕ происходит не с производными значениями компонентов ФЕ (в нашем примере «взорвать копилку»), а с их исходными значениями. «Раскрытие неоднозначного смысла,— пишет Г. В. Колшанский,— в итоге базируется на гносеологической, а не на лингвистической компетенции человека» [1, с. 59]. Глагол *manger* в рассматриваемой ФЕ, употребленный в переносном значении, функционирует вместе с существительным *la grenouille*, претерпевшим трехкратный перенос, после чего образованная ФЕ абстрагируется в понятие «растратить чужие деньги» (без последнего этапа абстрагирования значение могло бы быть иным, например, «растратить свои деньги, накопленные в копилке» или «растратить часть общих денег, принадлежащую себе»). Семантическая эволюция фразеологизма m a n g e r l a g r e n o u i l-

l е показывает, что процесс образования данной ФЕ связан с развитием значения слова *grenouille* и не имеет непосредственного отношения к предметной ситуации «есть/съесть лягушку». Следовательно, прямая связь между значением «растратить чужие деньги» и данной предметной ситуацией отсутствует. Эта связь носит опосредованный характер, на что часто указывалось в работах по фразеологии. Но о том, что представляет собой опосредованная связь между денотатом и фразеологическим значением, говорится довольно мало и в общих словах (исключение составляет работа А. Г. Назаряна [6, с. 26]). Однако следует заметить, что психологический фактор отражения объективной действительности, т. е. образное представление, является лишь одним из элементов промежуточного звена между денотатом и ФС. Здесь важно лишь вслед за А. Г. Назаряном обратить внимание на трехступенчатую соотнесенность фразеологической семантики с объективной действительностью: «денотат-1 — промежуточное звено — ФС».

Однако вернемся к ФЕ *manger la grenouille*. Она относится к группе ФЕ, образованию которых предшествует семантическая эволюция одного из компонентов. Последняя является причиной усложненной референтной соотнесенности ФС с денотатом-1. Подобные ФЕ — весьма частое явление в любом языке. Достаточно привести в качестве примера ФЕ с названиями частей тела, в которых существительные фигурируют не как соматизмы, а как названия предметов, находящихся вне человека. Например, исходными значениями существительного *pied* «нога» в следующих ФЕ являются: «нога животного» (*faire le pied de grue* «томиться ожиданием»); «ножка растения» (*sécher sur pied* «сохнуть на корню; чахнуть»); «мера длины» (*vivre sur le grand pied* «жить на широкую ногу»).

Существует и другая группа ФЕ, источником которых является не семантическая эволюция компонента, а непосредственно предметная ситуация, переосмысленная в целях создания образной единицы. Но и в этом случае установить связь между значением ФЕ и предметной ситуацией не просто. Об этом писали Н. Н. Амосова и другие лингвисты, указывая, что, например, ситуация «выносить сор из избы» могла бы послужить основой для фразеологизмов с несколькими различными значениями — «наводить порядок», «облегчить душу тяжелым признанием», «отделаться от чего-либо лишнего, ненужного», «разглашать внутренние дрязки» [16]. Наблюдение Н. Н. Амосовой подтвердил эксперимент, проведенный А. Г. Назаряном с носителями французского языка. Эксперимент показал, что ситуация, отраженная в ФЕ *tondre un oeuf* (букв. «стричь яйцо»), может быть интерпретирована 13 способами: 1) «заниматься бесполезным делом», 2) «ничего не делать», 3) «делать глупости, валять дурака», 4) «пытаться сделать что-то невозможное», 5) «ободрать кого-либо как липку», 6) «дурачиться», 7) «пустословить», 8) «снять сливки», 9) «жадничать», 10) «брить наголо», 11) «перехитрить», 12) «доконать кого-либо», 13) «быть слишком мелочным» [16, с. 37]. Реальное же значение данной ФЕ — «стараться по скупости на всем экономить, заработать». О самобытности фразеологизмов пишет А. И. Домашнев, исследуя национальные варианты немецкого языка [17].

Практически каждая ситуация, как показывают примеры Н. Н. Амосовой, А. Г. Назаряна, А. И. Домашнева, может быть интерпретирована по-разному, т. е. может иметь несколько логико-семантических аспектов, выводимых дедуктивным путем из данной ситуации. Но образованию ФЕ служит лишь один из них. Тот логико-семантический аспект, который кладется в основу значения ФЕ, мы будем называть префразеологическим аспектом, в отличие от других логико-семантических аспектов, остающихся как бы в латентном состоянии. Префразеологический аспект ситуации во фразеологической единице играет ту же роль, что и отличительный признак предмета, положенный в основу его названия и мотивирующий это название.

По количеству префразеологических аспектов, используемых в ФЕ, различаются моносемичные и полисемичные ФЕ: в моносемичных обозначен один аспект ситуации, в многозначных (только в случаях параллель-

ной полисемии) — несколько. Например, ФЕ *monter sur ses grands chevaux* «сесть на боевых коней» содержит в себе два префразеологических аспекта: 1) поза всадника, откуда значение «важничать, говорить свысока», и 2) готовность к сражению, на основе чего сформировалось значение «в гневе наброситься на кого-либо». Последовательная полисемия представляет собой семантическое развитие одного и того же префразеологического аспекта ситуации. Например: ФЕ *mettre* (*remettre*) *à flot* имеет 4 значения, развившихся одно из другого: 1) «снять с мели; поднять затонувшее судно», 2) «поставить на ноги, восстановить здоровье», 3) «дать первый толчок; помочь сделать карьеру», 4) «вывести из затруднительного положения».

Исходя из множественности логико-семантических аспектов денотата-1 можно иначе интерпретировать понятие и функцию внутренней формы ФЕ. По вопросу о внутренней форме ФЕ существуют разные точки зрения. Одни исследователи трактуют ее как связь между фразеологическим значением оборота и реальными значениями его компонентов [18], другие как словесный образ, который кладется в основу наименования фразеологической единицы [19], третьи — как элемент представления в семантике ФЕ, обусловившей ее вещественное значение [8, с. 17]. Мы разделяем точку зрения В. Г. Гака, согласно которой «внутренняя форма фразеологизма определяется т о й ч е р т о й о б ъ е к т а (разрядка наша.— *К. Н.*), которая кладется в основу наименования» [20]. Учитывая, что синтаксической основой ФЕ является словосочетание, обозначающее не простой объект, а ситуацию, внутренней формой ФЕ следует считать тот аспект ситуации, который обозначает одну из логико-семантических сторон ситуации. Поскольку логико-семантический аспект ситуации, на базе которого возникает значение той или иной ФЕ, мы называем префразеологическим, то именно его и целесообразно назвать внутренней формой ФЕ. Что касается функций внутренней формы фразеологизма, то принято считать, что они, как и в слове, играют мотивирующую и стилистическую роль [8, с. 18]. Убеждение в том, что в формировании значения ФЕ участвует не вся предметная ситуация, а лишь определенный аспект, который предстоит выбрать из множества ее аспектов, позволяет говорить о мотивирующей функции ФЕ лишь с некоторой оговоркой. Если мотивированность ФЕ понимать как предсказуемость ее значения по форме, то в этом случае о мотивированности говорить трудно, т. к. необходимость выбора исключает предсказуемость.

При изучении мотивированности, как об этом справедливо пишет А. Г. Назарян, важно различать два плана — план порождения и план описания [16, с. 38]. В плане описания исследование проводится от содержания к форме, когда значение ФЕ заранее известно, между ним и значением предметно-реальной ситуации довольно легко устанавливается логическая (мотивирующая) связь. В результате констатируется факт мотивированности значительной части единиц фразеологического фонда. В плане же порождения фразеологического значения (от формы к значению) большинство ФЕ оказывается немотивированным, т. к. их значения непредсказуемы, а это значит, что они не могут быть поняты без словаря [16, с. 38]. Из этого следует, что связь значения ФЕ с ее внутренней формой, которую трудно определить, не является достаточным основанием для мотивированности. В соответствии с этим можно заключить, что внутренняя форма имеет мотивирующую функцию лишь в плане описания. Такое ограничение говорит не об абсолютном, а об относительном характере мотивирующей функции.

Приблизительно то же самое можно сказать и о других функциях внутренней формы ФЕ — генетической и стилистической. Генетическая функция ФЕ заключается в том, что внутренняя форма является источником существования фразеологической единицы и ее можно было бы считать абсолютной, если бы не наличие такого разряда ФЕ, которые не имели и не имеют внутренней формы, типа *задать стрекача* «убежать». Генетическая функция проявляется не только в создании новых ФЕ, но и новых значений существующих ФЕ, что приводит к образованию параллельной и последовательной полисемии. При параллельной полисемии ФЕ

число ее значений равно числу внутренних форм. При последовательной полисемии одна внутренняя форма порождает несколько значений.

Стилистическая функция внутренней формы реализуется во фразеологической синонимии как внутри одного языка, так и между языками. В рамках одного языка фразеологическая синонимия представляет большой интерес со стороны ее широкого семантического и стилистического диапазона. Так, например, число ФЕ с понятием «умереть» во французском языке равно приблизительно 70: *aller ad patres* (нейтр.), *passer de vie à trépas* (литер.), *oublier de respirer* (ирон.), *graisser ses bottes* (фам.), *casser sa pipe* (прост.), *avaler sa fourchette* (арго) и др. На межъязыковом уровне исследование фразеологических синонимов имеет значение для изучения этнического характера фразеологии, в чем не последнюю роль играет внутренняя форма. Например, значение «держать в ежовых рукавицах» передается в романских языках фразеологизмами с различной внутренней формой: «сжимать кому-либо большие пальцы» во французском языке (ФЕ *serrer les pouces à qn.*), «положить в кулак» в испанском (ФЕ *meter in un puño*), «повесить цепь на шею» в итальянском (ФЕ *mettere la catena al collo*), «держать кого-либо на коротком поводке (в узде)» в румынском [ФЕ *a ţina pe cineva din scurt* (*in frîu*)].

Итак, рассмотрев внутреннюю форму и ее функции, можно дать ответ на вопрос о том, что отражается во фразеологической семантике: в ней отражается один из возможных логико-семантических аспектов предметной ситуации (денотата-1), а именно префразеологический аспект. Остается ответить на вопрос, как отражается в ФС объективный мир. Выше говорилось о том, что денотат-1 фразеологической единицы включает в себя несколько логико-семантических аспектов, из числа которых язык использует один и на его основе формирует образный устойчивый оборот. Выбор префразеологического аспекта определяется не только смыслом словосочетания, обозначающего данную ситуацию, но и другими факторами, которые находятся в когнитивной сфере образования значения ФЕ. Понятие когнитивной сферы вытекает из положения психолингвистики о том, что «между структурой предметной ситуации и семантической структурой высказывания находится когнитивная структура ситуации» [21]. В понятие когнитивной структуры фразеологического значения включается все то, что связано с процессом познания как высшей формой отражения объективной действительности. Одним из основных принципов теории отражения является принцип творческой активности субъекта. Согласно марксистско-ленинской теории, «отражение есть социальный по своей природе творческий процесс. Он предполагает не только воздействие на субъект извне, но и активное действие самого субъекта, его творческую активность, которая проявляется в избирательности и целенаправленности восприятия, в отвлечении от одних предметов, свойств и отношений и фиксировании других, в превращении чувственного образа в логическую мысль, в оперировании понятиями» [22]. По сути дела то, что принято называть национальной спецификой фразеологии того или иного языка, т. е. стилистическая коннотация, культурно-историческая и этно-психологическая информация как результат своеобразного воздействия субъекта на объект реального мира, относится к когнитивной сфере ФС.

Рассуждая о семантических особенностях фразеологизмов, испанский лексиколог Х. Касарес пишет о психологической восприимчивости народа, столь необходимой для того, чтобы в языке привились некоторые индивидуальные образования [23]. Естественно, для возникновения психологической восприимчивости к тому или иному факту нужны определенные условия, которые могут быть в одном языке и отсутствовать в другом. Именно фактом национальной специфики языка, на наш взгляд, можно объяснить различную интерпретацию одних и тех же предметных ситуаций в различных языках. Например, воображаемая ситуация «тянуть дьявола за хвост» имеет во французском языке значения «бедствовать, едва сводить концы с концами» (ФЕ *tirer le diable par la queue*), а в итальянском «лезть на рожон» (ФЕ *tirare la coda al diavolo*).

Факт избирательного подхода языков к интерпретации явлений объек-

тивной действительности, безусловно, относится к когнитивной сфере фразеологического значения. Когнитивная сфера представляет собой связь, посредством которой происходит отражение ситуаций объективного мира во фразеологической семантике. Отсюда следует, что ФС отражает внеязыковой субстрат, т. е. имеет денотат.

Однако известно, что функциональное назначение фразеологической единицы не в том, чтобы отразить данный фрагмент действительности, названный компонентами фразеологической единицы, а в том, чтобы с помощью этой номинации обозначить другой «предмет» реального мира, который обычно и называют денотатом ФЕ. Так, В. Л. Архангельский пишет, что денотатом ФЕ считается явление объективного мира, обозначаемое фразеологизмом [3, с. 219]. Таким образом, денотатом ФЕ *mettre qn. sous la dent* является не действие «класть кого-либо под зуб», а «перемывать косточки кому-либо», а денотатом фразеологизма *secouer le menton* — не телодвижение «трясти подбородком», а понятие «не обращать внимания». Если вторые понятия, согласно В. Л. Архангельскому, считать денотатами, то их следует обозначить денотатом-2, в отличие от денотата-1, по причине переноса названия с одной ситуации на другую, т. е. вторичного переноса.

Очень часто денотат-2 отличается от денотата-1 абстрактным характером: большинство ФЕ обозначают абстрактные понятия и относятся к нематериальной сфере объективного мира. Этим объясняются трудности разграничения денотата-2 и сигнификата ФЕ.

Итак, ответ на вопрос, что является денотатом фразеологической семантики, заключается в следующем: ФС имеет два денотата, один из них лежит в сфере предметных отношений реального мира (денотат-1), другой — в сфере психических понятий (денотат-2). Во фразеологизме часто происходит их совмещение, благодаря чему возможны различные приемы структурно-семантических трансформаций ФЕ, которые можно подразделить на три группы: приемы трансформаций денотата-1, приемы трансформаций денотата-2 и приемы, использующие совмещение денотатов (так называемая двойная актуализация). Приведем пример последней. ФЕ *manger de la vache enragée* «терпеть сильную нужду, бедствовать» (букв. «есть мясо бешеной коровы») в романе Э. Базена «Крик совы» претерпевает структурную и семантическую трансформацию: «Ton père n'a pas de fortune, mais ne paraît pas dénué de ressources, il a eu quelques difficultés, durant un temps, mais tout de même en fait de vache enragée tu n'en as mangé que le filet» (H. Bazin, Cri de la chouette). Игра слов в устах персонажа заключается в том, что он рядом с компонентом *la vache* «корова» употребляет существительное в прямом значении *la filet*, но с коннотацией «лучшая часть мяса коровы». В результате реализации прямого и фразеологического значений компонента *la vache* преобразованная фразеологическая единица приобретает в данном контексте значение «терпеть не очень сильную нужду» («...а если ты и ел корки, то лишь от сдобных булок»).

Итак, в свете теории отражения фразеологическая семантика имеет следующую структуру: денотат-1, его префразеологический аспект, когнитивная сфера, денотат-2.

Данная структура значения позволяет выделить во фразеологической семантике такие ее свойства, как относительность, противоречивость, стохастичность, экономичность, иллокутивность. Фразеологи отмечают, что признаки ФЕ, выявленные в парадигматике, противоречат признакам, проявляющимся в синтагматике: устойчивости противопоставляется вариабельность, семантической монолитности — семантическая членимость, предсказуемости и воспроизводимости — стохастичность. Такое противоречие выступает как необходимое сочетание «двух способов видения вещи и явления, в их относительной неподвижности и постоянном движении» [24, с. 11], откуда следует, что все свойства ФЕ носят не абсолютный, а относительный характер. Даже ее единственный материальный признак — раздельнооформленность — необходимо признать в некоторой степени относительным по следующим причинам: во-первых, признак раздельнооформленности свойственен не только фразеологизмам, но и другой группе

устойчивых словосочетаний, которые называются аналитическими словами (типа *avoir du succès*, *faire impression*, *prendre part*, *tenir lieu*), во-вторых, признак раздельнооформленности в одних языках (русском, французском) является обязательным в определении статуса ФЕ, а в других (испанском, итальянском) — менее обязательным, т. к. в них существуют многокомпонентные ФЕ, оформленные слитно [они распадаются на компоненты лишь в предложении: *camparselas* «незаметно удрать», *correrla* «вести разгульный образ жизни» (исп.), *affibiarla a qd.* «сыграть злую шутку с кем-либо», *allacciarsela* «задирать нос, воображать» (итал.)].

Несовпадение парадигматических и синтагматических признаков ФЕ неизбежно, потому что в языке значение ФЕ представлено как идеограмма, которая содержит в себе «классему и основные элементарные смыслы (семы) фразеологизма» [2, с. 66]. В тексте же ФЕ реализует множество коннотативных сем, которые появляются в контексте ad hoc, а вне контекста непредсказуемы. Поэтому некоторые исследователи считают, что фразеологической семантике присущ стохастический характер [25]. Фразеологическую семантику характеризуют динамизм и гибкость. Она легко приспосабливается к контексту, в котором иногда означает нечто большее, чем ею обозначено в словаре. Например, фраза из романа Э. Базена «Змея в кулаке» *Folcoche ne se mouche pas de la main gauche*! в переводе романа звучит следующим образом: «Психимора не поскупилась!». Однако ФЕ *ne pas se moucher du pied* собственно означает 1) «он в грязь лицом не ударит», 2) «у него губа не дура». В контексте Э. Базена актуализировано первое значение ФЕ, в которой последний компонент *le pied* заменен тематически близким компонентом *la main gauche*, а это либо подчеркивает неожиданное проявление щедрости скупой матери, которая «одолжила» крупную сумму денег нелюбимому сыну (в этом реализуется функция руки «давать»), либо содержит указание на фразеологизм *de la main gauche*, имеющий отношение к понятию «незаконный брак» (*le mariage de la main gauche* «незаконное сожительство», *l'enfant de la main gauche* «ребенок от незаконного брака»). Вместе с тем указанное контекстное употребление ФЕ содержит намек на отношение матери к родному сыну как к неродному. Перевод на русский язык этой фразы передает иронию, с которой Жан произнес ее, увидев деньги. Но та коннотация, которая содержится во фразе благодаря скрещиванию двух фразеологизмов, остается за пределами перевода.

Фразеологическая семантика отличается экономичностью, которая проявляется на лексическом и семантическом уровнях: «Если для создания 10 лексических единиц нужно 10 слов,— пишет А. Г. Назарян,— то этого количества достаточно, чтобы образовать в 37,5 раза больше ФЕ» [6, с. 77]. С семантической точки зрения экономичность ФЕ заключается в высокой степени информативности, которая им присуща как единицам с низкой предсказуемостью.

В итоге рассмотрения фразеологической семантики следует сказать, что ее специфика заключается в ее сложной денотативной структуре, которая является отражением взаимоотношения трех сущностей: «объективный мир — человек — язык».

ЛИТЕРАТУРА

1. *Колшанский Г. В.* Контекстная семантика. М., 1980.
2. *Черданцева Т. З.* Язык и его образы (Очерки по итальянской фразеологии). М., 1977.
3. *Архангельский В. Л.* Устойчивые фразы в современном русском языке. Ростов-на-Дону, 1964.
4. *Молотков А. И.* Основы фразеологии русского языка. Л., 1977, с. 109.
5. *Кунин А. В.* Английская фразеология. М., 1970.
6. *Назарян А. Г.* История развития французской фразеологии. М., 1981.
7. *Жуков В. П.* Семантика фразеологических оборотов. М., 1978, с. 19.
8. *Федоров А. И.* Развитие русской фразеологии в конце XVIII — начале XIX в. Новосибирск, 1973.
9. *Авалиани Ю. Ю.* К семантическим связям слов в самостоятельной функции и в составе фразеологических единиц.— В кн.: Вопросы описания лексико-семантической системы. Ч. I. М., 1971, с. 16.

10. *Виноградов В. В.* О формах слова.— В кн.: *Виноградов В. В.* Исследования по русской грамматике. Избранные труды. М., 1975, с. 35.
11. *Панфилов В. З.* Гносеологические аспекты философских проблем языкознания. М., 1982, с. 89.
12. *Воронин С. В.* Основы фоносемантики. Л., 1982, с. 244.
13. *Гак В. Г.* Теоретическая грамматика французского языка. Синтаксис. М., 1981, с. 12.
14. Lexis. Larousse de la langue française. Paris, 1979, p. 862.
15. *Амосова Н. Н.* Основы английской фразеологии. Л., 1963, с. 8.
16. *Назарян А. Г.* Семантическая моделируемость фразеологизмов: реальность или фикция.— ФН, 1983, № 6.
17. *Домашнев А. И.* Современный немецкий язык в его национальных вариантах. Л., 1983, с. 159.
18. *Ройзензон Л. И.* Внутренняя форма слова и внутренняя форма фразеологизма.— В кн.: Вопросы фразеологии. Ташкент, 1965, с. 65.
19. *Жуков В. П.* «Внутренняя форма» и целостное значение фразеологизма.— Уч. зап. Новгородского пед. ин-та, 1967, т. XII, с. 19.
20. *Гак В. Г.* Фразеологические единицы в свете асимметрии языкового знака.— Тр. Самаркандского гос. ун-та им. А. Навои. Новая сер., 1975, вып. № 277, с. 10.
21. *Шахнарович А. М.* Семантический компонент языковой способности.— В кн.: Психолингвистические проблемы семантики. М., 1983, с. 190.
22. Философский энциклопедический словарь. М., 1983, с. 470.
23. *Касарес Х.* Введение в лексикографию. М., 1958, с. 233.
24. *Скрелина Л. М.* Некоторые вопросы развития языка. Минск, 1973, с. 143.
25. *Маргулис В. Д.* Семантическая структура фразеологических единиц и ее функционирование в тексте в современном английском языке: Автореф. дис. на соискание уч. ст. канд. филол. наук. Л., 1983, с. 3.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 1 1986

МАТЕРИАЛЫ И СООБЩЕНИЯ

МАКЕЕВА И. И.

К ВОПРОСУ О СОБИРАТЕЛЬНЫХ ИМЕНАХ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ

(На примере названий драгоценных камней)

Имена существительные, являющиеся названиями минералов, традиционно рассматриваются среди лексико-грамматического разряда вещественных, как и слова, обозначающие продукты питания, напитки, лекарственные вещества, пушно-меховые, текстильные и кожевенные материалы и под. [1, с. 132; 2, с. 462]. Принадлежность имени к данному разряду определяет условия появления форм мн. ч., их семантику, которые определяются типом вещественного значения. В ранних памятниках древнерусской письменности вещественные существительные свободно образовывали формы мн. ч. в значении логического множества, особенно имена, обозначавшие вещества предметно или объемно ограниченные, твердые, обладавшие наряду с вещественным предметным значением [3]. Названия драгоценных минералов сохраняли предметное значение на протяжении длительного времени, в связи с чем они обладали возможностью сочетаться с количественными числительными, иметь нелексикализованные формы мн. ч., употребление которых подразумевает наличие более чем одного камня (кристалла), и приобретали в отдельных случаях контекстуальное значение собирательности.

Некоторые из наименований драгоценных камней — существительные *бисер* и *жемчуг* [1] — признак совокупного множества содержат в семантике слова, т. е. обладают лексическим значением собирательности.

Вопрос о вхождении слов такого типа в лексико-грамматический разряд собирательных существительных является одной из дискуссионных теоретических проблем не только для современного русского или древнерусского языков, но и для других славянских и западноевропейских, например, немецкого, языков. С точки зрения одних исследователей (С. Н. Абакумова, И. Э. Еселевич, В. З. Панфилова, Л. И. Фроловой и др.), основывающихся на семантике слова, принадлежать к собирательным могут не только существительные с формальным показателем данного значения, но и такие, как русск. *толпа*, *лес*, *мебель*, *хвоя*, укр. *натовп*, *ліс*, *зграя*, *агрус*, белорусск. *натоўп*, *зграя*, *плойма*, *атрад*, нем. *das Volk*, *die Familie* и др. Противоположной точки зрения придерживались лингвисты (Л. А. Булаховский, В. В. Виноградов, А. А. Шахматов, Л. В. Щерба), которые в качестве основного признака собирательных имен рассматривали отсутствие у таковых форм множественного числа и несочетаемость с количественными числительными.

Отмеченные в памятниках русской письменности XI—XVII вв. сочетания типа *три братья* (Лавр. лет., 9 [2]), *1000 гребенья* (Перс. д., 12) и формы *камении различьныими* (Ефр. Корм., 175), *имѣя спсеная былиа* (Златостр., 54), а также предпринятые в последние десятилетия исследования позволяют все же ставить вопрос о возможности у собирательных имен (причем с формальным показателем данного значения, которые включаются в разряд собирательных всеми исследователями) форм мн. ч. и сочетаний с количественными числительными, по крайней мере в русском языке XI—XVII вв.

[1] Жемчуг традиционно рассматривается среди ювелирных камней.

[2] Сокращенные названия источников приведены по Указателю источников Картотеки Словаря русского языка XI—XVII вв. [4].

Собирательное имя отражало, во-первых, общую идею множественности, во-вторых,— и это является одним из показательных моментов его семантической характеристики — указывало на «неопределенность количества конкретных предметов, совокупность которых названа собирательным существительным» [5, с. 16]. Формы мн. ч. собирательных на *-ие* имели значение дистрибутивного множества; кроме того, указывали на интенсивность количества, подчеркивали множественность. Для простых форм мн. ч., т. е. от конкретно-единичных слов, в русском языке выделяют два основных значения: разделительное (дистрибутивной множественности) и собирательное (собирательной множественности) [1, с. 136; 2, с. 472; 6]. Первое из них служит для выражения определенного, количественно ограниченного множества, обычно небольшого, противопоставляясь единичности [7, с. 90]. С помощью форм мн. ч. со значением собирательной множественности передается представление о неопределенном несчитаемом количестве. Употребление собирательного имени, его формы мн. ч. или простых форм мн. ч. (от соответствующего конкретно-единичного наименования) обусловлено передаваемым смыслом: «В среднерусском языке XV—XVI вв. имена собирательные выражали общие (качественные) значения множественности, а грамматические формы мн. ч.— собственно количественные значения. Иначе говоря, при указании на множество данного рода применялось имя собирательное, а при указании на определенное количество — форма мн. ч.» [7, с. 91].

Таким образом, само наличие у слов с лексическим значением собирательности форм мн. ч. не является препятствием для включения их в лексико-грамматический разряд собирательных существительных. Существенным может оказаться совпадение или несовпадение значений этих форм у данных слов и характеризованных [8] собирательных. Общность не только семантики слова, содержащей признак неопределенного совокупного количества, но и значений грамматических форм может быть рассмотрена как основание для объединения таких слов в пределах одного разряда существительных.

Важным для подобного объединения является также вовлечение имен с лексическим значением собирательности в процессы, свойственные характеризованным собирательным, такие, как тенденция конкретизации, ослабления прежнего значения совокупности, что делает возможным употребление собирательного существительного в функции quasiplural, т. е. способность обозначать дистрибутивное множество формой ед. ч.

У слов с лексическим значением собирательности, являющихся заимствованиями в древнерусском языке и обладающих сложной семантической структурой, при определении их отношения к разряду собирательных должны быть учтены, по возможности, наличие или отсутствие значения собирательности в исходном языке и система значений слова.

Бисер является ранним заимствованием из арабского языка через тюркское посредство. Этимологии слова из араб. *busra* «поддельный жемчуг, стеклярус» через тюрк. *büsrä* придерживались П. Мелиоранский, Э. Бернекер, А. Преображенский, М. Фасмер и другие. Некоторые исследователи (А. Брюкнер, В. Махек, П. Скок) высказали возражения против «тюркского посредства». Другое исходное слово (арабизированное перс. *bussad* «коралл») предложил К. Менгес; изучением тюркского этапа заимствования (**büsьr* > булг. *bьsьr* > др.-болг. *бисьръ*) занимался А. Львов. М. Рачева, которая подвела итоги более чем 150-летнего исследования этимологии слова, уточнила исходную арабскую форму и ее значение — собир. *busr* «бусины, пронизы», что представляется наиболее интересным в связи с вопросом о собирательности [9, с. 80—81].

Основываясь на новом болгарском диалектном материале, М. Рачева пришла к выводу, «...что в русский язык слово проникло двумя путями: из языка волжских булгар со значением „бусины, пронизы (собир.)“ и из древнеболгарского языка с книжным значением „жемчуг“, возникшим при переводе греческого слова μαργαρίτης» [9, с. 83].

Семантическая структура слова в древнерусском языке не исчерпывается этими двумя значениями.

В памятниках XVI—XVII вв. естественнонаучного характера — травниках, вертоградах, лечебниках, переведенных с латыни, западноевропейских и западнославянских языков, а также лексиконах того же периода у слова *бисер* появилось значение «драгоценный камень», соответствовавшее лат. *gemma*: Бисеръ камен чстнъ или женчюгъ драгии. Сказ. речем, 234. XVI в. О драгих камениех сиирѣчь о бисерех. Травник Любч., 652 об. XVII в. ~1534 г. Оно, как кажется, осталось незамеченным М. Рачевой, которая пишет: «Древнечешское значение слова *biser* „calculus, gemma" в некоторых памятниках начала XV в. стоит особняком среди известных значений этого заимствования в других языках» [9, с. 83]. Оно отмечено также в памятнике староукраинского языка — Латино-словенском лексиконе Е. Славинецкого (XVII в.): *Gemma*, *a(e)*, *gemmula* — бесеръ, бисерецъ [10]. М. Рачева возводит данное значение к одному из значений араб. *haraz* «жемчуг», «драгоценный камень», «вообще все, что можно нанизать для украшения» [9, с. 83]. При переносном употреблении слова у него появляется значение «сокровище, драгоценность»: Ни дажь целомудриа нашего псомъ, ни бисера дѣвства нашего свиньскимъ человѣкомъ. ВМЧ, Сент. 25—30, 2237. XVI в.

В значении «жемчуг» существительное *бисер* встречается уже в ранних памятниках древнерусской письменности, преимущественно переводных, но также и оригинальных. Значение, соответствовавшее значению исходного арабского слова — «бусины, пронизы, стеклярус» — в русских памятниках отмечается с XVII в.: 630 фунтъ бисеру литого. (Росп. узор.) РИБ II, 567. 1635 г. По таможеннои выписи осталых непроданых товаров... семьсотъ листовъ золота и серебра листового, два пуда бисера цвѣтного. А. Холмог. там. избы, № 1083. 1683 г. Именно оно, по мнению М. Рачевой исконное, возводимое к арабской собирательной форме, оказывается связанным с лексическим значением собирательности. Обладая им, слово *бисер* не употребляется, насколько можно судить по данным памятников, относительно, впрочем, немногочисленным из-за поздней фиксации данного значения, в форме мн. ч. Случай, когда такая форма встретилась в конструкции *с бисеры* (Карманецъ, низанъ жемчюгомъ съ корольки и зъ бисеры. Посольство Барятинского, 519. 1621 г.) при параллельном *с бисером* (Рясы жемчужные съ бисеромъ лазоревы. Оп. кн. Спасо-Евф. м., 10, тж. 13. 1660 г.) может быть обусловлен предшествующей формой *с корольки* и не позволяет делать выводы.

В качестве эквивалента греч. μαργαρίτης «жемчужина» сначала в старославянских, затем древнерусских переводных памятниках *бисер* было воспринято, видимо, как обозначение одного предмета, как конкретно-единичное существительное: Подобьно есть црствие нбсьное члку, ищушу добра бисьра (μαργαρίτας), иже обрѣтъ единъ мъногоцѣньнъ бисьръ (μαργαρίτην) шьдъ продасть вьсе, елико имѣаше, и купи его. (Матф. XIII, 44—45) Остр. ев., 227. 1057 г. Закрепившееся в древнерусском языке значение «жемчужина» у существительного *бисер* обусловило употребление формы мн. ч. для передачи идеи множественности: Топази оны и бисеры многоцѣнными яко лящею весь посыпанъ. Врем. И. Тим., 342. XVII в. Основным для мн. ч. в таких случаях следует считать его наиболее распространенное значение дистрибутивного множества, однако можно предполагать наличие оттенка собирательности.

Довольно рано слово приобретает контекстуальное значение собирательности: Нѣкогда каменьникъ, его же наричють кавидарионъ, имы камень многоцѣньнъ и бисьръ (λίθους πολυτίμους καὶ μαργαρίτας). Патерик Син., 340. XI в. Появление собирательности у *бисер* «жемчуг» зависит от перевода текста в целом: большего или меньшего соответствия греческому оригиналу. При буквальном следовании форма мн. ч. греч. μαργαρίτης передается формами мн. ч. русск. *бисер*: Ни помѣтаите бисъръ вашихъ прѣдъ свиниями, да не поперуть ихъ ногами своими (μαργαρίτας). (Матф. VII, 5) Остр. ев., 60. Си ми суть съмьртьныя побѣды круны, си моего црства цсрьсции бисьри (μαργαρίται). (Сл. Григ. Антиох.) Усп. сб., 401. XII—XIII вв. При достаточно свободном переводе текста как эквивалент

греч. формы мн. ч. в русском употребляется форма ед. ч. существительного *бисер*, которое приобретает таким образом контекстуальное значение собирательности. Впоследствии оно становится вполне обычным и в оригинальных произведениях. Условию его появления большей частью отвечают перечислительные конструкции с другими собирательными с формальным показателем данного значения (*камение*) и вещественными (чаще *золото*) существительными и наличие во фразе глагола типа *украсить*: И жена бяаше одѣна багъромь и чьрвлению, позлащенъмь златъмь и камениемь чьстьныимь, бисьромь украшена (μαργαρίταις). Сл. Иппол. об антихр., 52. XII в. Гдѣ ... вѣнецъ царской, бисеромъ и камениемъ драгимъ устроенъ? Ав. кн. Толк., 575. XVII—XVIII вв. ~1677 г. В тех же ситуациях, поскольку слово обозначало конкретно-единичный предмет, возможно при отсутствии контекстуального значения собирательности употребление формы мн. ч. *бисеры* с указанной выше семантикой.

От слова в этом значении при участии традиционного аффикса собирательности было образовано собирательное существительное *бисерие*, известное уже в ранних памятниках русской письменности (XII в.). В соответствовавших ситуациях оно выступало вместо производящего слова с контекстуальной собирательной семантикой: Яко одежа златотканна бисериемь обнизана и украшена. Хроногр. 1512 г., 23. Это слово не получило большого распространения и отмечено в ограниченном числе памятников (в основном Хроногр. 1512 г., ВМЧ). Форма мн. ч., которую имели аналогичные имена на *-ие*, у существительного *бисерие* не была, видимо, известна.

Со значением «бусины, пронизы, стеклярус», когда слово *бисер* имело лексическое значение собирательности, связано появление сингулятива *бисерина* «одно зерно бисера, бисерина», достаточно, впрочем, позднее в связи с поздней фиксацией такой семантики.

Характерное для переводных произведений и оригинальной литературы определенного жанра (неделового), *бисер* воспринималось как книжное, церковнославянское, стилистически маркированное. Противоположным — русским и нейтральным — ощущалось существительное *жемчуг*. Его этимология рассмотрена в работах Х. Д. Фрэна, П. Мелиоранского, Х. Шельда, К. Менгеса, И. Г. Добродомова и др. Тюркское происхождение русского *жемчуг* первым отметил Х. Д. Фрэн; П. Мелиоранский уточнил возможный источник заимствования: не половецкий, а более древний диалект, джекавший или жекавший, коснулся китайского источника слова [11]. И. Г. Добродомов как вероятное называет заимствование русскими этого слова у торков, «...которых историки уже давно отождествляют с узами — гузами — огузами других источников» [12]. Достаточно подробно останавливаясь на китайском обозначении жемчуга *čžьn-čžu*, К. Менгес полагает, что «...слово было заимствовано славянами из какого-нибудь алтайского языка, предшественника половецкого языка на юге России, такого, как, например, язык печенегов или волжских булгар, или же из алтайского слоя языка какого-нибудь другого союза племен, пришедших на запад вместе с гуннами или аварами или вскоре после них» [13].

В языке XI—XVII вв. и современном русском *жемчуг*, как и его предполагаемые источники, обозначает жемчуг, драгоценное перламутровое вещество в форме зерен или шариков белого или розового (реже черного) цвета, добываемое из раковин некоторых моллюсков (ССРЛЯ, IV, с. 73).

Со времени своего появления (первое упоминание в надписи на кресте св. Евфросинии Полоцкой: Злото и серебро, и камѣнье, и жьнчюгъ. Др. пам. [2], 66. 1161 г.) *жемчуг* является словом с лексическим значением собирательности, образуя форму мн. ч., появление которой может быть связано с историей признака совокупного множества у данного существительного.

Жемчуг представляет собой образования шарообразной или неправильной формы, наименование каждого из которых (сингулятив *жемчужина*) появилось довольно поздно. Существовавшая необходимость передать не неопределенное, а точно известное количество экземпляров (зерен) жемчуга привела к появлению у слова значения общего числа: оно могло быть соотнесено с одним и с несколькими зернами жемчуга. Подобное употребле-

ние характерно для таких деловых документов, как духовные грамоты, описи. Духовные грамоты ранее середины XIV в. зафиксировали переходное состояние, т. е. наряду с сохранением прежнего значения совокупного множества, которое предполагает употребление слова в ед. ч., возникновение соотнесенности существительного *жемчуг* с одним предметом, в результате чего для передачи идеи множества появляется форма мн. ч.: Кожухъ желтая обирь с женчугомь... бугаи соболии с наплечки съ великимь женчугомь с каменьемь. Дух. и дог. гр., 8, ок. 1339 г.— 2 чаши золоты с женчуги, блюдце золото с женчугомь с каменьемь. Там же, 7.

Она входит прежде всего в состав предложной конструкции *с жемчуги*, постановка в которой слова в ед. ч. может быть понята как сообщение об одном предмете. С XV в. употребление формы мн. ч. в данной конструкции становится обычным, в XVI—XVII вв.— единственно возможным, независимо от фразового окружения— имен собирательных или единичных: Крестъ воздвизалнои... по рукамъ вдѣлывано каменье и съ жемчюги. Кн. п. Моск. I, 295. 1578 г. Ножны золоты жъ съ яхонты.. и зъ жемчюги. Перс. д., 41. 1615 г. Пят крстов аспидных... з жемчюги и с камен(ь)емъ. Кн. пер. Волог. Спасо-Прилуц. м., 98об — 99. 1653 г. Семантику формы следует, видимо, определить как выражающую значение множества (дистрибутивного) с оттенком собирательности.

Будучи соотнесенным с одним предметом, слово *жемчуг* получило возможность образовывать сочетания с количественными числительными с целью передачи определенного количества: А поминок послал князь великий к Матиашу соболь черный, ноготочки у него золотом окованы с жемчюгом, 20 жемчюгов новгородских на всех ногах, а жемчуг не малый, и хороши и чисты. Дела цесарские, 1488 г. [14]. Сочетания данного слова с числительными распространены и в более позднее время, после появления сингулятива *жемчужина*. Как и употребление формы мн. ч. в конструкции *с жемчуги* и значение общего числа, они являются принадлежностью памятников народно-разговорного языка, деловых документов. В памятниках книжных, неделовых слово сохраняет лексическое значение совокупного множества, в связи с чем в той же самой конструкции с предлогом *с* в этих памятниках употребляется форма ед. ч.: Единъ (венок) бяше украшенъ златомь чстным... другыи же съ женчюгомъ драгымь и великымь блистающься. Пролог, 12. XIII в. Нашли ... единъ ковчежикъ изъ жемчюжной матицы съ жемчюгомъ, зѣло художно здѣланый. Х. Рад., 99. 1695 г.

Лексическое значение собирательности может быть выявлено или усилено благодаря фразовому окружению: определениям *весь*, *всякий* и под., а также глаголам с «общим значением совмещения, соединения» [5, с. 66]. В словосочетаниях с глаголами (*на*)*низать*, *обнизать*, (*у*)*садить*, *обложить* существительное *жемчуг* употребляется в форме ед. ч., которая вместе с данными глаголами передает представление о совокупном множестве: Да пелена сажена жемчюгом. Дух. и дог. гр., 308, ок. 1486 г. Около вѣнца по краемъ обнизано жемчугомъ. Оп. кн. Спасо-Евф. м., 4.

В конструкции с предлогом (*про*)*меж*, *между* слово *жемчуг* также употребляется в форме ед. ч.: Лысинка, по отласу по червчатому низана жемчугомъ; промежъ жемчугу горнатики. Викторов I, Оп. цар. казн., 9, кон. XVI в. Сочетание с предлогом, который употребляется для обозначения пространственных отношений при нахождении какого-либо предмета в кругу однородных предметов и имеет значение «среди», уже подразумевает наличие более чем одного зерна жемчуга, т. е. некое множество. Значение совокупности сохраняется, но в то же время появляется оттенок дистрибутивности под влиянием предполагающего некое разделение, дробность предлога *между*.

Поддерживаемые ослаблением значения совокупного множества формы мн. ч. появляются вне конструкции с предлогом *с*, достаточно, впрочем, редко. Они используются прежде всего для передачи логического множества, осложняясь оттенком дистрибутивности или собирательности. С их помощью передается мысль не просто о множестве предметов, а, вероятно, о множестве определенном, хорошо известном, что является одним из наи-

более распространенных значений простых форм мн. ч.: А то каменье и жемчуги на калпацѣ на моем. Дух. и дог. гр., 352. 1503 г. У Макарьи у Григор(ь)ева на Колмогорах взял двѣ гривны за жемчюги. Кн. прих. Корел. м. № 941, 8об — 9. 1572—75 гг.

Как у существительного, обозначающего вещество, у формы мн. ч. *жемчуги* в некоторых случаях можно предположить свойственную вещественным именам лексикализацию, т. е. указание на виды, сорта называемых веществ. Это значение, которое следовало бы ожидать как основное, в действительности встречается редко: Память товарамъ немецкимъ всякимъ, и ефимкамъ, и золотымъ, и сукнамъ, и жемчугамъ и всякой купеческой рухляди, по чему на Москвѣ и на Мурманскомъ и въ нѣмцахъ купять и продають. Торг. кн., 116. XVII в. ~ XVI в.

Поскольку несмотря на отмеченные процессы существительное *жемчуг* сохраняло значение собирательности в форме ед. ч., от него с помощью суффикса единичности *-ин(а)* был образован сингулятив *жемчужина* «одно зерно жемчуга, жемчужина»: Да три цаты съ яхонты, и з жемчужинами, и с плохим камен(ь)ем. Дух. и дог. гр., 410, до 1521 г. Появление сингулятива было возможно именно благодаря сохранению признака совокупного множества у производящего слова, так как «...производные существительные с модификационным значением (единичные, собирательные, уменьшительные...) сохраняют это значение только при условии структурно-семантической оппозиции их производящим словам» [15, с. 70].

Сингулятивы на *-ин(а)* от слов с лексическим значением собирательности появляются с начала XVI в. и «...называют не лицо или предмет вообще, а лицо или предмет, выделенные из числа подобных лиц или предметов» [15, с. 67]. Именно этим может быть объяснено одновременное употребление в грамоте нач. XVI в. *з жемчуги и з жемчужинами*, где форма мн. ч. первого слова передает значение множественности с оттенком совокупности, а второго — обозначает выделяющиеся из совокупности предметы.

С появлением слова *жемчужина* представилась возможность выразить определенное количество зерен жемчуга сочетанием данного слова с количественными числительными. Существительное *жемчуг* в форме ед. ч., под которым в некоторых случаях подразумевается такое словосочетание, выступает в качестве формы мн. ч. сингулятива, приобретая значение известного, определенного множества, свойственное простым формам мн. ч.: 21 жемчюжина да искорка яхонтовая красна, сказал Василей, привезъ жемчюгъ из-Иванягорода. А. Моск., 98. 1622 г. Монастырской служебникъ... принесъ четыре жемчужины... тотъ жемчюгъ... Заб. Мат. I, 543. 1699 г.

Признак совокупного множества свойствен существительному *жемчуг* в форме ед. ч. Образуемые словом формы мн. ч., наличие которых не может служить препятствием для включения имени в разряд собирательных, как правило, не имеют такой семантики, обнаруживая, однако, сходство с соответствующими формами имен с формальным показателем собирательности. Как и последние, они имеют значение множественности (дистрибутивной), свойственное мн. ч. имен со значением собирательности в ед. ч. в других языках: λαος, *populus* — «народ», «ополчение» — λαοί, *populi* — «люди», «воины». Появляющийся в некоторых случаях оттенок собирательности у формы *жемчуги* получил в истории русского языка дальнейшее развитие. Позднее она была заменена формой *жемчуга* с окончанием *-а*, для которой, при возможных параллельных формах с другим окончанием (например, *-ы*: *волоса — волосы*), В. В. Виноградов отмечает оттенок совокупности [1, с. 136].

Значение множественности у форм мн. ч. связано с процессом ослабления значения совокупного множества и конкретизацией слова с лексическим значением собирательности, которым подвергались также характеризованные собирательные, в большей степени на *-ье* (*каменье*, *платье*, *оружье* и под.), в меньшей — на *-ство* [16]. Утрата признака неопределенного совокупного количества ведет к нарушению существовавшего в древнерусском языке соответствия собирательность (ед. ч.) — мно-

жественность (мн. ч.), формируя новые отношения единичность (ед. ч.) — множественность/собирательность (мн. ч.), аналогичные для данного понятия в европейских языках: фр. *la perle* «жемчужина» — *les perles* «жемчуг»; нем. *Perle* «жемчужина» — *Perlen* «жемчуг». Ср.: *Sẽmtzuk*, *perle*, жемчуг, *pearl*. *Sžemtzusy*, *perlen*, жемчузи, *pearles*. Псков. разг. II, 84. 1607 г.

Сочетание значения собирательности и единичности, т. е. наличие значения общего числа, возможность выражения которого приобретает слово *жемчуг* в результате процесса конкретизации, отмечено у имен собирательных определенных словообразовательных типов не только в русском, но и других славянских языках. Таковы собирательные на *-ин(а)*, чье значение общего числа основано на семантике суффикса: одновременно отнесенности к целому и обособленности, отдельности: укр. *вільшина* «ольха (дерево)» и «ольшаник»; *лозина* «лоза» и «лозняк»; польск. *brzezina* «береза» и «березняк, березовая роща»; *jedlina* «пихта» и «пихтовый лес»; чеш. *klenina* «клен» и вещественно-собирательное «кленовые дрова»; *lipina* «липа» и «липовые дрова» и под.; лексикализованные *былие*, *зелие*, *оружие* и др. в среднеболгарских, старославянских и древнерусских текстах, единичное значение которых связано с тем же процессом конкретизации.

Наметившаяся в русском языке XI—XVII вв. у собирательных имен на *-ие* (*-ье*) тенденция ослабления значения совокупности и усиления значения множественности создала возможность их семантического сближения с формами мн. ч. соответствующих производящих слов, выражающих ограниченное, известное множество. Как имя с лексическим значением собирательности, *жемчуг* могло выступать в функции *quasiplural*, свойственной «...любым именам, обозначающим совокупность однородных предметов, независимо от способа формирования этого значения» [5, с. 81].

Существительное *бисер* «бусины, пронизы, стеклярус», у которого признак совокупного множества соединен с лексическим значением слова, оказывается вне отмеченных процессов, что обусловлено поздней фиксацией данного значения в русских памятниках и относительно малой употребительностью. В остальных значениях, прежде всего «жемчужина», слово *бисер* приобретает контекстуальное значение собирательности, как все прочие наименования драгоценных камней.

Оба существительных известны не только в древне- и современном русском языке, но и в других славянских языках. Существительное *бисер*, обозначающее жемчуг, сохранилось в словенском, болгарском, сербохорватском языках. В двух последних оно характеризуется лексическим значением собирательности аналогично русскому *жемчуг*. Словенский язык отражает состояние, свойственное русскому языку XI—XVII вв. Существительное *bíser* «жемчужина, перл» является единичным, подобно древнерусскому *бисер* «то же», именем. Значение «жемчуг» со свойственной ему семантикой совокупного множества может быть передано собирательным *biserje* или формой мн. ч. *biseri*.

В восточнославянских языках прежнее, известное, например, по памятникам старобелорусской письменности кон. XVII в. значение «жемчуг» у существительного *бісер* было утрачено. В современных украинском и белорусском, как и русском, слово имеет значение «разноцветные бусины», характеризуясь признаком совокупного множества. Та же семантика отмечена в некоторых говорах болгарского языка, причем в отдельных случаях слово является единичным (Костурская обл.). В качестве наименования жемчуга в белорусском используется собирательное существительное *жэмчуг*, в украинском — редко то же самое при обычных формах мн. ч. *перли*, *перла*.

В западнославянских языках в качестве названия жемчуга употребляется то же заимствование, являющееся формой мн. ч. *perły* конкретного существительного *perła* в польском и собирательным именем *perla* в чешском (при возможной форме мн. ч. *perly*). В старочешском *biser* обозначало драгоценный камень; польск. *bisior* одним из значений имело «бисер, стеклянные разноцветные бусины», являясь в таком случае собирательным.

Таким образом, собирательность может быть свойственна не только именам существительным с формальным показателем данного значения (слав. *-ие*, *-ник*, *-ьство* и др., нем. *ge-*, *-schaft*, *-tum* и т. д.). Признак совокупного множества присущ именам с лексическим значением собирательности. Формы мн. ч. таких существительных в основном не сохраняют значения собирательности, выражая множество (дистрибутивное).

ЛИТЕРАТУРА

1. *Виноградов В. В.* Русский язык. М., 1972.
2. Русская грамматика. Т. 1. М., 1980.
3. *Дегтярев В. И.* Формирование категории вещественности.— ВЯ, 1971, № 6, с. 55—57.
4. *Геккер С. Ф.*, *Мордовина С. П.*, *Романова Г. Я.* Указатель источников Картотеки Словаря русского языка XI—XVII вв. в порядке алфавита сокращенных обозначений. М., 1984.
5. *Еселевич И. Э.* Из истории категории собирательности в русском языке. Казань, 1979.
6. *Десницкая А. В.* Категория собирательности и категория массы в истории грамматического строя албанского языка.— В кн.: Грамматический строй балканских языков. Л., 1976, с. 15.
7. *Дегтярев В. И.* Категория числа в славянских языках. Ростов-на-Дону, 1982.
8. *Бондарко А. В.* Категории и разряды славянской функциональной морфологии (морфологические категории и лексико-грамматические разряды).— В кн.: Славянское языкознание. VII Международный съезд славистов. Доклады советской делегации. М., 1973, с. 52.
9. *Рачева М.* К этимологии слова *бисер*.— СТ, 1978, № 7.
10. Лексикони Е. Славинецького та А. Корецького-Сатановського. Київ, 1973, с. 207.
11. *Мелиоранский П. М.* Турецкие элементы в языке «Слова о полку Игореве».— Известия ОРЯС, 1902, т. 7, кн. 2, с. 287—289.
12. *Добродомов И. Г.* О методах исследования древнейших тюркизмов в составе русского словаря.— ИАН ОЛЯ, 1966, вып. 1, с. 59.
13. *Менгес К.* Восточные элементы в «Слове о полку Игореве». Л., 1979, с. 96.
14. Дела цесарские, № 1, л. 184.— В кн.: *Карамзин М. Н.* Примечания к Истории государства Российского. Т. 4—6. СПб., 1858, с. 71.
15. *Азарх Ю. С.* К истории сингулятивов в русском языке.— Общеславянский лингвистический атлас. 1973. М., 1975.
16. *Еселевич И. Э.* Из наблюдений над формами множественного числа собирательных существительных.— В кн.: Именное словообразование русского языка. Казань, 1976, с. 77—79.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 1 1986

ЖДАНКИН И. В.

К ВОПРОСУ О СЛОЖНОМ СЛОВЕ БЕЗ МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ПРИЗНАКОВ СЛОВЕСНОСТИ

(На материале китайского языка)

В каждом языке имеются свои наиболее типичные способы пополнения словаря. Однако, по-видимому, в любом языке определенное количество новых слов создается без помощи специальных морфологических средств путем простого сложения основ, внешне не отличимых от самостоятельных слов. Последнее обстоятельство нередко ставит язык в затруднительное положение: не имея надежных материальных свидетельств принадлежности таких единиц к определенному уровню, он относится к ним то как к словам, то как к словосочетаниям.

Как известно, письменная традиция таких языков, как русский, немецкий, английский, обычно выделяет слово среди единиц других уровней слитным (слитно-раздельным) написанием его компонентов. Так, судя по письменности, немецкий язык считает сложными словами атрибутивные образования типа *Terrakottafigur* «терракотовая фигура», *Goethezeit* «эпоха Гете», в английском языке словами являются единицы типа *starlight* «свет звезд», *book-shelf* «книжная полка», *kitchen-garden* «огород», в русском — единицы типа *жар-птица*, *рубаха-парень*. Простые сложения напоминают и такие номинации русского языка, как окказиональные существительные *послеобеда*, *довойны* (*в знойное послеобеда*; *давно так не спала*, *с довойны*) [1]. В то же время в английском и русском языках единицы, созданные тем же способом и даже состоящие из тех же материальных элементов, что и упомянутые выше, могут фиксироваться на письме и как словосочетания: *kitchen garden* «огород», *door handle* «дверная ручка», *speech sound* «звук речи», *после обеда*, *после армии* (*оставить баранку на «после обеда»*; *оставить на «после армии»*).

В ряде исследований предпринимались попытки решить проблему уровневой принадлежности простых сложений. В частности, значительное внимание английским образованиям типа *stone wall*, *door handle* уделял А. И. Смирницкий. Причину неоднозначного подхода к казалось бы однопорядковым явлениям он видит в конверсионной омонимии, которая позволяет осмысливать материально один и тот же атрибутивный компонент сложного образования то как основу существительного, то как прилагательное. В итоге он признает рассматриваемые единицы «нестойкими сложными словами, легко распадающимися и превращающимися в словосочетания» [1, с. 133]. К той же категории слов А. И. Смирницкий относит и многоосновные сложные образования типа *Life insurance company*, *Insurance company building* [1, с. 135]. По-видимому, двойственность природы единиц типа *stone wall*, *door handle* не позволяет стандартно фиксировать их как слова, за исключением тех случаев, когда налицо дополнительные признаки словесности (единое ударение, десемантизация одного из компонентов и т. п.).

В китайском языке способ создания слов путем простого сложения основ является преобладающим. Однако китайская иероглифическая письменность не дает возможности судить, в каком случае сложение потенциально самостоятельных элементов привело к созданию сложного слова, а в каком — словосочетания. На письме иероглифы изображаются отдель-

[1] Эти и последующие примеры из английского и русского языков отмечены соответственно у А. И. Смирницкого [1, с. 114—119] и И. С. Улуханова [2, с. 45].

но один от другого, хотя далеко не редки даже общепризнанные случаи обозначения иероглифом части слова. В то же время безразличие китайского письма к разграничению слова и словосочетания отнюдь не означает, что в китайском языке такой проблемы нет. Фактически эта проблема возникла в связи с попыткой перехода от иероглифической к буквенной письменности, но ее значение выходит за рамки чисто прикладного. Выявление ее любых новых сторон позволяет глубже познать строй и характерные черты китайского языка, яснее увидеть и признаки, сближающие его с другими языками мира, и его специфику. Предпринятое нами обследование газетных текстов на китайском языке, в ходе которого мы пытались выяснить роль частотных компонентов в формировании новых единиц номинации и степень распространения свободного производства слов в речи, дало возможность обратить внимание на некоторые существенные аспекты, которые ранее выпадали из поля зрения исследователей проблемы разграничения слова и словосочетания. Разумеется, в рамках короткой статьи данная проблема не может быть рассмотрена в полном объеме. Мы постараемся лишь наметить путь ее решения применительно к единицам одного из наиболее употребительных структурно-семантических типов: именной атрибутивной модели «относительный признак — предмет».

В настоящее время существование в китайском языке категории сложных слов признается практически всеми китаистами. В то же время различные исследователи подходят к выделению сложного слова по-разному. Так, В. М. Солнцев считает, что в силу нечеткости границы между морфемой и простым словом так же нечетка граница между сложным словом и словосочетанием. Принадлежность сложного образования к уровню слова устанавливается надежно лишь в относительно немногих случаях. Вместе с тем, по мнению В. М. Солнцева, выделять слово все же целесообразно и даже необходимо. Для решения этого вопроса предлагается в ряде случаев становиться на практическую точку зрения, в соответствии с которой часть единиц, имеющих одновременно черты слова и словосочетания, может быть условно отнесена к словам [3].

Другой подход к разграничению слова и словосочетания возник в 50-е годы и продолжает практиковаться в работах многих китайских авторов. Его суть заключается в проверке способности того или иного односложного элемента выполнять некоторые синтаксические функции или употребляться как слово в отдельных речевых стилях (в частности, в устной речи), что, по мнению этих авторов, выявляет его синтаксическую самостоятельность. При этом самостоятельное употребление в некоторых речевых стилях не считается доказательством синтаксической самостоятельности единицы. В результате часть однослогов причисляется к разряду морфем, что дает возможность считать включающие их сложные образования словами.

Рассмотренные подходы к разграничению слова и словосочетания каждый по-своему учитывают существенные особенности китайского языка. В то же время сторонники обеих точек зрения в своих выводах относительно пределов категории сложного слова не принимают в расчет результаты важного языкового процесса, который многими своими чертами напоминает словообразование европейских языков. Исследуя китайские тексты, мы обнаружили множество рядов однотипных единиц, подобных приведенным ниже:

1) *цзэжэньгань* «ответственность» (*цзэжэнь* «ответственность», *гань* «чувство»), *гуанжунгань* «гордость» (*гуанжун* «гордость», гань «*чувство*»), *вэйцзигань* «чувство кризиса» (*вэйцзи* «кризис», *гань* «чувство») и т. д.;

2) *баочжашэн* «взрыв» (*баочжа* «взрыв, *шэн* «звук»), *логушэн* «грохот гонгов и барабанов» (*ло* «гонг», *гу* «барабан», *шэн* «звук»), *паошэн* «пушечный выстрел» (*пао* «пушка», *шэн* «звук») и т. д.;

3) *фанчжичан* «текстильная фабрика» (*фанчжи* «текстиль», *чан* «предприятие»), *чжичачан* «чайная фабрика» (*чжи ча* «производить чай», *чан* «предприятие), *толацзичан* «тракторный завод» (*толацзи* «трактор», *чан* «предприятие») и т. д.;

4) *богуан* «блики на волнах» (*бо* «волна», *гуан* «свет»), *юэгуан* «свет луны» (*юэ* «луна», *гуан* «свет»), *дэнгуан* «свет лампы» (*дэн* «лампа», *гуан* «свет») и т. д.;
5) *луюй* «окунь» (*лу* «окунь», *юй* «рыба»), *фан'юй* «карась» (*фан* «карась», *юй* «рыба»), *союй* «щука» (*со* «щука», *юй* «рыба») и т. д.

Основу каждого из таких рядов в структурном и семантическом отношении составляют односложные элементы (*гань* «чувство», *шэн* «звук», *чан* «предприятие», *гуан* «свет», *юй* «рыба» и т. п.), выделяющиеся среди других широтой и обобщенностью своей семантики. Употребление этих односложных единиц в качестве самостоятельных слов чаще всего не исключено, но ограничено определенными конструкциями, стилями, контекстами. В китайском языке, вероятно, насчитываются сотни односложных элементов, способных создавать типовые ряды сложных единиц (на 100 страницах газеты «Жэньминь жибао» мы зафиксировали более 230 таких элементов). Немалое число такого рода аффиксоидов используется, например, при создании терминов. Вместе с тем далеко не каждый однослог китайского языка способен быть аффиксоидом. Так, элемент *шэн* «звук» имеет синонимы *инь* и *сян*. Однако ряд однотипных единиц образует только *шэн*. С другой стороны, помимо *шэн* «звук» в китайском языке существуют другие номинативные единицы именного характера, обозначающие признаки предметов, например, *сэ* «цвет», *гуан* «свет», *чжун* «вес» и т. п. В русском языке атрибутивные образования типа «предмет — признак» по структуре одинаковы: *звук выстрела*, *цвет шкафа*, *свет прожектора*, *вес человека*. Ряды однотипных словосочетаний такого рода практически бесконечны (*цвет машины*, *цвет шкафа*, *цвет костюма*...) и факт их существования не имеет для языка никакого значения. В китайском языке мы встречаем совершенно иную картину. Единицы с компонентом *шэн* «звук», обозначающие звук, производимый каким-либо предметом, образуются в неограниченном количестве от любой подходящей по смыслу основы. В то же время функционирование модели, порождающей единицы с общим компонентом *гуан* «свет», ограничено рамками художественного и художественно-публицистического стилей. Что касается односложных единиц *чжун* «вес» и *сэ* «цвет», то они в функции аффиксоида практически не встречаются.

Таким образом, некоторые атрибутивные образования китайского языка имеют в своей основе специальные односложные элементы с широким и обобщенным значением, самостоятельное употребление которых в большей или меньшей степени ограничено определенными стилями, контекстами, конструкциями. Однотипные образования такого рода образуют подчас весьма значительные ряды. Иными словами, налицо внешняя аналогия со словообразованием. Вместе с тем, если встать на любую из изложенных выше точек зрения, придется признать, что составляющие такие ряды единицы либо не являются словами, либо могут быть названы словами лишь условно, либо принадлежат к разным уровням языка, хотя и являются единицами одного и того же ряда.

Сходство рядов языковых (речевых) образований, содержащих аффиксоиды, со словообразовательными рядами в общепринятом понимании нельзя не учитывать при определении границ слова в китайском языке. Назрела необходимость в более глубоком изучении категории единиц номинации типа *фэншэн* «шум ветра», *дэнгуан* «свет лампы», *толацзичан* «тракторный завод», *луюй* «окунь» на предмет выявления тех черт, которые дают теоретические основания считать их, во-первых, единицами одного и того же языкового уровня и, во-вторых, единицами именно словесного уровня. Ниже предлагаются некоторые соображения по данному вопросу.

Прежде всего, как представляется, следует обратить внимание на то обстоятельство, что в китайском языке существует два структурных типа именных атрибутивных номинаций модели «относительный признак — предмет»: единицы, образованные путем простого соположения компонентов, и комплексы с синтаксическим показателем атрибутивности *ды*. Наличие элемента *ды* свидетельствует о синтаксическом характере единицы, компоненты которой он разделяет. В состав атрибутивного комплекса

с *ды* могут входить только единицы, обладающие синтаксической самостоятельностью. Условно назовем такого рода сложные образования оформленными словосочетаниями.

Категория атрибутивных образований без оформителя определения оказывается в некоторых отношениях довольно разнородной. Компонентами таких единиц могут быть и потенциально самостоятельные слова, и единицы, практически не способные функционировать в речи изолированно от других элементов. Мы не будем, однако, принимать этот признак за основу разделения слова и словосочетания и условно назовем всю категорию атрибутивных единиц, образованных путем простого соположения компонентов, слитными словосочетаниями (этот термин применяется для обозначения сходного явления в некоторых работах по японскому языку [4]).

Итак, оформленные словосочетания отличаются от слитных тем, что в их состав могут входить только самостоятельные единицы. Посмотрим теперь, нет ли между ними других, возможно, более глубоких различий. Для этого вспомним некоторые правила употребления элемента *ды*. Как отмечает Н. Н. Коротков, при именном определении введение *ды* необходимо только «при наличии смысловой и структурной парности обоих членов синтагмы», например, *фуцинь ды муцинь* «мать отца» (без *ды* было бы «отец и мать»). По словам Н. Н. Короткова, желательно вводить *ды* также для обозначения посессивного отношения, тогда как в остальных случаях он применяется для передачи идеи переменности признака (*ханьюй ды юйфа* «грамматика китайского языка», *ханьюй юйфа* — «китайская грамматика»). По Н. Н. Короткову, употребление *ды* становится невозможным, если тот или иной признак не может быть представлен как переменный (*ишан цзяцзы* «вешалка для одежды»). У того же автора читаем, что при глагольном определении *ды* «в большинстве случаев» носит необходимый характер, за исключением случаев, когда определение выражает постоянный признак (*цзучжи синши* «организационные формы») [5].

Таким образом, наличие *ды* в словосочетании связано с обозначением переменности признака (за исключением тех случаев, когда этот грамматический показатель играет чисто формальную роль, разъединяя парные в структурном и смысловом отношении единицы). Напротив, отсутствие *ды* всегда указывает на постоянство признака, обозначаемого атрибутивным компонентом. В одних случаях этот признак заведомо постоянен, в других он может быть представлен и как переменный. В любом случае, однако, отсутствие *ды* связано с определенной понятийной цельностью значения атрибутивной единицы.

В качестве атрибутивных компонентов со значением «относительный признак» в слитных словосочетаниях могут употребляться единицы с общим значением «предмет» или «действие», обычно выполняющие именные и глагольные функции, а также различные по структуре сложные комплексы, не имеющие аналогий ни среди существительных, ни среди глаголов, например, *гаошэ* «зенитный» (*гао* «высокий», *шэ* «стрелять»), *цяньжэнь* «прежний» (*цянь* «прежде», *жэнь* «выполнять обязанности»). Предположим, что атрибутивные компоненты слитных сочетаний — это слова. Следовательно, они должны принадлежать к каким-то классам слов. Если учесть происхождение и функцию этих единиц, то может быть два решения вопроса об их категориальной принадлежности: а) считать, что атрибутивную функцию способны выполнять существительные, глаголы и прилагательные; б) считать, что атрибутивную функцию выполняют только прилагательные и что некоторые относительные прилагательные образуются путем конверсии от соответствующих существительных и глаголов.

На первом этапе проверки можно установить, что единицы именного и глагольного происхождения в качестве атрибутивных компонентов слитных словосочетаний не могут рассматриваться как существительные и глаголы. Общеизвестно, что при выполнении любой синтаксической функции слово должно сохранять наиболее важные свойства своего класса. Между тем единица именного происхождения, например, будучи определением в слитном сочетании, теряет такое свойство существительного, как способ-

ность принимать количественное определение и качественное определение с *ды*[2]. Так, слово *дэн* «лампа» является существительным, о чем свидетельствует, в частности, его способность употребляться в сочетании с определениями *хэнь до* «много», *хуансэ ды* «желтый» (*хэнь до дэн* «много ламп», *хуансэ ды дэн* «желтая лампа»). В то же время к *дэн* «лампа» в слитном словосочетании *дэнгуан* «свет лампы» ни одно из такого рода определений отнесено быть не может (*хуансэ ды дэнгуан* «желтый свет лампы», *хэнь до дэнгуан* «много света лампы»).

Единица глагольного происхождения в качестве атрибутивного компонента слитного сочетания теряет такое свойство глагола, как способность принимать прямое дополнение. Вследствие этого, например, образование *цзучжи синши* «организационная форма» не может быть истолковано как «организовать форму».

Теперь выясним, есть ли основания говорить о существовании в китайском языке единого класса относительных прилагательных. Исходя из одной лишь синтаксической функции (определительной), заведомо считая ее словесной, едва ли правомерно делать такой вывод. Словесный характер позиции определяемого в слитном сочетании вызывает сомнение уже потому, что в ней свободно употребляются единицы, не проявляющие качеств слова отдельно от других элементов (*у* «клевета» в *уцзуй* «преступление — клевета», *я* «утка» в *ядань* «утиное яйцо»). Видимо, следует проверить, как ведут себя рассматриваемые единицы в таких условиях, где они могли бы передать необходимый смысл самостоятельно, без опоры на определяемый компонент атрибутивного образования.

Известно, что в русском языке относительные прилагательные функционируют как обычные слова и вовсе не привязаны к определяемому слову, с которым употребляются в том или ином атрибутивном сочетании: существует, например, словосочетание *станкостроительный завод*, но при необходимости слово *станкостроительный* совершенно свободно употребляется без опоры на слово *завод* (*какой завод? — станкостроительный; среди заводов этого города выделяются станкостроительный и трубопрокатный*). Здесь проявляется естественное для любого языка стремление к экономному использованию своих средств: при возможности язык избегает многократного повторения в речи одного и того же слова, если только оно не играет ключевой роли для понимания. Так, в китайском на вопрос *та ю цзи бэнь шу*? «Сколько у него книг?» дается ответ *та ю лян бэнь* «У него две», в котором опущено слово *шу* «книга». Точно так же опускаются избыточные слова при ответе на вопросы к атрибутивным компонентам оформленных словосочетаний: на вопрос *ши шэммо шибин*? «Какой солдат?» дается ответ *ши чжунго ды* «Китайский», в котором опущено слово *шибин* «солдат». На этом фоне атрибутивные компоненты слитных словосочетаний (если считать их словами) ведут себя весьма странно: в тех случаях, когда обозначаемый атрибутивным компонентом признак не может быть представлен как переменный, слитное словосочетание всегда употребляется целиком (*ши шэммо чан*? «Какой завод?» — *ши цзичуанчан* «Станкостроительный завод»). При возможности представить такой признак в качестве переменного атрибутивный компонент способен употребляться отдельно от определяемого, но в сопровождении служебного элемента *ды* (*ши чжунго ды* «является китайским», *ши гоцзи ды* «является интернациональным»). Таким образом, атрибутивные компоненты слитных сочетаний не проявляют качеств слова — относительного прилагательного вне атрибутивного комплекса, хотя объективная потребность в этом и имеет место. Следовательно, нельзя считать словесной и позицию определения в слитном словосочетании, а слитные словосочетания, в соответствии с принципом уровневой сочетаемости, следует считать словами.

---

[2] В докторской диссертации И. М. Ошанина было высказано положение об утрате признаков части речи прилагательным (существительным), употребленным слитно с существительным в атрибутивном образовании [6]. Однако эта мысль не нашла применения ни в одной из известных нам теорий разграничения слова и словосочетания. Не получила она развития и в работах самого И. М. Ошанина.

Если обобщить все сказанное о слитных словосочетаниях китайского языка, то окажется, что атрибутивные образования этого типа обладают такими важными свойствами слова, как материальная и понятийная целостность, отсутствие синтаксической самостоятельности у компонентов. Как и сложные слова других языков, они практически не допускают разрывов, вклинивания посторонних слов. Разумеется, как и в других языках, здесь могут иметь место исключения, не нарушающие общей картины. Так при перечислении нескольких слов с общим компонентом этот компонент может быть употреблен лишь один раз. При этом нередко используется специальный показатель перечисления *дэн*: *цзичуан*, *цзаочуань*, *дяньши дэн чан* «станкостроительный, судостроительный и телевизионный заводы» (ср. русск. *кино- и фотоаппаратура*).

Свойства оформленных словосочетаний китайского языка прямо противоположны свойствам слитных. Они с легкостью разрываются, допускают вклинивание посторонних слов. Их значение не имеет самостоятельной понятийной ценности. Компоненты словосочетаний этого типа не оставляют никаких сомнений в своей словесной природе, сохраняя в полном объеме свойства соответствующих классов слов. Это, следовательно, и есть словосочетания в общелингвистическом смысле.

В соответствии с предложенным подходом в категорию слова может быть включено большое количество номинативных образований, которые сами состоят из потенциально самостоятельных слов (слово *цзилинь-хуасюэ-гун'е-гунсы-данвэй* «партком компании химической промышленности провинции Гирин» состоит из частей *Цзилинь* «Гирин», *хуасюэ* «химия», *гун'е* «промышленность», *гунсы* «компания», *данвэй* «партком», способных быть словами за пределами включающего их сложного образования). С другой стороны, в эту категорию попадают также номинации, включающие несамостоятельные элементы, соотносимые со словами других языков и участвующие в образовании подчас многих сложных слов, как, например, сложная основа *гаошэ* «зенитный» в *гаошэпао* «зенитное орудие», *гаошэ-цзигуаньцян* «зенитный пулемет» и др. Нередко такие несамостоятельные элементы заносятся в словари как обычные слова. В таких условиях целесообразно, как предлагает известный китайский лингвист Люй Шусян, разграничивать «грамматическое слово» и «словарное слово» [7]. Так, приведенное выше образование *цзилинь-хуасюэ-гун'е-гунсы-данвэй* с грамматической точки зрения относится к словам. В то же время включать его в словари, разумеется, нецелесообразно, поскольку при необходимости оно может быть в более или менее стабильном составе произведено из соответствующих сложных основ (потенциально самостоятельных слов).

Предложенное Люй Шусяном разграничение имеет, однако, лишь чисто практическую ценность, позволяя относительно рационально отбирать материал для словарей. Нам представляется, что в структурном отношении сложные слова китайского языка объективно подразделяются на первичные и вторичные. Первичные сложные слова по своей структуре сближаются с суффиксальными образованиями других языков, однако не могут быть полностью отождествлены с таковыми. Лежащий в основе сложных слов этой группы односложный формант (суффиксоид) обычно так или иначе способен употребляться в речи самостоятельно (если, например, считать проявлением самостоятельности употребление в глагольно-объектном комплексе). Вместе с тем, как отмечалось выше, в качестве словообразовательного элемента китайский однослог приобретает обобщающе-классифицирующее значение, в большей или меньшей степени обособившееся от значения соответствующего слова. В данном значении он употребляется только как словообразовательный элемент. Учитывая это обстоятельство, мы начинаем анализ словоподобного комплекса со словообразовательного элемента: минимальный осмысленный отрезок этого комплекса в составе суффиксоида и ближайшего определения к нему мы считаем первичным сложным словом. Такими же первичными сложными словами будут все оставшиеся потенциально самостоятельные определения. Словоподобный комплекс, включающий такого рода единицы, мы считаем вторичным сложным словом. Так, анализируя атрибутивное об-

разование *нэйлуань-иньмоуцзуй* «преступление — заговор с целью вызвать внутренние беспорядки», мы выделяем минимальный осмысленный отрезок с суффиксоидом *цзуй* «преступление»: *иньмоуцзуй* «преступление — заговор». *Иньмоуцзуй* — первичное сложное слово, как и определение *нэйлуань* «внутренние беспорядки». В целом единица *нэйлуань-иньмоуцзуй* является вторичным сложным словом. В то же время комплексы *вэйфань-цзеяньфа-цзуй* «преступление — нарушение закона о военном положении» и *цзучжи-линдао-фаньгэмин-цзитуань-цзуй* «преступление — организация и руководство деятельностью контрреволюционной группировки», несмотря на свою громоздкость, не раскладываются на составные части. Следовательно, это слова, которые входят в состав своего словообразовательного ряда вместе с такими единицами, как *уцзуй* «преступление — клевета» и *шажэньцзуй* «преступление — убийство».

Таким образом, учет некоторых существенных моментов, которые до сих пор практически выпадали из поля зрения исследователей, позволяет взглянуть по-новому на категорию слова в китайском языке. Предложенный вариант анализа, видимо, может быть использован при исследовании аналогичных явлений других языков. Так, по свидетельству А. И. Смирницкого, атрибутивные компоненты английских образований типа *stone wall*, *door handle* могут осмысливаться не только как основы существительных, но и как прилагательные, приобретая некоторые синтаксические признаки слов этого класса, как, например, сочетаемость с наречием (*purely family gathering* «чисто семейная встреча») [1, с. 127]. Однако на деле адъективация такого рода носит крайне ограниченный характер. Единица *family*, например, способна употребляться как относительное прилагательное отдельно от *gathering* только в сопровождении наречия *purely*, тогда как при попытке ее самостоятельного употребления в этой функции, например, в качестве именной части связочного сказуемого, возникают неправильные высказывания (*that gathering was family*). Точно так же в английском языке совершенно исключены высказывания типа *the wall is stone*, *the handle is door*. Вместе с тем употребление настоящего прилагательного как именной части связочного сказуемого не вызывает никаких затруднений (*the atmosphere was friendly* «атмосфера была дружественной»).

Принятие изложенной выше точки зрения относительно границ сложного слова в китайском языке позволяет внести ряд уточнений в общую картину китайского словообразования. Покажем, например, как практически решается вопрос о степени свободы использования словообразовательных моделей для производства новых сложных слов (здесь и далее речь идет только о первичных сложных словах) непосредственно в речи.

Тот факт, что не всякое слово является единицей языка, общеизвестен. Акад. Л. В. Щерба, например, писал о словах, появляющихся и существующих только в речи, как об одном из неизменных атрибутов устной речи [8]. М. Д. Степанова, Ю. С. Маслов и другие авторы пишут о широком распространении явления свободного производства слов в немецком и английском языках [9]. «Не предусмотренные никакими словарями» слова [8] — обычное явление для русских текстов всех речевых стилей и самой различной стилистической окраски (*тридцатикопеечный*, *девятнадцатиэтажный*, *американо-израильский*, *красно-зеленый*). По мнению ряда авторов, свободное производство слов широко распространено и в китайском языке. Приведем высказывание В. М. Солнцева: «В некоторых языках, например, китайском и других языках китайско-тибетской семьи, а также в типологически близких им языках Юго-Восточной Азии производимость слов в речи — массовое и широко распространенное явление» [3, с. 155]. Предложенный подход к выделению слова полностью подтверждает эту оценку масштабов распространения в китайском языке явления свободного производства слов. Такой подход дает возможность систематически исследовать целый ряд словообразовательных вопросов, в частности, вопрос о свободном производстве слов с помощью маркированных моделей, т. е. правил в рамках словообразовательного типа, которые задают общий для группы слов структурный элемент с определен-

ным лексическим содержанием (аффиксоид) и в отдельных случаях регламентируют семантический тип словообразовательной основы, одновременно уточняя характер ее отношений с аффиксоидом.

Как показывает китайский материал, маркированные словообразовательные модели именного атрибутивного типа «относительный признак — предмет» можно подразделить на несколько групп, в каждой из которых отношения между атрибутивным и определяемым компонентами создаваемых слов складываются в определенной степени специфически, не теряя при этом атрибутивного характера. Группируя модели, мы учитывали также семантические особенности их постоянных и переменных компонентов. Именно они оказывают определяющее влияние на степень свободы использования той или иной словообразовательной модели в речи. Ниже приводится наша классификация маркированных моделей:

1. Модели типа «П[3] + *гуань* „учреждение“». Продемонстрируем их свойства на примере следующего словообразовательного ряда: *чэньлегуань* «выставочный павильон», *дяньингуань* «кинозал», *фаньгуань* «ресторан», *тиюйгуань* «спортзал», *дашигуань* «посольство», *иньшугуань* «издательство» и т. д.

Если обратить внимание на русские эквиваленты единиц китайского словообразовательного ряда, то бросится в глаза неоднородность их внешнего облика. При создании этих единиц номинации были использованы самые разные приемы, они принадлежат к разным уровням языка: *посольство*, *ресторан*, *спортзал* — слова разных типов, *выставочный павильон* — словосочетание. Китайский язык подвел все соответствующие объекты номинации под общую рубрику, выделив в каждом из них черту «учреждение». В единицах ряда этот компонент значения представлен общим структурным элементом *гуань*. Выделение данного признака в качестве основного продиктовано, казалось бы, законами логики. В таком случае другие языки, имеющие сходные черты с китайским в плане словообразования, как, например, немецкий и английский, поступают «нелогично»: подобной словообразовательной рубрики они не выделяют.

Специфика конкретных объектов, объединенных по признаку «учреждение», в словах нашего ряда отражена атрибутивными компонентами *чэньле* «выставлять», *дяньин* «кино», *даши* «посол» и т. д. Выделение этих признаков опять же, казалось бы, вполне логично. Однако теоретически для обозначения соответствующих объектов могут быть использованы и другие, даже более существенные их признаки. В то же время, как показывает практика некоторых языков, для этого сплошь и рядом выбираются далеко не самые существенные параметры [11]. В любом случае ни один самый яркий атрибут не передает субстанционального характера обозначаемой вещи [12].

Модель «П + *гуань* „учреждение“» не регламентирует структурно-семантического характера атрибутивного элемента. Между тем этот фактор оказывает определяющее влияние на отношения между компонентами слова. Поэтому в каждой единице ряда данной модели атрибутивные отношения представлены специфической разновидностью:

а) характеристика учреждения по роду осуществляемой в нем деятельности (*чэньлегуань* «выставочный павильон», букв. «учреждение, в котором что-то выставляется»);

б) характеристика учреждения по предмету, составляющему основу его деятельности (*дяньингуань* «кинозал», букв. «учреждение, в котором показывают кино», *фаньгуань* «ресторан», букв. «пищевое учреждение»);

в) характеристика учреждения по отрасли человеческой деятельности, к которой оно относится (*тиюйгуань* «спортивный зал», букв. « учреждение спорта»);

г) характеристика учреждения по его руководителю (*дашигуань* «посольство», букв. «учреждение посла»);

Представим теперь, что слова модели «П + *гуань* „учреждение“» каждый раз при необходимости свободно создаются в речи. Зная законы

---

[3] Здесь и далее — переменный компонент модели.

языка, в целом не трудно «подогнать» тот или иной объект номинации под правильную рубрику, т. е. в нашем случае выбрать в качестве основы номинации суффиксоид *гуань* «учреждение». Однако в китайском языке существуют другие суффиксоиды, которые частично перекрывают семантику элемента *гуань* «учреждение» (*чу* «место», *юань* «учреждение», *тин* «зал» и т. п.), поэтому спонтанно выбрать нужный словообразовательный элемент не всегда возможно. Выбрать же атрибут, который наилучшим образом характеризовал бы соответствующий объект, еще труднее. Следовательно, при произвольном конструировании слов данной модели для обозначения одного и того же предмета каждый раз появлялась бы новая единица, далеко не всегда способная вызвать нужную ассоциацию у адресата высказывания. Остается признать, что для поддержания нормального общения единицы типа *фаньгуань* «ресторан», *тиюйгуань* «спортзал» и т. п. необходимо держать в памяти и при необходимости воспроизводить в готовом виде.

2. Модели типа «П + *чэ* „поезд“», «П + *цзи* „самолет“». В результате длительного использования в речи словообразовательные модели типа «П + *гуань* „учреждение“» могут приобретать новые значения, которые обычно возникают на базе совокупного значения одного из сложных слов данной модели. Так, в слове *кэчэ* «пассажирский поезд» (от *кэ* «пассажир») элемент *чэ* имеет значение не «средство передвижения», как в словах *хочэ* «поезд», *моточэ* «мотоцикл», *дяньчэ* «трамвай» и т. п., а «поезд», которое образовалось от сложного слова *хочэ* «паровоз, поезд». С другой стороны, в слове *баньчэ* «рейсовый автобус» (от *бань* «очередность») значение суффиксоида *чэ* приобрело другую определенность — «автобус». Таким же образом словообразовательный элемент *цзи* «машина, механизм» приобрел значение «самолет» (от *фэйцзи*). Элементы *чэ* и *цзи* в новых значениях образуют самостоятельные более или менее протяженные ряды сложных слов, например: *хунчжацзи* «бомбардировщик» (от *хунчжа* «бомбить»), *чжаньдоуцзи* «истребитель» (от *чжаньдоу* «бой»), *юйлэйцзи* «торпедоносец» (от *юйлэй* «торпеда»), *цянцзицзи* «штурмовик» (от *цянцзи* «штурмовать») и т. д.

Словообразовательные элементы таких единиц имеют менее широкую семантику, чем в моделях типа «П + *гуань* „учреждение“». Тем не менее их атрибутивные компоненты выбраны также случайно, из разных грамматических и семантических классов. Для поддержания нормального общения единицы типа *кэчэ* «пассажирский поезд», *хунчжацзи* «бомбардировщик» должны храниться в памяти и при необходимости воспроизводиться в речи в готовом виде.

3. Модели типа «П + *чан* „предприятие“». Продемонстрируем их свойства на примере слов следующего ряда: *цзичуанчан* «станкостроительный завод» (*цзичуан* «станок», *чан* «предприятие»), *цзаочуаньчан* «судоверфь» (*цзао чуань* «строить суда», *чан* «предприятие»), *чжичачан* «чайная фабрика» (*чжи ча* «производить чай», *чан* «предприятие») и т. д.

Общим признаком слов, образованных с помощью моделей данного типа, является конкретность семантики их суффиксоидов. Так, безотносительно к какому-либо сложному слову элемент *чан* «предприятие» имеет более узкую семантику, чем, например, суффиксоид *гуань* «учреждение». В ряде случаев модель более строго, чем ранее рассмотренные правила, диктует семантическую принадлежность словообразовательной основы, однако такого рода условия не достигают полной однозначности. Модель «П + *чан* „предприятие“» допускает несколько способов характеристики словообразовательного элемента: по отрасли (*дяньшичан* «телевизионный завод» от *дяньши* «телевидение»), по виду деятельности (*чжичачан* «чайная фабрика» от *чжи ча* «производить чай»), по выпускаемой продукции (*хочайчан* «спичечная фабрика» от *хочай* «спички»). Поэтому, хотя и создаются такие слова легче, чем единицы ранее рассмотренных моделей, подлинная стандартность в их образовании отсутствует. При попытке произвольного конструирования слов данного типа мы неизбежно встретим препятствия, что делает необходимым хранение их в памяти как обычные воспроизводимые единицы.

4. Модели слов типа *люлинь* «ивняк» (*лю* «ива», *линь* «лес»), *живэнь* «японский язык» (*жи* «японский», *вэнь* «язык»). Эти правила предусматривают характеристику словообразовательного элемента по материалу, из которого состоит конкретный объект номинации, либо по национальной или другой принадлежности этого объекта: *сунлинь* «сосновый бор» (*сун* «сосна», *линь* «лес»), *сянцзяолинь* «роща гевеи» (*сянцзяо* «гевея», *линь* «лес») и т. д.;

боланьвэнь «польский язык» (*болань* «Польша», *вэнь* «язык»), *сибаньявэнь* «испанский язык» (*сибанья* «Испания», *вэнь* «язык») и т. д.

В силу стандартного характера соответствующих правил подобные единицы создаются в речи практически беспрепятственно. При этом употребляющиеся в качестве словообразовательных основ названия некоторых крупных стран, а также государств и народов, с которыми Китай в силу их географической близости или по другим причинам поддерживает давние контакты, часто встречаются в сокращенных вариантах (*жи* «Япония, японский», *дэ* «Германия, немецкий», *вэй* «уйгурский» и др.). Названия других стран и народов при создании номинаций этого типа употребляются полностью.

5. Модели создания некоторых географических названий, а также названий некоторых животных, растений и ряда других объектов, например:

бэйцзинши «город Пекин» (*ши* — город), *тяньцзиньши* «город Тяньцзинь», *лоянши* «город Лоян»;

союй «щука» (*со* «щука», *юй* «рыба»), *фан'юй* «карась» (*фан* «карась», *юй* «рыба»), *цзяоюй* «акула» (*цзяо* «акула», *юй* «рыба»);

хуашу «береза» (*хуа* «береза», *шу* «дерево»), *люшу* «ива» (*лю* «ива», *шу* «дерево»), *суншу* «сосна» (*сун* «сосна», *шу* «дерево»).

В отличие от номинаций предыдущего типа, словообразовательные элементы этих единиц своим значением дублируют важный компонент семантики атрибута («город», «рыба», «дерево» и т. п.). Слова типа *бэйцзинши* «город Пекин», *цзяоюй* «акула», *суншу* «сосна» образуются в речи совершенно свободно.

6. Модели типа «П + *шэн* „звук“». Смысловой основой номинаций этого типа, в отличие от всех рассмотренных выше, является не суффиксоид, а словообразовательная основа, хотя создание их становится возможным лишь благодаря наличию в языке соответствующих словообразовательных моделей. Ниже приводится ряд слов, образованных с помощью словообразовательного элемента *шэн* «звук»:

чжуншэн «бой часов» (от *чжун* «часы»), *логушэн* «грохот гонгов и барабанов» (от *ло* «гонг», *гу* «барабан»), *цзишэн* «кудахтанье» (от *цзи* «курица»), *фэншэн* «вой ветра» (от *фэн* «ветер»), *коухаошэн* «возгласы» (от *коухао* «возглас»), *ханьшэн* «храп» (от *хань* «храпеть»), *ланланшушэн* «шелест страниц» (*ланлан* — подражание шелесту страниц, *шу* «книга»).

Как видно из примеров, звук в каждом конкретном случае стандартно характеризуется по своему производителю. При таком распределении смысловой нагрузки, когда основу номинации составляет атрибутивный компонент, а суффиксоид лишь сообщает о нем дополнительную информацию, способ обозначения атрибута в принципе не играет никакой роли. Семантика модели подразумевает, что в качестве словообразовательной основы самостоятельно может выступать лишь единица, обозначающая предмет, с которым связано понятие о каком-то характерном звуковом эффекте. В ряде случаев для создания слов модели «П + *шэн* „звук“» могут использоваться и единицы типа *шу* «книга». При этом для уточнения характера звука нередко прибегают к помощи дополнительных элементов, например, звукоподражательных междометий (*ланланшушэн* «шелест страниц»). Слова моделей типа «П + *шэн* „звук“» могут создаваться в речи практически беспрепятственно.

Таким образом, как и в других языках, в китайском имеются стандартные правила, позволяющие производить слова непосредственно в речи. В рамках именной атрибутивной модели «относительный признак — предмет» нет необходимости запоминать и целиком фиксировать в словарях слова, создаваемые по следующим правилам:

1) соединение суффиксоида со словообразовательной основой, обозначающей материал, национальную или другую принадлежность объекта (*даньфэй* «азотные удобрения», *ланьцюдуй* «баскетбольная команда», *фаюй* «французский язык»).

2) присоединение к словообразовательной основе, обозначающей географические объекты, а также виды животных, растений и ряд других объектов, суффиксоида, который осуществляет операцию включения полученной номинации в определенный класс, дублируя при этом важный компонент значения основы (*лоянши* «город Лоян» , *луюй* «рыба окунь», *чжишуй* «жидкость — сок»),

3) присоединение к словообразовательной основе, являющейся одновременно и смысловой базой номинации, суффиксоида, который сообщает о ней какую-то дополнительную информацию (*баочжашэн* «грохот взрыва», *таолуньфа* «способ обсуждения», *гоцзи-гуаньси-ши* «история международных отношений»).

Свобода использования некоторых моделей оказывается несколько ограниченной вследствие того, что по тем или иным причинам создаваемое в их рамках слово должно состоять из строго определенного количества слогов. Так, модель «П + *гуан* „свет“», как отмечалось выше, не является универсальной при создании слов, обозначающих свет, производимый каким-либо предметом, и используется ограниченно для производства двусложных единиц, предназначенных для обслуживания большей частью художественного и художественно-публистического стиля (*богуан* «блики на волнах», *дэнгуан* «свет лампы», *хогуан* «пламя», *лэйгуан* «слезы» , *сягуан* «заря»). В зафиксированном нами ряду слов с компонентом *гуан* отсутствуют и, видимо, в принципе не могут появиться единицы вроде *таньчжаодэнгуан* «свет прожектора» или *дяньшицзигуан* «свет телевизора».

В речи не могут свободно использоваться маркированные модели, предназначенные для создания слов с суффиксоидом в качестве смысловой базы, но не регламентирующие структурно-семантической принадлежности словообразовательной основы. В ряде случаев такие модели порождают единицы, имеющие ценность только для данной речевой ситуации, но для языка не существенные (*цзеюци* «устройство для экономии горючего», *хунципайчэ* «велосипед (букв. „автомобиль“) марки „Хунци“», *куньнаньдуй* «неблагополучная (букв. „трудная“) бригада». Они порождены, однако, не стандартными правилами и потому не могут считаться единицами речи. Такого рода образования мы считаем окказиональными словами.

Как нам кажется, широкое применение термина «окказиональное слово», имеющее место, например, в работах И. С. Улуханова [2, с. 44], Ю. С. Маслова [10], Б. С. Исаенко [13, с. 239—318], не вполне оправданно. Б. С. Исаенко, в частности, называет слово *цзуаньфа* «способ проникновения» (букв. «способ всверливания») окказиональным, поскольку породившая его обстановка речи «столь специфична, что даже самый смелый лексикограф не рискнет включить его в словарь общенародного языка» [13, с. 303]. Между тем создано это слово столь же беспрепятственно, что и другие слова открытой словообразовательной модели «П + + *фа* „способ“» [*байфа* «способ расстановки», *юйфэйфа* «способ откорма (скота)», и т. п.], и ничем принципиально не отличается от них. По-видимому, это обычное речевое слово, которое бессмысленно выделять среди подобных слов, как в русском языке нет смысла в ряду слов с компонентом *-этажный* выделять (и помещать в словарь) узуальные слова типа *трехэтажный*, *пятиэтажный*, а единицы вроде *семидесятиэтажный* и *трехсотэтажный* считать окказиональными.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Смирницкий А. И.* Лексикология английского языка. М., 1956.
2. *Улуханов И. С.* Узуальные и окказиональные единицы словообразовательной системы.— ВЯ, 1984, № 1.
3. *Солнцев В. М.* Язык как системно-структурное образование. М., 1977.
4. *Пашковский А. А.* Слово в японском языке. М., 1980, с. 145—151.
5. *Коротков Н. Н.* Основные особенности морфологического строя китайского языка. М., 1968, с. 365—366.

6. *Ошанин И. М.* Слово и части речи в китайском языке. М., 1946, с. 383.
7. *Люй Шусян.* Ханьюй юйфа фэньси вэньти. Бэйцзин, 1979, с. 21—22.
8. *Щерба Л. В.* О трояком аспекте языковых явлений и об эксперименте в языкознании.— В кн.: *Щерба Л. В.* Языковая система и речевая деятельность. Л., 1974, с. 24.
9. *Степанова М. Д.* Словообразование и семантические системы (на материале немецкого и английского языков).— В кн.: Структурно-типологическое описание современных германских языков. М., 1966, с. 138.
10. *Маслов Ю. С.* Введение в языковедение. М., 1975, с. 231—232.
11. *Пелевина Н. Ф.* О типологических исследованиях в области семасиологии.— В кн.: Структурно-типологическое описание современных германских языков, с. 235.
12. *Уфимцева А. А.* Лингвистическая сущность и аспекты номинации.— В кн.: Языковая номинация. Общие вопросы. М., 1977, с. 49.
13. *Исаенко Б.* К проблеме границ китайского слова.— В кн.: *Исаенко Б.* Опыт китайско-русского фонетического словаря. М., 1957.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 1 1986

ЛОКШТАНОВА Л. М.

О КАТЕГОРИАЛЬНЫХ ЗНАЧЕНИЯХ ФОРМ ИНДИКАТИВА В ДАТСКОМ ЯЗЫКЕ

История датского языкознания XX в. вплоть до последнего десятилетия характеризовалась почти безраздельным господством идей Х. Вивеля — П. Дидериксена в области теоретической грамматики датского языка [1, 2]. Считалось, в частности, что единицами морфологии могут быть только синтетические элементы. Соответственно в глагольную парадигму включались лишь немногочисленные синтетические формы, в то время как «описательные конструкции» рассматривались в разделах об инфинитиве и причастии. И в наши дни авторитетные датские лингвисты продолжают считать элементами глагольной парадигмы лишь синтетические формы [ср. 3, 4]. Вместе с тем потребности практики преподавания датского языка как родного в самой Дании или как иностранного за рубежом неизбежно приводили к включению аналитических форм в число изучаемых единиц [ср., например, 5, 6]. Однако теоретическому пересмотру положение о синтетизме датской глагольной системы начинает подвергаться лишь в самые последние годы и в первую очередь благодаря осознанию системного характера языка. В этой связи заслуживают самого пристального внимания работы двух датских исследователей, содержащие критику традиционной теоретической концепции. Речь идет о монографии Н. Бервига [7] и о статье Э. Урскоу [8].

Формулируя свое отношение к существующим описаниям глагола в датском, Э. Урскоу пишет, что большинство из них оказываются непригодными — либо неполными, либо совершенно неправильными [8, с. 295]. Э. Урскоу включает в рассмотрение на уровне парадигматики, помимо презенса и претерита, формы перфекта и плюсквамперфекта. Она отмечает также, что на многих кафедрах Копенгагенского университета в качестве основы для контрастивных описаний в последние годы все большее значение приобретает грамматическое учение К. Миккельсена. К. Миккельсен выделил восемь форм индикатива в датском: nutid (præsens), datid (imperfektum), førnutid (perfektum), førdatid (plusquamperfektum), fremtid (futurum), fortidsfremtid (futurum in præterito), førfremtid (futurum exactum), fortidsførfremtid (fututrum exactum in præterito) [9]. Возврат к некоторым положениям работ К. Миккельсена, касающимся номенклатуры глагольных форм в датском, является знаменательным, ибо именно К. Миккельсен представил систему форм датского глагола (в рамках индикатива) с наибольшей полнотой.

Н. Берви г посвящает свою работу сопоставительному исследованию семантической структуры глагола в русском и датском языках, уделяя особое внимание проблемам перевода. Если Э. Урскоу подвергает конкретному анализу четыре формы (презенс, претерит, перфект, плюсквамперфект), то Н. Берви г включает в рассмотрение восемь форм и пытается определить дифференциальные семантические признаки противочленов выделяемых оппозиций.

Очевидно, что определение категориальных значений финитных форм датского глагола возможно только на основе системного описания всего комплекса форм, входящих в собственно парадигму и в расширенную парадигму глагола [см. 10], поскольку выделение, классификация и выявление значений единиц языка должны производиться через анализ структуры их отношений в общей системе [11—13]. Так, при интерпрета-

ции дифференциального семантического признака претерита недостаточно учитывать лишь его соотношение с презенсом. Важно выявить различия между значениями претерита и перфекта, претерита и плюсквамперфекта.

Классические датские грамматики включают в систему финитных форм актива четыре формы: презенс, претерит, императив и оптатив (формы страдательного залога на *-s* образуют особую подсистему) [1, 2; 14—16]. Общая классификация финитных форм связывается с выражением «степени реальности» действия («realitetsgraden»). На основе этого родового понятия презенс, претерит, императив и оптатив противопоставляются соответственно как «realitetsform», «afstandsform», «påbudsform» и «ønskeform» [1, с. 140—146; 2, с. 125—127; 14, с. 79—81; 15, с. 24]. Признаком «afstand» датские лингвисты пытаются объединить реальный и ирреальный варианты претерита. Одновременно презенс и претерит противопоставляются как временные формы: «nutidsform» и «datidsform». Эту непоследовательность традиционной концепции критикует Э. Урскоу: «Если в претерите особо подчеркивается абсолютное прошедшее, то представляется непоследовательным утверждение, что такая ярко выраженная временная форма (по П. Дидериксену) также используется для выражения модальных отношений» [8, с. 301].

Весьма важен парадигматический анализ систем генетически родственных языков. Однако осознание своеобразия строя датского глагола должно исключить всякое предвзятое толкование. Приведем некоторые примеры несоответствий норм употребления материально тождественных элементов датского и других германских языков, отмечаемых в лингвистической литературе. О. Есперсен сравнивает: дат. *Jeg* ***har kendt*** *ham i to år* и нем. *Ich* ***kenne*** *ihn seit zwei Jahren*; дат. ***Har*** *De* ***været*** *i Berlin*? и нем. ***Waren*** *Sie in Berlin*? [17, с. 392—394]. Э. Урскоу сопоставляет английский и датский: англ. ***Were*** *you ever in Paris*? и дат. ***Har*** *du* ***været*** *i Paris*?; англ. *I* ***did*** *my best* и дат. *Jeg* ***har gjort*** *mit bedste*; англ. *He* ***did*** *it* и дат. *Det er ham, der* ***har gjort*** *det* [7, с. 296].

Попытки выявить инвариантное значение каждой из финитных форм глагола в датском (прежде всего претерита и презенса) привели к осознанию невозможности сформулировать эти значения в терминах, соответствующих концептуальному представлению о членении времени реальной действительности на настоящее, прошедшее и будущее. О. Есперсен отмечает: «Число временных форм меняется от языка к языку, но настоящее, прошедшее, будущее с их дополнительными подразделениями существуют для всех наций независимо от грамматики языка» [17, с. 371]. Еще Х. Вивель подчеркивал, что при непредвзятом грамматическом анализе формы презенса и претерита неизбежно обнаруживают особый и более случайный характер своего в р е м е н н ó г о значения [1, с. 141]. Э. Урскоу пишет: «Как раз тот факт, что датский в противоположность, например, латинскому имеет столь малую возможность выразить абсолютное время с помощью одних лишь глагольных морфем свидетельствует о том, что надо искать иные основания для установления их коммуникативной функции» [8, с. 302]. К аналогичному выводу приходит и Н. Бервиг: «Следует отказаться от понятия „время“ в качестве основания для определения семантической оппозиции презенса и претерита. Должна быть найдена иная основа. Но какая?» [7, с. 20].

Пытаясь преодолеть противоречия грамматической традиции, Э. Урскоу обращает внимание на известное положение индоевропеистики о первичности категории вида (аспекта) по отношению к категории времени и выдвигает в этой связи в качестве дифференциального семантического признака маркированного претерита значение завершенности действия/состояния по отношению к ситуации речи [8, с. 304]. Соответственно немаркированный презенс не содержит указания на завершенность действия/состояния. Признак завершенности в таком понимании трактуется Э. Урскоу как аспектуальный. В оппозиции «претерит — перфект» немаркированным оказывается перфект [8, с. 311]. Понимание завершенности и аспектуальности оказалось у Э. Урскоу связанным с временной дистантностью. В отношении плюсквамперфекта выдвигается явно несостоя-

тельное утверждение, что эта форма употребляется лишь в случае согласования времен.

Н. Бервиг заменяет признак «время» признаком «перспектива» вслед за Х. К. Сёренсеном, различающим «ближнюю перспективу» («nærperspektiv») и «дальнюю перспективу» («fjernperspektiv») [18]. Отметим, что Н. Бервиг включает в парадигму не только перфект и плюсквамперфект, но также будущее и будущее в прошедшем [7, с. 20—25].

Когда Х. Вивель, П. Дидериксен и др. включали в систему временных форм лишь две синтетические формы, они выделяли для каждой из них по одному инвариантному семантическому признаку. Включение в систему дополнительных элементов должно иметь своим логическим следствием вычленение определенного числа новых признаков. Их количество, распределение и содержание должны соответствовать структуре моделируемой системы в целом. В этой общей системе каждый элемент характеризуется не одним, а рядом дифференциальных признаков[1]. Для интерпретации дифференциальных семантических признаков элементов системы релевантно соотношение всех форм, а не только противочленов отдельных бинарных оппозиций. Так, например, для выявления категориального значения претерита важную роль играет не только оппозиция «претерит — презенс», но и корреляция «претерит — перфект». Некоторые языковые факты приобретают при этом ключевое значение.

Сопоставляя нормы употребления претерита и перфекта и рассматривая их коммутабельность, датские лингвисты отмечают, что обе формы взаимозаменяемы при обозначении денотативного прошедшего только при постановке темпорального обстоятельства после сказуемого: *Jeg* ***reparerede*** *cyklen i går* и *Jeg* ***har repareret*** *cyklen i gar*. Но при начальной позиции обстоятельства *igår* возможен только претерит: *I går* ***reparerede*** *jeg cyklen*. В случае употребления перфекта с обстоятельством времени в постпозиции отмечается как бы побочность, второстепенная значимость указания на время совершения действия [17, 7, 8]. Х. Вивель обращает внимание на логическую выделенность обстоятельства времени в препозиции и связанную с этим норму употребления претерита. Он сопоставляет: *Gud* ***har skabt*** *himlen og jorden*, но *i begyndelsen* ***skabte*** *gud hinlen og jorden*; *damperen* ***har ringet*** *anden gang* (*for to minutter siden*), но *for to minutter siden* ***ringede*** *damperen* [1, с. 144].

В нашем материале обстоятельства времени, обозначающие денотативное прошедшее, встречались только в постпозиции к сказуемому, выраженному формой перфекта. Это означает, что помимо обозначения денотативного прошедшего в датском языке сигнификативно должна быть выражена отнесенность события либо к ориентирам воспроизводимым, находящимся вне речевого акта (мы их называем ситуативными), либо — к ориентирам непосредственно речевым, связанным с актом коммуникации. Событие, представленное как разобщенное (во времени и пространстве) с параметрами коммуникативной ситуации, обозначается претеритом, а событие, неразобщенное с континуумом настоящего, обозначается перфектом. Признак «неразобщенность» отчетливо проявляется, если высказывание, например, связано с наблюдаемым объектом. Х. Вивель приводит характерный контекст: *Det* ***har*** *da* ***været*** *en slem tand* (зубной врач, рассматривая вытащенный зуб, делает заключение по его виду) — *ja, det* ***var*** *en slem tand* (пациент отвечает, основываясь на позитивном знании) [1, с. 179].

О разграничении в обозначении неразобщенного и разобщенного прошедшего события свидетельствует также разная реакция перфекта и претерита на наречие *lige* «только что». По-датски можно сказать *Jeg* ***har*** *lige* ***spist***, но нельзя **Jeg* ***spiste*** *lige* или **Lige* ***spiste*** *jeg* [8].

---

[1] Дифференциальные семантические признаки не равнозначны семантическим свойствам коррелирующих форм, на что обратил особое внимание Р. Якобсон [19].

Любопытно проследить также зависимость значений перфекта и обстоятельств циклического времени от порядка слов: *Vi* ***har spist*** *kl. 5* «Мы поели в 5 часов» обозначает денотативное прошедшее, а *kl. 5* ***har*** *vi* ***spist*** «В 5 часов мы поедим» обозначает денотативное будущее. Аналогично *Han* ***er rejst*** *den 3. maj* «Он уехал 3-го Мая» и *Den 3. maj* ***er*** *han* ***rejst*** «3-го мая он уедет» [17, 7]. Таким образом, начальная позиция обстоятельства времени в сочетании с перфектом является показателем футурального значения перфекта и сигнификативной неразобщенности события и коммуникативной ситуации (за счет прогностического компонента). В этот же ряд фактов вписывается связь футурального значения перфекта с союзами *når* и *hvis*. Союзы *hvis* и *når* сигнализируют об ориентации события на параметры, связанные с коммуникативной ситуацией.

Для определения инвариантного значения датского претерита показательной является также возможность его употребления в предложениях субъективной оценки типа *det* ***var*** *da en dejlig blomst*. Стилистический эффект претерита в этой «особой функции» основан, как отмечают датские грамматисты, на том, что оценка дается как бы на расстоянии. Ни в немецком, ни в английском языках такой вариант претерита невозможен.

При трактовке категориального значения претерита необходимо принимать во внимание и семантические особенности повествовательного претерита, который сочетается с контекстуальными показателями линейного развертывания событий, включая наречие *nu* «сейчас» и обстоятельства следования. Ср.: *Foran domkirken* ***stod*** *træerne næsten nøgne nu* (E. Jensen, Dommen); *Den næste dag* ***var*** *en søndag. Morten* ***var*** *tidlig* ***oppe*** *og* ***tog ud*** *på kirkegården* (M. A. Nexø, Pelle Erobreren).

Претерит с темпоральными ориентирами календарного будущего используется также в художественной фантастике. Ср. действие романа А. Бодельсена, относимого к 2022 г.: *Kronologisk* ***var*** *Bruno enogfirs år, biologisk højst treogtredive, da man* ***vækkede*** *ham fra de frosnes verden for anden gang* (A. Bodelsen, Frysepunktet).

Весь комплекс возможных контекстуальных условий свидетельствует о том, что категориальное значение претерита целесообразно определить как «пространственно-временную разобщенность события и коммуникативной ситуации». На этом значении базируется, конечно, основная денотативная функция претерита — обозначение прошедшего события, разобщенного с моментом речи. Событие, обозначаемое претеритом, располагается на самостоятельной пространственно-временной оси, что обусловливает текстообразующую функцию претерита.

Остальные претеритальные формы датского глагола — плюсквамперфект, будущее в прошедшем I и чрезвычайно редкая форма будущего в прошедшем II, отличаясь от претерита определенными семантическими признаками, также выражают признак «разобщенность» и противопоставляются на этой основе всем презентным формам.

К презентным формам принадлежат помимо презенса, также перфект, футурум и футурум II. Их свойства, обусловленные отсутствием признака разобщенности, ярче всего проявляются, разумеется, в немаркированном презенсе.

Общими для всех презентных форм свойствами являются: 1) обозначение пространственно-временной непрерывности действительности, 2) включение речевого акта и события в эту непрерывность, а отсюда 3) пространственно-временная неразобщенность события и коммуникативной ситуации. Подчеркнем, что под «событием» мы подразумеваем не референцию самого процесса выполнения действия его субъектом, а отнесение всех элементов, образующих нексус, к определенному временному пространству. В связи с этим показательны примеры типа *Caesar* ***skriver*** *i sin gallerkrig..* или *Saxo* ***siger***..., в которых презенс обычно рассматривается как исторический, а его употребление — как транспозиция. С нашей точки зрения, употребление форм презенса в подобных предложениях может быть объяснено с позиций исключительно парадигматических: значение неразобщенности события и коммуникативной ситуации опирается в этих случаях на включенность облигаторного объектного актанта (в том числе

и при незамещенной позиции объекта) в пространственно-временную непрерывность действительности. Тождественные отношения обнаруживаются в страдательных конструкциях типа *Afstandsformen* ***betragtes*** *i Wiwels bog som*.... Возможная замена презенса претеритом свидетельствует лишь о смещении фокуса с объекта на субъект. К актуальному презенсу в широком смысле причисляется также вневременное, обобщающее, качественное, итеративное значение презенса, ибо время протекания события не ограничено никаким темпоральным пределом. Напротив, так называемый актуальный презенс в узком смысле слова, т. е. обозначение процесса, совершающегося или выполняемого именно в момент речи, требует, как правило, введения в датское предложение дополнительных актуализаторов: *Han* ***sidder*** *og drikker te*; *Han* ***er ved at*** *drikke te*; *Grenen* ***er ved at*** *knække* [*Han drikker te* может означать «он пьет (обычно) чай (а не кофе)»; *Grenen knækker* — действие в будущем]. Другие способы выражения длительности: *Priserne* ***er stigende***; *Priserne* ***er faldende***; *Han* ***er døende***.

Темпоральную зону датского презенса можно охарактеризовать, используя формулировку А. И. Смирницкого, как «время, лишь включающее в себя момент данной речи, но по своей длительности не ограниченное какими-либо установленными пределами» [20, с. 340]. В высказываниях, содержащих указание на отнесенность события к определенному темпоральному пределу, употребляется форма перфекта: *Han* ***har boet*** *her s i d e n j u l*; *Jeg* ***har siddet*** *her i t o t i m e r* (инклюзивный перфект).

Датский перфект также является презентной формой, обозначающей событие, не разобщенное с коммуникативной ситуацией и располагающееся на пространственно-временной оси континуума настоящего. О презентном характере перфекта свидетельствуют многочисленные факты, в том числе его сочетаемость с обстоятельствами длящегося настоящего, типа *i de sidste år*, *i år*, *i sæsonen*, *de sidste dage*, *i den seneste tid*, *foreløbig*, *efterhånden* и т. п. Ср.: *I de s i d s t e* ***år har*** *en ny tendens* ***aftegnet sig*** *i billedkunsten*... (Land og Folk, 1982, 21 мая). Презентный характер перфекта обусловлен ориентацией события на предел, совпадающий обычно с моментом речи и обозначаемый эксплицитно наречием *nu* «сейчас». Ср.: *..tror du ikke*, *din mor* ***er kommet*** *hjem n u* (T. Ditlevsen, Barndommens gade). В датском языке нормой является также употребление перфекта в футуральном значении в придаточных времени с союзами *når* и *indtil* (*til*) и условия с союзом *hvis*. Ср.: *Sig*, *at jeg kommer*, *n å r jeg* ***har vasket mig*** (M. Petersen, Kelneren, der stjal sin lykke); *H v i s han ikke* ***er kommet*** *om fem minutter går hun ind igen og lukker ikke op hvis det ringer* (T. Ditlevsen, Barndommens gade).

На связь действия, обозначаемого перфектом, с настоящим указывается во многих работах, посвященных перфекту в германских языках. В. Н. Ярцева определяет центральную семантическую зону перфекта для однопорядковых форм английского и немецкого языков как «факт свершения действия и факт его связи с тем, что продолжает существовать и в настоящий момент» [21, с. 78—79]. Г. Н. Воронцова характеризует категориальное содержание перфекта в английском языке как значение преемственной связи между настоящим и прошлым [22, с. 20]. Б. Херцлик подчеркивает,что в семантике перфекта наличествует представление о «результате сейчас» или «восприятии сейчас» [23]. Ссылки на авторов, отмечающих связь перфекта с моментом речи, можно было бы значительно расширить. Не касаясь пока оппозиции «перфект — презенс», отметим, что перфект обнаруживает все перечисленные выше свойства презентных форм.

Не образует собственной временной оси и датский футурум (*vil* + инфинитив). С одной стороны, здесь сказывается сравнительно невысокая степень парадигматизации будущего, образованного с помощью широко употребительного модального глагола *ville*, имеющего самостоятельное лексическое значение, а потому сохраняющего прогностический компонент значения, связывающий будущее с речевой ситуацией настоящего. (Будущее со *skulle*, имеющее когортативное значение, мы относим к расширенной парадигме в связи с еще более низкой ступенью грамматизации и

еще более тесной связью со спектром значений самостоятельного модального глагола.) С другой стороны, показательным является распределение форм футурального презенса и футурума в сложных предложениях. В придаточных условных и временных с союзами *når* и *hvis* может употребляться только футуральный презенс [24], а футурум в главном предложении приобретает значение следования. Ср.: *Men når han* ***får*** *det* ***at vide***, ***vil*** *hans øjne nok også* ***blive kønne*** (K. Sønderby, En kvinde er overflødig). С этим согласуется и норма употребления презенса при обозначении конкретного факта, соотнесенного с параметрами календарного будущего, например, в объявлениях: *Banker og sparekasser i Storkøbenhavn* ***holder*** *onsdag før Kristi Himmelfartsdag* ***åbent*** *kl. 9. 30 — 18.00* (Land og Folk, 1983, 15 мая). Аналогичным образом употребляется презенс и в сообщениях о сроке осуществления тех или иных планируемых мероприятий. Ср.: *En meget flittig bankrøver* ***stilles*** *midt i næste måned for en naevningedomstol i Esbjerg...* (Land og Folk, 1983, 18 мая). Невозможно употребление футурума и по отношению к ситуативному моменту (в отличие, например, от русского и немецкого языков), т. е. в плане повествования. Это означает, что датское будущее не имеет самостоятельной фокусирующей функции, его функция только ориентирующая. Симметричное значение имеет и будущее в прошедшем (*ville* + инфинитив), всегда ориентированное на речевой воспроизводимый момент. Само наличие формы будущего в прошедшем свидетельствует об отсутствии независимой точки отсчета у форм будущего, о релятивном характере их значения. По этим причинам события, обозначаемые формами, имеющими показатель футуральности (*vil/ville* + инфинитив), располагаются в датском языке на одной из двух пространственно-временных осей. Отсюда следует, что футурум является презентной формой, обозначающей событие, неразобщенное с коммуникативной ситуацией. Прогностический характер футурума очевиден в следующих примерах: *...denne gang tror jeg virkelig det* ***vil lykkes*** *mig at skabe et værk af blivende værdi...* (F. Søeborg, Den store detektiv); *Kærlighed er et problem, der aldrig* ***vil finde*** *en løsning* (Aktuelt, 1978, 19 ноября); *...det er hans håb, at han inden ret længe* ***vil kunne overraske*** *Dina ved at møde med den længselsfuldt ventede lille roset i knaphullet* (H. Pontoppidan, Når vildgæssene trækker forbi). То же относится и к чрезвычайно редкой форме футурума II, в семантической структуре которой прогностический компонент выступает еще более резко. Ср.: *...den, der har fulgt den foregående udvikling,* ***vil*** *nu* ***have indset...*** (H. Wiwel, Synspunkter for dansk sproglære);— *Nu har De lovet forbrugerombudsmanden at gøre rent bord. Hvornår* ***vil*** *det* ***være sket?*** (Aktuelt, 1978, 19 ноября). В грамматиках приводятся обычно примеры типа *Når du kommer i Oslo,* ***vil*** *han* ***være rejst***, где форма перфектного будущего имеет результативное значение с сохранением ярко выраженного прогностического компонента при сочетаемости с формой футурального презенса (в придаточном возможен также футуральный перфект).

Итак, все маркированные претеритальные формы в датском, положительно выражающие дифференциальный семантический признак «пространственно-временная разобщенность события и коммуникативной ситуации» противопоставлены всем презентным формам, не обладающим этим признаком. Трактуя, вслед за В. Н. Ярцевой, грамматическую категорию как «систему противопоставленных морфологических форм, передающих определенные грамматические значения» [25], мы рассматриваем противопоставление претеритальных и презентных форм как категориальное. Соответствующую категорию целесообразно именовать категорией пространственно-временного дейксиса.

Пространственно-временной дейксис охватывает все формы индикатива и включает бинарные оппозиции, элементы которых противопоставлены по выраженности/невыраженности признака «разобщенность»: «претерит — презенс», «плюсквамперфект — перфект», «будущее в прошедшем — будущее», «будущее в прошедшем II — будущее II». Корреляции между остальными элементами обоих рядов носят осложненный характер, ибо другие формы противопоставлены по двум или даже трем признакам.

Концептуально категория пространственно-временного дейксиса связана с представлением о пространственно-временной прерывности/непрерывности действительности, соотносимой с речевым актом. Экспоненты категории пространственно-временного дейксиса имеют своей семантической функцией отображение реальных событий либо в их связи с параметрами коммуникативной ситуации (*я/ты/здесь/сейчас*), либо в их оторванности от этой ситуации. Из соотнесенности с ситуацией коммуникации вытекает дейктический характер грамматического значения этой категории. Благодаря ориентации всех презентных форм на параметры непосредственной коммуникативной ситуации создается картина пространственно-временной непрерывности действительности с отношениями «одновременно», «до» и «после» речевого акта. Претеритальные формы обозначают события, ориентированные на параметры воспроизводимые, разобщенные с актом коммуникации и располагающиеся на самостоятельной пространственно-временной оси. Это различие релевантно прежде всего при выборе форм, обозначающих денотативное прошедшее (претерит — перфект — плюсквамперфект). В определенных условиях оно важно также и при возможном варьировании в употреблении форм презентного и претеритального будущего.

Неотъемлемым звеном в нашей интерпретации дихотомии презентных и претеритальных форм в датском языке является также трактовка соотношения перфектных и неперфектных, футуральных и нефутуральных форм, потому что содержание именно этих оппозиций раскрывает грамматические истоки выражения реляционных темпоральных значений «до» и «после», создающих картину временного континуума.

Датские перфект и плюсквамперфект обнаруживают редко встречающуюся в других языках симметрию значений. Заметим, что употребление плюсквамперфекта в датском не описано сколько-нибудь адекватно ни в одной работе. Обе перфектные формы выражают отношение действия к внешнему для него темпоральному пределу как ориентиру ретроспекции или пределу пресеченности, в результате чего формируются ретроспективное, ретроспективно-инклюзивное и результативное значения. Ретроспективный или результативный характер значений перфекта и плюсквамперфекта зависят от направленности действия относительно предела. Для выявления характера перфектного значения важны как типы соответствующих темпоральных обстоятельств, так и другие синтагматические факторы: лексико-семантический разряд глагола, порядок слов, употребление артиклей и указательных местоимений, тема-рематическая структура высказывания и т. д.

Парадигматически перфект соотнесен с параметрами коммуникативной ситуации, а плюсквамперфект — с параметрами ситуативными в силу отнесенности этих форм к разным рядам категории пространственно-временного дейксиса. Обозначая событие на оси континуума настоящего, перфект соотнесен с темпоральным пределом, в качестве которого обычно выступает момент речи. Как это ни парадоксально, перфект является в бóльшей мере временной формой, чем презенс.

Симметрия перфекта и плюсквамперфекта поддерживается двумя особенностями в структуре высказываний, связанными с нормами функционирования финитных форм в датском: 1) симметрией плана речи и плана интегрированной (воспроизводимой, репродуцируемой) речи; 2) возможностью транспозиции презенса и перфекта в план повествования. Закономерности формирования ретроспективного значения одинаковы для перфекта и плюсквамперфекта, потому что это значение не модифицируется в зависимости от локализации темпорального предела как ориентира ретроспекции. Что касается результативного значения (результативность интерпретируется в смысле «пресеченность»), то оно модифицируется в зависимости от отнесенности к плану речи или плану повествования. Результативный перфект парадигматически обозначает действие, ориентированное на момент речи как на предел пресеченности в контексте «длительного сейчас». Результативный же плюсквамперфект обозначает пресеченное действие в линейной цепи последовательных событий. При этом результа-

тивный плюсквамперфект в плане интегрированной речи приобретает значение, симметричное значению перфекта в плане речи (что обусловлено ориентацией на речевой момент), в то время как результативный перфект при его транспозиции в план повествования приобретает значение, аналогичное значению совершенности, парадигматически выражаемому плюсквамперфектом. Ср. ретроспективное значение перфекта и плюсквамперфекта: *Hvem er du? **Har** jeg n o g e n s i n d e **set** dig f ø r?* (H. Branner, To minutters stilhed); *Jeg gik over og tog hende i hånden. Det **havde** jeg a l d r i g **gjort** f ø r...* (K. Rifbjerg, Den kroniske uskyld). Результативное значение перфекта в плане речи и плюсквамперфекта в плане интегрированной речи: *Er der **kommet** nogen tilbage?* (E. Hansen, Dæmonernes Port); *Så **er** det **sket**, piger!* (Billedbladet, 1983, 2 июня); *Uden at kunne bevise det vil jeg hævde, at disse udtryk **har bredt sig** i d e s e n e r e å r,... de er blevet hyppigere, navnlig i hovedstadsområdet* (J. Lund, Sprog og sprogbrug i dag); *Nysgerrigheden kæmpede og brød i hende. Hvorfor t r o e d e han ikke, hun **var kommet**? Troede han, at hun ikke elskede ham mere?* (E. Jensen, Dommen); *Det f o r e k o m ham, at der **var sket** noget med værelset* (K. Bjarnhof, Bag haekken). Результативное значение плюсквамперфекта и перфекта в плане повествования: *«Ja, ja» — sagde jeg. S å **havde** jeg **lagt** røret **på** og var på vej ned til skolen igen* (K. Rifbjerg, Den kroniske uskyld); *Min kone **havde sendt** mig i byen for at købe noget pålæg* (F. Søeborg, Afregning); *D a de **er gået**, spiser far og mor resten af æbleskiverne til en ekstra kop kaffe, mens de diskuterer det nye familiemedlem* (T. Ditlevsen, Barndommens gade); *Telefonen står i vindueskamen. Uden han **er vågnet har** Bruno **taget** de fem kolde skridt over gulvet og står med telefonen i hånden* (A. Bodelsen, Frysepunktet). Перфектные формы с результативным значением обладают самостоятельной текстообразующей функцией. Это положение распространяется и на плюсквамперфект. Подтверждением фокусирующей функции результативного плюсквамперфекта служат зачины произведений, опирающиеся на эту форму; включение событий, обозначаемых плюсквамперфектом, в цепочку следующих друг за другом действий; замыкание этой цепочки.

Итак, перфектные формы противопоставлены неперфектным формам по признаку выраженности/невыраженности отношения действия к внешнему для него темпоральному пределу. Противочленами привативных оппозиций являются «перфект — презенс» и «плюсквамперфект — претерит». Корреляция «перфект — футурум» и «плюсквамперфект — будущее в прошедшем» проходит по двум дифференциальным признакам. Перфектными являются также формы будущего II и будущего в прошедшем II, образующие привативные оппозиции с соответствующими формами будущего и будущего в прошедшем. Все финитные формы датского глагола участвуют в противопоставлении по наличию/отсутствию дифференциального семантического признака «предел». На основе данного противопоставления формируется грамматическая категория, которую, видимо, целесообразно назвать к а т е г о р и е й т е м п о р а л ь н о г о а с п е к т а. Можно назвать эту категорию и «видом», учитывая, однако, что видовое противопоставление перфектных и неперфектных форм в датском языке носит а с п е к т у а л ь н ы й, а н е а к ц и о н а л ь н ы й характер.

Для того чтобы проиллюстрировать разницу между акциональным характером русской категории вида и аспектуальным характером видовой дихотомии перфектных и неперфектных форм в датском, рассмотрим перевод примеров, приводимых В. В. Виноградовым [26], на датский язык: (1) *«Вдруг пришел возвратившийся из города обломовский мужик, и он **доставал**, **доставал** из-за пазухи, наконец, насилу **достал** скомканное письмо на имя Ильи Ильича Обломова»* — *«Dybt inde fra blusens gemmer **trak** han **langsomt** noget **ud**, og **kom til sidst frem** med et brev»*; (2) *«О боже, вы мне даете идею: ведь он меня мог убить.— Ну, вас-то он бы не убил.— **Убивал**, **убивал**!»* — *«Ja ja, han ville jo nok ikke have slået Dem ihiel.— Men det var det, han **prøvede** på»*, (3) *«О, будьте уверены, что Колумб был счастлив не тогда, когда он **открыл** Америку, а когда он **открывал** ее»* — *«Kolumbus var ikke lykkelig, da han **opdagede**, men da han **søgte** efter Amerika»*. Ср. также:

Он долго ***решал*** *задачу, но не* ***решил*** — *Han* ***sad længe og prøvede at løse*** *regneopgaven, men* ***kunne ikke***; *Он три раза* ***сдавал*** *экзамены, но все-таки* ***не сдал*** — *Tre gange* ***gik*** *han* ***op*** *til eksamen, men alligevel* ***bestod*** *han* ***ikke***. Полемизируя с Х. К. Сёренсеном, Н. Берниг приводит в качестве адекватного перевода русских предложений а) *Где Вы сегодня* ***пообедали*** *и* б) *Где Вы сегодня* ***обедали?*** датские: а) Hvor ***spiste*** *De til middag i dag?* и б) *Hvor* ***har*** *De* ***spist*** *til middag i dag?* [7, с. 77—78]. Таким образом, становится очевидным, что как бы мы ни называли противопоставление перфектных и неперфектных форм в датском — категорией вида или аспекта — оно не имеет ничего общего с акциональной по своему характеру категорией вида в славянских языках.

Характеризуя формы будущего в их отношении к категории пространственно-временного дейксиса, мы установили, что они не имеют самостоятельной фокусирующей функции и не создают собственного временного пространства. События, обозначаемые футуральными формами, располагаются соответственно либо на оси континуума настоящего, либо на оси разобщенного прошедшего. Все футуральные формы в датском ориентированы на речевой момент — непосредственный или воспроизводимый (план интегрированной речи).

Для интерпретации дифференциального семантического признака футуральных форм существенны следующие закономерности употребления изофункциональных единиц: 1) употребление футурального презенса при указании точного времени предстоящего события; 2) употребление футурального презенса или футурального перфекта в придаточных времени и условия с союзами *når* и *hvis* и футурума в главной части при выражении реляционного значения следования; 3) употребление футурума в предложениях, где в качестве темпоральных ориентиров для форм будущего с реляционным значением «следование» могут выступать различные элементы контекста; 4) употребление футурума в придаточных дополнительных после глаголов ментального значения в презенсе; 5) наличие инфинитива будущего времени, также зависящего от ментальных глаголов (и их эквивалентов). Следует иметь в виду, что при употреблении сочетания «*vil* + инфинитив» с обстоятельствами точного времени, по нашим наблюдениям, и по свидетельству информантов, глагол *ville* выражает волеизъявление, т. е. *Han* ***rejser*** *den 5. juli* «Он уедет 5-го июля», а *Han* ***vil rejse*** *den 5. juli* — «*Он хочет* уехать 5-го июля». С этим согласуется норма употребления футурального презенса при обозначении запланированного предстоящего события. Ср. типичный пример: *Hollandsk TV lavede sidste år en udgave af H. C. Andersens eventyr „Nattergalen“, som* ***sendes*** *i a f t e n... Den danske tekst* ***bliver laest*** *af skuespilleren Fritz Helmuth TV k l o k k e n 1 9. 4 5* (Politiken, 1984, 19 апр.).

В отношении сложноподчиненных предложений с союзами *når* и *hvis* (а также бессоюзных условных) важно учитывать, что при выражении реляционного значения одновременности событий в будущем в главной и придаточной частях, в частности, при характеризующем, качественном, квалифицирующем типе сказуемого в главном, нормой является употребление в нем футурального презенса. При выражении значения следования, напротив, нормой является употребление футурума в главной части. Нормой является также употребление футурума со значением следования после предложенных групп с отглагольным существительным при предлоге *efter* или после наречия *derefter*: *E f t e r S t e r n s b r u g af materialet* ***vil*** *det* ***blive overtaget*** *til Forbundsarkivet i Koblenz* (Land og Folk, 1983, 23 апр.); *E f t e r v a l g e t* ***vil*** *han* ***begynde*** *at tæ nke på sin plads i historien* (Politiken, 1984, 19 апр.).

Прогностический компонент в значении формы футурума сильнее всего выступает в придаточных, зависящих от ментальных глаголов и их эквивалентов: *tro, tænke, mene, formode, regne med. gå ud på, satse på* и др. Например: *Den mest udbredte vurdering g å r u d p å, at der ikke* ***vil ske*** *noget...*; *Det k a n t æ n k e s, at der* ***vil komme*** *bevægelse i forhandlingssituationen...* (Politiken, 1984, 19 апр.). В таких же контекстах употребляется инфинитив будущего времени: *Der kan komme politiske problemer...,*

som f o r m o d e s ***at ville strække sig*** *over næsten to år* (Land og Folk, 1981, 11 дек).

Таким образом, если принимать во внимание не только те случаи, в которых нормой является употребление футурума, но и те контексты, в которых нормой является «неупотребление» этой формы (сфера значений футурального презенса), то характеристика дифференциального семантического признака футурума окажется более узкой, чем «обозначение события в будущем». Рассмотренные ограничения в употреблении этой формы показывают, что сферой обязательного употребления футурума является выражение реляционного значения следования.

Аналогичным дифференциальным семантическим признаком характеризуется форма будущего в прошедшем (*ville* + инфинитив) по отношению к моменту репродуцируемой речи. Разница, однако, заключается в том, что релятивный характер значения формы становится еще более очевидным, поскольку она употребляется преимущественно в придаточных дополнительных предложениях, причем диапазон значений опорных глаголов в главной части значительно расширяется: *sige*, *hviske*, *erklære*, *råbe*, *spørge*, *love*, *meddele*, *fortælle*, *bemærke*, *vide*, *beslutte*, *overveje*, *mærke*, *forstå*, *være sikker på*, *være klar over*, *føle*, *have fornemmelse af* и др. Симметрию будущего и будущего в прошедшем демонстрирует следующий пример: — *T æ n k*, *hvor vanvittigt det* ***vil være*** *at have alle generationer representeret*, *sagde hun. Tipoldebarnets mor t æ n k t e p å*, *hvor vanvittigt morsomt det* ***ville være*** *og lovede at tage barnet med* (F. Søeborg, Fødselsdagen). Форма будущего в прошедшем является также одним из показателей свободно интегрированной произнесенной или внутренней речи (в датских грамматиках в этой связи используется термин «dækning» или «dækket direkte tale» [27, с. 28, 178—184]. Ср.: *Da han var tolv år*, *bestemte han*, *at han ikke ville dø... Maske* ***ville*** *han også* ***blive*** *en stor opfinder eller* ***begive sig*** *ud på farlige rejser i Indien og Afrika...* (K. Bjarnhof, Bag hæ kken). В прямой речи персонажей художественных произведений, а также в актуальных газетных статьях после опорного глагола в претерите, как правило, употребляется не будущее в прошедшем, а будущее I, т. к. в качестве сфокусированного ориентира выступает не момент воспроизводимой речи, а момент непосредственной авторской речи. Ср.: *Han e r k l æ r e d e*, *at Iran* ***vil starte*** *en ny offensiv* (Land og Folk, 1984, 2 марта); *Embedsmanden s a g d e*, *at denne besultning* ***vil skabe*** *alvorlige problemer* (Land og Folk, 1984, 5 марта). Это положение согласуется с основным выводом исследований В. П. Беркова в отношении аналогичных контекстов в норвежском языке [29].

Перфектные формы будущего, которые приводятся в грамматиках, во всех случаях своего употребления могут быть заменены перфектом и соответственно плюсквамперфектом. В нашем материале, а также в материале, собранном Е. В. Бабушкиной [24], имеется всего несколько примеров будущего II и будущего в прошедшем II. Вместе с тем информанты (преподаватели датского языка) воспринимают эти формы как вполне реальные в контекстах с результативным значением футуральных форм: *N å r du k o m m e r til ham*, ***vil*** *han* ***være rejst/er*** *han* ***rejst***; *Han v i d s t e*, *at når han k o m til hende*, ***ville*** *hun* ***være rejst/var*** *hun* ***rejst***»; *I m o r g e n* ***vil*** *hun* ***vaere rejst/er*** *hun* ***rejst***. Футурум II характеризуется признаками «следование» и «предел», а будущее II в прошедшем выражает еще признак «разобщенность».

Таким образом, значение «следование» является дифференциальным семантическим признаком, по которому формы, имеющие показатель футуральности, противопоставлены остальным элементам системы. На основе противопоставления футуральных и нефутуральных форм выделяется грамматическая к а т е г о р и я с л е д о в а н и я. При этом каждая форма индикатива характеризуется выраженностью или невыраженностью дифференциального семантического признака «следование».

Общая система форм индикатива, в которой каждая форма характеризуется пучком из трех дифференциальных признаков, может быть представлена в таблице:

Формы / Признаки	præs.	fut.	fut. II	perf.	præt.	fut. in præt.	fut. II in præt.	plqupf.
разобщенность	—	—	—	—	+	+	+	+
предел	—	—	+	+	—	—	+	+
следование	—	+	+	—	—	+	+	—

Описание семантики форм индикатива, основанное на изучении отношения каждой из них к трем грамматическим категориям, позволяет представить наиболее адекватно принципы функционирования системы [ср. 30].

Грамматические категории пространственно-временного дейксиса, темпорального аспекта (вида) и следования, выделяемые на основе противопоставления форм по трем дифференциальным семантическим признакам, являются сопряженными. При этом категория пространственно-временного дейксиса выступает в качестве основной, а категории темпорального аспекта (вида) и следования — в качестве модифицирующих.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Wiwel H. G.* Sunspunkter for dansk sproglaere. København, 1901.
2. *Diderichsen P.* Elementær dansk grammatik. København, 1976.
3. *Hansen E.* Dæmonernes Port. København, 1980, s. 36.
4. *Lund J.* Sprog og sprogbrug i dag. København, 1982, s. 47—48.
5. *Henningsen H.* 30 Stunden Dänisch för Anfänger. Berlin— München, 1963.
6. *Einersen H. C.* Grund — Dänisch. København, 1963.
7. *Bjervig N.* Tempus og aspekt. København, 1975.
8. *Uhrskov E.* Hvad bruges verbets tempusformer til i dansk?— In: Skrifter for anvendt og matematisk linguistik, 1980, № 6.
9. *Mikkelsen Kr.* Dansk sproglaere. København, 1893.
10. *Локштанова Л. М.* О структуре грамматической категории наклонения в датском языке.— ВЯ, 1983, № 5.
11. *Соссюр Ф. де.* Труды по языкознанию. М., 1974.
12. *Бенвенист Э.* Общая лингвистика. М., 1974.
13. *Солнцев В. М.* Язык как системно-структурное образование. М., 1974.
14. *Rehling E.* Det danske sprog. København, 1951.
15. *Hansen A.* Moderne dansk. Bd. 3. København, 1967.
16. *Jensen E. O.* Dansk grammatik for gymnasiet. København, 1962.
17. *Jespersen O.* Tid og tempus. Fortsatte logisk-grammatiske studier.— Oversigt over det Kongelige Danske Videnskabernes Selskabs Forhandlinger, 1914, № 5—6.
18. *Sørensen H. Chr.* Strukturen i russisk. Bd. 1—2. København, 1973.
19. *Якобсон Р. О.* Круговорот лингвистических терминов.— В кн.: Фонетика. Фонология. Грамматика. М., 1971.
20. *Смирницкий А. И.* Морфология английского языка. М., 1956.
21. *Ярцева В. Н.* Контрастивная грамматика. М., 1981.
22. *Воронцова Г. Н.* Значение перфекта в современном английском языке: Автореф. дис. на соискание уч. ст. докт. филол. наук. М., 1953.
23. *Herzlik B.* Some notes on the Present Perfect.— In: Brno studies in English, V, 1976.
24. *Бабушкина Е. В.* Грамматические средства выражения действия в будущем и их статус в системе датского глагола: Автореф. дис.на соискание уч. ст. канд. филол. наук. М., 1982.
25. *Ярцева В. Н.* Проблема вариативности и взаимоотношение уровней грамматической системы языка.— ВЯ, 1983, № 5, с. 18.
26. *Виноградов В. В.* Русский язык. Грамматическое учение о слове. М., 1947.
27. *Skautrup P.* Det danske sprogs historie. Bd. 4. København, 1968.
28. *Hansen E., Steensig H.* Dansk er mange ting. Sprog og tekst. København, 1981.
29. *Berkov V. P.* Tempusforskyvning i norsk.— Maal og Minne, 1970, № 1—2.
30. *Vannebo K. J.* Tempus og tidsreferanse. Tidsdeiksis i norsk. Oslo, 1978.

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

ОБЗОРЫ

АНТИПОВА А. М.

НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ ПО ИНТОНАЦИИ В СОВРЕМЕННОЙ ЛИНГВИСТИКЕ

Изучение интонации ведется по двум основным направлениям. Первое связано с исследованием различных функций интонации в рамках отдельного языка или в сравнительном плане. Второе направление определяется связью интонации (лингвистики) с другими науками (музыкой, медициной, биологией и др.).

Само понятие интонации постепенно претерпевало изменения в ходе развития науки. Все многочисленные определения интонации, которые встречаются в специальной литературе, можно свести к двум группам: определения, отождествляющие интонацию с речевой мелодикой, и определения, трактующие интонацию как многокомпонентное единство. Первой точки зрения придерживаются многие представители западноевропейской и американской фонетических школ. Для русской лингвистической школы характерно более широкое понимание интонации как некоего многокомпонентного единства. По поводу количества и характера компонентов нет единого мнения. Так, например, А. М. Пешковский [1] включает в понятие интонации мелодику, ритм и тембр. В. М. Всеволодский-Гернгросс [2] понимает под интонацией последовательность тонов, различающихся в отношении высоты, силы, темпа и тембра. Г. П. Торсуев [3] включает в понятие интонации мелодику, ударение, темп, тембр и ритм. Практически эту точку зрения разделяет В. А. Васильев [4], вводя одно уточнение: ритм включается во временной компонент интонации. Большинство фонетистов, рассматривающих интонацию как многокомпонентное единство, сходятся на том, что в состав ее компонентов следует включать речевую мелодику, ударение, временные и тембральные характеристики.

Автор настоящего обзора предлагает два пути (два принципа) классификации интонации: классификацию по линии выделения компонентов интонации и по линии выделения функциональных слоев.

Первая классификация предусматривает выделение основных единиц интонации (мелодии, ударения, темпоральных и тембральных характеристик), которые, в свою очередь, представляют собой сложные системы. Вторая классификация основывается на функционировании интонации. В такой интерпретации интонация предстает как система надсегментных средств, в которой выделяются две взаимообусловленные подсистемы. Графически эти подсистемы и их взаимодействие можно представить следующим образом:

Стрелки указывают на характер взаимодействия этих подсистем: каждый функциональный слой формируется всеми компонентами интонации, но это не означает, что каждый отдельный слой вбирает в себя весь комплекс интонационных средств. В каждом слое используются те средства, которые необходимы для выполнения той или иной функции.

Следует отметить, что рассмотрение интонации как многослойного образования не означает наложения одного слоя на другой, а лишь указывает на полифункциональность интонации.

Интонация может выполнять различные функции. Перечислим те, которые получили освещение в литературе: коммуникативная, выражающаяся в способности интонации формировать коммуникативный тип высказывания; эмоционально-модальная, выражающаяся в том, что интонация способна передавать эмоционально-модальные значения; личностно-социальная, выражающаяся в способности интонации идентифицировать личность говорящего (его пол, возраст, социальное положение, состояние здоровья и т. д.); эстетическая, выражающаяся в способности интонации воздействовать на слушающих, вызывая у них соответствующие эстетические переживания; ритмообразующая, выражающаяся в способности интонации формировать ритмический строй различных видов текстов; организующая, выражающаяся в способности интонации членить текст на части и в то же время объединять части в целое; стилеобразующая, выражающаяся в способности интонации формировать различные по стилю тексты. Все функции взаимосвязаны и проявляются по-разному в разных объектах исследования. Так, коммуникативная и эмоционально-модальная функции раскрываются почти полностью уже в отдельной фразе. Ритмообразующая, стилеобразующая, например, проявляются ярче в тексте. По-видимому, факт большей изученности коммуникативной и эмоционально-модальной функций по сравнению с другими объясняется тем, что в фонетике в течение многих лет объектом исследования была фраза.

Выше было дано определение интонации, которое сформировалось в течение многих десятилетий на основе изучения фразы. Перемещение интереса в область анализа текста вызвало к жизни такое понятие, как «текстовая интонация», или «интонация текста». Объем этого понятия пока не определен. Первые исследования интонации текста были посвящены изучению характера мелодических контуров, типичных для определенных текстов, типов интонационных стыков фраз, временных характеристик различных речевых сегментов и др. [5, 6]. Есть попытка связать понятие «интонации текста» с проблемой сочетаемости тональных контуров и уровней в различных частях текста [7]. Ряд исследований посвящен изучению временных характеристик текста не столько в плане выявления длительности единиц текста, сколько в плане установления временных соотношений между ними [8]. Высказывается мысль, что в анализе интонации текста важным является вопрос о роли интонации в передаче смысла. Следовательно, в изучении интонации текста не столь важно выявление конкретных интонационных моделей, сколь изучение характера усиления и ослабления интонационных характеристик и установления пропорции в частях усиления и ослабления [7].

Переход в область изучения текста дал возможность шире и глубже проанализировать характер и роль паузы, а также взаимодействие паузы и фонационных частей текста как в прозе, так и в стихах. Особенно ярко выявились компенсаторная и эмфатическая функции паузы [9, 10]. Сопоставление длительностей различных единиц текста позволило выявить временные законы гармонии текста [8]. Из сказанного следует, что в настоящее время еще не сложился понятийный аппарат для описания интонации текста, да и поиск путей изучения текста. И это естественно, поскольку текст обнаруживает много проблем как собственно лингвистических, так и таких, в центре которых стоит человек (психологических, социальных, биологических и др.). Остановимся теперь кратко на исследованиях, посвященных различным функциям интонации (в первую очередь, в рамках отдельного языка, а затем и сопоставительных).

Коммуникативная функция. Это направление является наиболее разработанным и представлено именами известных фонетистов, таких, как Г. Суит [11], К. Пайк [12], Д. Джоунз [13], Л. Армстронг и И. Уорд [14], А. Гимсон [15], Д. Болинджер [16] и мн. др. Оно получило широкое развитие в нашей стране, особенно в 50—60-е годы [17—19]. Для исследований этого направления типично понимание интонации как некоего слоя, который накладывается на лексико-синтаксическую структуру и может передавать определенные значения. Такой подход особенно ярко выражен в работах английских и американских фонетистов.

Для советской фонетической школы более характерно рассмотрение интонации в тесном взаимодействии с лексико-синтаксической структурой. В 50—60-е годы появилось много диссертационных работ по проблемам так называемой синтаксической фонетики. Большинство их было направлено на изучение коммуникативной функции. Центром таких исследований явились фонетические лаборатории Москвы, Ленинграда, Минска и других городов. Объектом исследования являлось предложение (фраза). Сначала интонация изучалась в описательном плане — давалось описание интонации различных коммуникативных типов и видов предложений. Затем все большее внимание стало уделяться связи интонации и лексико-синтаксической структуры. Объектом исследования по сути дела явилось высказывание, хотя термин «предложение» продолжал употребляться. В этой области накоплен огромный фактический материал, дающий возможность утверждать, что интонационная структура тесным образом связана с синтаксической и поэтому предсказуема. В частности, порядок слов является тем грамматическим фактором, который особенно тесно соотносится с интонацией. Поясним это на примере; ср. англ.: *Many people come here on Sunday. On Sunday one can see many people here.* Данные предложения членятся по-разному. Если первое реализуется в рамках одной синтагмы, то второе предполагает вычленение обстоятельства в отдельную синтагму. Если различно членение, то очевидна и разница в акцентно-мелодической структуре.

Было установлено, что между синтаксической и интонационной структурой существует связь, однако она не может быть однозначной и прямой. Любая синтаксическая структура допускает варианты интонационной структуры, обусловленные как коммуникативными факторами, факторами стилистического плана, так и индивидуальными особенностями говорящего.

Вернемся к примерам, приведенным выше. Если контекст, в котором могут быть употреблены данные предложения, предполагает нейтральную в эмоциональном отношении ситуацию, то можно утверждать, что обе фразы будут оканчиваться нисходящим тоном. Общий мелодический рисунок будет носить спокойный нисходящий характер. Первая фраза может состоять из одной или двух синтагм. Вторая — из двух. Если эти предложения взяты из диалога, то скорее всего следует ожидать появления скользящей шкалы и, возможно, нисходяще-восходящего тона в первой синтагме второй фразы. Если предположить, что данные предложения читаются ребенком, то следует ожидать более дробного членения и употребления восходящего тона в неконечных синтагмах. Следовательно, отдельная синтаксическая структура, взятая вне контекста (а иногда и в контексте), допускает различные интонационные варианты, которые определяются как самой структурой (порядком слов, коммуникативным типом и т. д.), так и другими лингвистическими и экстралингвистическими факторами. Однако большинство вариантов предсказуемы, если известны воздействующие на интонацию факторы.

Итак, исследования по коммуникативной функции интонации в основном велись и ведутся по линии изучения отдельных коммуникативных типов высказываний в плане выявления роли интонации в формировании данного типа, членения высказывания на части, установления связи между частями и взаимодействия интонации с лексико-синтаксической структурой.

Эмоционально-модальная функция. Исследования, ведущиеся в этой

области, можно разделить на две группы. К первой группе относятся работы, в которых основное внимание сосредоточено на выявлении интонационной модели (чаще акцентно-мелодической), которая способна передавать определенные эмоционально-модальные значения. Объектом таких исследований, как правило, является фраза (utterance). Наиболее полной и популярной работой в этой области является книга Дж. О'Коннора и Г. Арнольда [20]. Авторы дают описание формы и функций десяти моделей (tone groups), которые передают определенные варианты эмоционально-модальных значений. Наиболее полный набор эмоционально-модальных интонационных моделей на материале американского варианта английского языка дан в книге К. Пайка [12].

Вторая группа исследований связана с изучением интонационных средств выражения эмоций или группы эмоций. Такие исследования ведутся, как правило, на материале коротких речевых сигналов (слов, односинтагменных фраз). Делались попытки найти специальные интонации (мелодии), которые выражали бы определенные эмоции. Так, к числу таких специальных мелодий часто относят различные тоны: ровные, нисходяще-восходящие, восходяще-нисходящие [21], а также различные шкалы [22, 19].

Ведутся исследования и в плане изучения физических характеристик. Большинство работ в этой области ограничивается изучением частоты основного тона, времени и интенсивности [23—26]. Исследований, анализирующих роль частичных тонов (гармоник) в передаче эмоций, значительно меньше в связи с трудоемкостью процесса обработки данных. Тем не менее важность таких исследований очевидна, так как они позволяют установить более тонкие формы различий между сходными группами эмоций [27].

Изучение эмоций (их интонационного выражения) ведется как в контрастном предъявлении [28], так и по зонам [29]. Накопленные данные в этой области дают основания полагать, что выделить ведущий акустический коррелят при передаче той или иной эмоции весьма затруднительно.

Исследования в области речевых средств передачи эмоций показывают зонный характер эмоций. Легче устанавливаются различия зонного характера и сложнее определить различия между эмоциями внутри зоны, где незначительный количественный характер изменения («сильнее», «слабее») приводит к появлению качественно новой эмоции. Установлено, что сравнительно легко опознается незначительное количество эмоциональных зон — порядка 10—15: удивление, стыд, страх, радость, печаль и др. [30].

Эмоции хорошо опознаются и в иноязычной речи. Это дает основание полагать, что интонационное выражение эмоций носит универсальный характер. В пользу этой гипотезы говорят следующие факты: 1) передача эмоций у всех людей связана со сходными физиологическими процессами (способом дыхания, кровообращения и т. д.); 2) мимика и жесты (даже слепых от рождения людей) при передаче эмоций во многом сходны.

Работа лингвистов в области изучения интонационного способа выражения эмоций затруднена тем, что пока не выработана более или менее четкая классификация эмоций. Совместные усилия лингвистов и психологов в этой области могут быть плодотворными.

Личностно-социальная функция. Исследования в этой области ведутся по двум основным направлениям: изучение интонации различных местных и социальных диалектов и по линии выявления просодических свойств голоса, способных идентифицировать личность говорящего.

Первое направление связано с диалектологией, и хотя диалектология является хорошо разработанной областью и имеет давнюю историю, интонационные исследования в этой области не носят систематического характера [31, 32]. Некоторое исключение составляет книга Дж. Браун и др. [33] об интонации английского языка в Шотландии. Имеющиеся исследования по интонации различных диалектов английского языка, как правило, носят конкретный характер и обобщить их в краткой статье не представляется возможным.

Второе направление связано с выявлением способности интонации идентифицировать личность говорящего. Большинство исследований в этой области выполнено психологами. Делались попытки классифицировать типы голосов [34], а через голоса и типы личности. Ряд работ посвящен проблеме установления по голосу говорящего его веса, роста, настроения, состояния здоровья, социального положения и даже того, говорит человек правду или лжет [15, 35, 36]. Результаты подобных исследований широко используются в психологии, лечебной практике, криминалистике и других областях.

Довольно широк круг исследований, изучающих возрастные и половые особенности голосов [37]. Делались даже попытки выявить характеристики голоса, которые передают очарование личности говорящего. Такую попытку предпринял П. Леон [38], исследовавший голос Брижит Бардо.

Эстетическая функция. С этим направлением связано изучение интонации с целью выявления тех средств, которые могут воздействовать на слушателя, вызывая у них эстетические переживания. Изучение этого аспекта имеет давнюю историю и связано с развитием ораторского искусства. Еще в древности (Цицерон, Квинтилиан) изучали те свойства голоса, которые необходимы ораторам. Возвращение к этой проблеме отмечается в XIX в., и с тех пор интерес к данному аспекту интонации не ослабевает [39, 40]. Для исследований по ораторскому искусству характерен интерес к таким аспектам голоса, как его звучность, диапазон, вариативность тональных характеристик, вариативность силы звучания,—словом, тем чертам голоса, которые в первую очередь воздействуют на слушателей, вызывая у них интерес и эстетические переживания.

Ритмообразующая функция. В этой области намечаются два направления. Первое можно назвать традиционным, трактующим ритм как временное явление (периодичность явлений, в основном слогов, во времени). Это направление имеет длительную историю и характерно для западноевропейской и американской лингвистических школ. Основными ритмическими единицами признаны слог для так называемых слогосчитающих языков и ритмическая группа (ударный слог с примыкающими безударными словами) для тактосчитающих языков. Исследования в этой области направлены на изучение длительности слога и ритмической группы как на физическом уровне, так и на перцептивном [41, 28].

Второе направление более характерно для русской лингвистической школы. Суть его сводится к тому, что ритм рассматривается как система, состоящая из единиц различных уровней (слога, ритмической группы, синтагмы и т. д.). В рамках этого направления высказываются различные точки зрения по поводу единиц ритма, ведутся споры и по вопросу самого объекта изучения. Второе направление в анализе ритма связано с изучением текста и представляется перспективным, т. к. затрагивает многие глобальные проблемы текста. Основы положения о системном характере текста заложены в работах А. М. Пешковского [42, 43], Б. В. Томашевского [44], В. М. Жирмунского [45], Л. И. Тимофеева [46—48], Б. М. Эйхенбаума [49] и др. Эти положения получили дальнейшую разработку в наши дни [50, 51, 9, 52, 53, 10].

Многие работы по ритму сделаны на основе анализа стихотворного текста [50, 10, 21]. По единодушному признанию всех исследователей, основой единицы стиха является строка. В зависимости от формы стиха значительную роль в его ритмизации могут играть и другие единицы: слог, ритмическая группа, строфа.

Если представление об иерархическом ритмическом построении стиха является более или менее устоявшимся, то вопросы ритма прозы во многом остаются неясными. Обращение к тексту позволяет выявить черты речевого ритма во всех его аспектах. Растет число сторонников положения о системном характере прозаического ритма. Роль ритмических единиц в определенных условиях могут играть все речевые сегменты, начиная от слога и кончая сверхфразовым единством [50]. С обращением к тексту меняется и подход к проблеме речевого ритма.

Организующая функция. Это направление связано с изучением текста и наибольшее развитие получило в 70-е годы. Организующая функция интонации хорошо изучена на уровне фразы и мало изучена на уровне текста. В настоящее время в центре внимания исследователей организующей функции интонации текста стоят две проблемы: проблема связности текста и проблема целостности текста. Первая проблема получила большую разработку, поскольку во многом связана с анализом фразы и ее связи в тексте. Во многих исследованиях текст предстает как цепочка фраз, объединенных между собой различными интонационными способами [5, 54]. Решение второй проблемы — интонационных способов передачи целостности текста — остается пока открытым. Исследователи признают важность решения данного вопроса, но конкретных работ в этой области крайне мало. Основным препятствием здесь является, вероятно, то, что еще не выработан понятийный аппарат и отсутствуют эффективные методики.

Само понятие интонации, выработанное в течение десятилетий на материале фразы и рассчитанное на анализ фразы, не всегда применимо к тексту, особенно при рассмотрении его как целостного образования. Немногочисленные работы в этой области [55—57] сделаны на материале коротких текстов, которые дают возможность раскрыть одну сторону проблемы. Поиск в этой области продолжается. Ряд работ, осуществленных на материале довольно длинных текстов [58, 57], дает возможность расширить круг вопросов, направленных на решение этой проблемы.

К вопросу целостности текста фонетисты подходят с различных сторон: со стороны его ритмической организации, со стороны рассмотрения связей интонации с лексико-синтаксической структурой текста в передаче целостности, со стороны рассмотрения связей интонации и тематического развития сюжетной линии текста и др.

Стилеобразующая функция. В данном направлении [ср. 57] можно выделить два объекта исследования: фразу и текст. Изучение стилеобразующей функции на материале фразы дает возможность провести анализ интонационной формы и путей ее изменения в различных речевых ситуациях. Исследование стилеобразующей функции в тексте позволяет раскрыть межфразовые связи, увидеть полифункциональность интонации и выявить границы интонационных варьирований, определяемых целенаправленностью речи [59, 60]. Исследования в рамках данного направления ведутся по линии выявления номенклатуры интонационных средств, формирующих определенный функциональный стиль, а также установления типов связи внутри интонационных средств и между интонацией и лексико-синтаксической структурой.

В сферу исследований включаются не только прозаические, но и поэтические тексты. Следует отметить, что стихотворными текстами в основном занимались и занимаются стиховеды. Лингвистических работ в этой области сравнительно мало, но они имеют давнюю историю. Широко известны работы Е. Скрипчера [41], Б. М. Эйхенбаума [49], Е. Зоненштайна [61], Л. И. Тимофеева [47]. Труды упомянутых исследователей выявили роль мелодики в формировании стихотворного текста, показали изобразительную функцию интонации, поставили вопросы о характере связи формы и содержания, интонации и синтаксиса. Исследования 20—30-х годов можно считать основополагающими в области интонации стиха.

В поэтических текстах обнаруживаются типы связи, присущие и другим видам текстов. В то же время поэтические тексты обладают яркой спецификой и широкой вариативностью реализации. Находясь как бы между типичными письменными и типичными устными текстами, поэтические тексты дают богатый материал для исследователя как в письменной презентации, так и в устной. Обе формы реализации иногда находятся в прямой корреляции, иногда обнаруживают расхождения не только в форме, но и содержании. По-видимому, этот факт делает исследование стихотворных текстов трудоемким и сложным, что в какой-то степени объясняет малую разработанность этого аспекта лингвистического анализа. А ведь поэтический текст является одним из удобных объектов изучения организующей, стилеобразующей, ритмообразующей и др. функций в силу его крат-

кости (не считая длинных романов в стихах), целостности образа и яркости формы.

Что касается сравнительных исследований, то они имеют давнюю традицию и отличаются хорошо разработанной методикой. Объектом исследования, как правило, является фраза. В этой области накоплен огромный фактический материал, который нуждается в обобщении и классификации.

Следует отметить, что сравнительные интонационные исследования у нас в стране получили особо широкое развитие. Это объясняется многонациональностью нашего государства, большим интересом к изучению языков и необходимостью развития методики преподавания. Большинство исследований ведется по пути сравнения двух языков — обычно родного для исследователя и иностранного. Часто сравниваются языки различных групп. Например, русский — английский, английский —туркменский, английский — эстонский, английский — узбекский, английский — латышский и т. д. Сравнительный анализ ведется также и на материале противопоставления нескольких языков [62, 23].

Область интонационных универсалий является сравнительно новой в плане осмысления и трактовки интонационных явлений. Дальнейшая разработка этой области потребует усилий не только лингвистов, но и специалистов других областей, прежде всего физиологов и психологов.

Сравнительные исследования ведутся и по линии изучения языковой интерференции [63]. Этот способ дает возможность проникнуть в более глубокие и скрытые области, позволяет обнаружить стадии и степень владения иностранным языком и более эффективно разработать методику обучения.

Перейдем теперь к рассмотрению междисциплинарных исследований Связь интонаций, а точнее мелодии отдельного языка и музыки народа — проблема, которая волнует и лингвистов, и музыковедов. Многие исследователи данной проблемы приходят к выводу, что между речевой интонацией определенного языка и музыкой, особенно народной, существует тесная связь. Эта связь и сходство обнаруживаются в том, что интонационная структура и музыкальное оформление основных коммуникативных типов (вопросов и утверждений) имеют много общего и в рисунке мелодии, и размере интервалов.

Очень интересны наблюдения Р. Холла [64], который пытался объяснить, почему музыка Элгара, столь любимая в Англии, мало популярна в других странах. Р. Холл обнаружил в мелодиях Элгара много нисходящих контуров, столь характерных для мелодики английской речи. Диапазонные характеристики также оказались во многом сходны. Следовательно, речевая и музыкальная мелодика — явления взаимосвязанные.

И. Фонадь и К. Магдич [65] провели сравнительное исследование речевой и музыкальной мелодики четырех языков — венгерского, французского, английского и немецкого и обнаружили удивительное сходство речевой и музыкальной мелодик не только внутри одного языка, но и между языками. Данная работа ставит проблему взаимосвязи речевой и музыкальной мелодики шире, выводя ее за рамки одного языка, одной культуры. Аналогичные исследования проводились и Г. Листом [66], который сравнивал тайский язык, с одной стороны, и народную и классическую музыку — с другой. Исследование показало, что связь между речевой мелодией и народной музыкой теснее, чем с классической музыкой. Ряд исследований посвящен тонкому акустическому анализу речевой и музыкальной мелодии [67].

Как отмечают исследователи тонального движения в речи и музыке, основное различие связано с характером изменения мелодики: в музыке изменение носит ступенчатый характер, а в речи более плавный. Количественные изменения в музыке хорошо измеряются на слух (четвертая, восьмая и т. д.), в речи можно определить, какой участок выше, какой ниже, но на сколько выше или ниже, человек определить не может.

Ряд исследований, связанных с изучением речи и музыки, направлен в сторону выявления свойств музыки, которые могут оказывать на человека благотворное влияние, особенно в случаях нервных расстройств [68].

Исследования в области речевой и музыкальной мелодии позволяют поставить вопрос об общности и различии культур, понять причины широкой популярности одних музыкальных произведений и сужения круга любителей других, найти пути изучения и музыки и речи, лежащие за пределами лингвистики и музыковедения.

Изучение интонации больных с различными нарушениями мозговой деятельности (афазия, шизофрения, депрессия) дает возможность обнаружить механизмы порождения речи, установить в ряде случаев связь между характером заболевания и нарушениями в речи. Следует отметить, что специальных исследований в области патологии интонации автору настоящей статьи в доступных ему материалах обнаружить не удалось. Среди исследований по патологии речи есть наблюдения и над интонацией.

Чаще всего в поле зрения исследователей попадает речевая мелодика. Результаты наблюдений нередко носят противоречивый характер. Так, одни ученые отмечают, что при шизофрении наблюдается тенденция к монотону [69], другие же говорят о возрастании тональной вариативности [70] при том же заболевании. Возможно, изучению подвергалась речь больных на разных стадиях заболевания.

У депрессивных больных, как отмечают все исследователи, тенденция к монотону выражена очень ярко. Отмечается также уменьшение интенсивности и замедление темпа [26]. У большинства больных (афазия, шизофрения) наблюдается удлинение пауз, особенно пауз хезитации, часты обрывы фраз. В патологической речи отмечается нарушение и ритмической организации, которая выражается в том, что повторяющиеся элементы (слова, ритмические группы) начинают терять свою вариативность и приобретают черты почти механического сходства [71, 69]. Такой повтор порождает монотонность (часто при нормальной тональной вариативности), при которой ритм теряет свои организующие функции. Повтор элементов дробит временной континуум на сходные временные отрезки. Подобная же ритмическая организация наблюдается и при эколялии [72].

Сопоставительные исследования речи больных и здоровых людей позволяют понять механизмы речи, которые с трудом обнаруживаются в нормальной речи. Тем самым облегчается поиск путей изучения интонации, ее многообразных функций и связей. Союз лингвистов и патологов во многом оказывается полезным как для лингвистики, так и психологии и психиатрии.

Большинство исследований в области возрастной интонации связано с наблюдениями над высотными характеристиками голосов людей разного пола и возраста, тональным контуром, словесными тонами и характером слоговой и ритмической структуры речи. Объектом исследования является как сама речь, так и характеристика латентного периода (детские крики, гуление, лепет).

Наблюдения показывают, что в детских криках и лепете уже заложены многие (особенно тональные) черты будущего языка [73]. Тональный контур по преимуществу носит нисходящий характер. В тональных языках словесные тоны усваиваются ребенком очень рано (к 2—3 месяцам) [74]. Таким образом, тональные характеристики формируются одними из первых. Временные характеристики речевых сегментов также формируются довольно рано (к 2—4 годам) [75]. Таким образом, тональные и временные черты складываются раньше, чем фонологическая система.

Значительное число работ посвящено исследованию высотных характеристик голосов людей различного возраста и пола. Женские голоса формируются примерно к 14 годам. В период полового созревания (13—15 лет) не обнаруживается значительных изменений в высотных характеристиках. Дальнейшие изменения в сторону понижения при переходе к зрелому возрасту незначительны [76, 77].

Мужские голоса претерпевают значительные изменения. В возрасте от 10 до 14 лет наблюдается незначительное понижение (на 2 полутона). В период от 14 до 18 — более значительные изменения (до 10 полутонов). При переходе от молодого к среднему возрасту продолжается процесс понижения (до трех полутонов), а от среднего до 80—90 годов наблюдается повышение (1—3 полутона) [78].

Исследования слоговой структуры показывают, что дети (до 3—4 лет) предпочитают открытые слоги [79]. Такие наблюдения сделаны над речью детей разных языковых групп. По-видимому, это явление носит универсальный характер. Дети также предпочитают так называемый хореический ритм, т. е. структуру ритмической группы, в которой более выделен первый элемент. Исследования интонации разных возрастных групп помогают увидеть пути формирования интонационной системы, характер ее изменения, связь ее компонентов.

В настоящей статье дан краткий обзор основных направлений исследований по интонации. Нами преднамеренно опущен раздел о прикладном изучении интонации, поскольку эта область столь обширна и разнообразна, что требует специального освещения.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Пешковский А. М.* Интонация и грамматика. Л., 1928, с. 458—476.
2. *Всеволодский-Гернгросс В. И.* Теория русской речевой интонации. Петербург, 1922.
3. *Торсуев Г. П.* Обучение английскому произношению. М., 1954.
4. *Vassilyev V. A.* English phonetics. A theoretical course. Moscow, 1970.
5. *Пинаева Ж. Б.* О некоторых интонационных особенностях чтения английских художественных и научных текстов: Дис. на соискание уч. ст. канд. филол. наук. М., 1975.
6. *Шевченко Т. И.* Последовательность контуров в просодии английской речи: Дис. на соискание уч. ст. канд. филол. наук. М., 1973.
7. *Цибуля Н. Б.* Роль интонации в структурировании текста: Дис. на соискание уч. ст. канд. филол. наук. М., 1982.
8. *Немченко Н. Ф.* Некоторые аспекты ритмической организации текста сказки.— В кн.: Фонология и интонация. М., 1983.
9. *Бурая Е. А.* Роль просодии в формировании ритма спонтанной диалогической речи: Дис. на соискание уч. ст. канд. филол. наук. М., 1983.
10. *Карпиченкова Е. П.* О некоторых темпоральных особенностях ритмических единиц стиха.— В кн.: Вопросы фоностилистики. М., 1980.
11. *Sweet H.* A primer of phonetics. Oxford, 1929.
12. *Pike K.* The intonation of American English. Ann Arbour, 1945.
13. *Jones D.* An outline of English phonetics. Cambridge, 1962.
14. *Armstrong L. and Ward I.* A handbook of English intonation. Cambridge, 1963.
15. *Gimson A. C.* An introduction to the pronunciation of English. London, 1972.
16. *Bolinger D.* A theory of pitch accent.— Word, 1958, v. 14, № 2—3, p. 109.
17. *Генина В. Г.* Интонационная структура с обособленной конструкцией в современном английском языке: Дис. на соискание уч. ст. канд. филол. наук. М., 1968.
18. *Дворжецкая Р.* Интонация перечисления в современном английском языке: Дис. на соискание уч. ст. канд. филол. наук. Киев, 1968.
19. *Тихонова И. С.* Интонационно-семантический анализ вводных единиц в английской разговорной речи: Дис. на соискание уч. ст. канд. филол. наук. М., 1985.
20. *O'Connor J. and Arnold G.* Intonation of colloquial English. London, 1973.
21. *Путилова Л. З.* Акустическая структура фраз с терминальным нисходяще-восходящим тоном и его функции в современном южноанглийском литературном произношении: Дис. на соискание уч. ст. канд. филол. наук. М., 1973.
22. *Вишаевская Г. М.* Экспериментально-фонетическое исследование интонационной структуры и функции особенностей низкой мелодической шкалы в английской речи: Дис. на соискание уч. ст. канд. филол. наук. М., 1973.
23. *Dellatre P.* Comparing the prosodic features of English, German, Spanish and French.— International review of applied linguistics, 1962, № 1.
24. *Fairbanks G. and Pronovost W.* Vocal pitch during stimulated emotion.— Science, 1938, № 88, p. 382.
25. *Fairbanks G.* An experimental study of the pitch characteristics of the voice during the expression of emotion.— Speech monograph, 1939, № 6.
26. *Ostwald P. F.* Soundmaking: The acoustic communication of emotion. Springfield, 1963.
27. *Медведева Т. Г.* Просодические и спектральные характеристики эмоционально окрашенной речи (на материале английского языка в сопоставлении с русским): Дис. на соискание уч. ст. канд. филол. наук. М., 1977.
28. *Uldall E.* Dimensions of meaning in intonation.— In: In honour of D. Jones. London, 1964, p. 271.

29. *Кантер Л. А.* Экспериментально-фонетическое исследование интонационной структуры английских речевых единиц, выражающих положительные эмоции (группа «радости»): Дис. на соискание уч. ст. канд. филол. наук. М., 1973.
30. *Витт Н. В.* Об инвариантных зонах эмоциональных состояний, выраженных в интонации. Сообщение II. Исследование интонационного выражения эмоциональных состояний.— Известия АПН РСФСР. М., 1968: Новые исследования в пед. науках, с. 120—125.
31. *Шевченко Т. И.* Социолингвистическая обусловленность эмоциональной интонации (на материале современной английской драмы).— В кн.: Вопросы фоностилистики. М., 1980.
32. *Kingdon R.* A groundwork of English intonation. London, 1959.
33. *Brown G., Currie K. and Kenworthy J.* Questions of intonation. London, 1980.
34. *Crystal D.* Prosodic system and intonation in English. Cambridge, 1969.
35. *Ladefoged P.* Expectation affects identification by listening.— Language and Speech, 1978, v. 21, pt. 4.
36. *Janota P.* Personal characteristics of speech.— Transactions of Czechoslovak Academy of Sciences, 1967, v. 77, № 1.
37. *Key M. R.* Linguistic behavior of males and females.—Linguistics, 1972, 88, p. 15—31.
38. *Leon P.* Contribution à l'étude des Voix de Charme.—Proceedings of the 9th International congress of phonetic sciences. V. 1. Copenhagen, 1979, p. 442 .
39. *Бернштейн С. И.* Стих и декламация.— В кн.: Русская речь. Новая серия. I. Л., 1927, с. 7.
40. *Russel W. and Murdock W. J.* Orthophony or vocal culture in elocution. Boston, 1845.
41. *Scripture E. W.* The physical nature of verse.— Nature, 1924, № 64, p. 534.
42. *Пешковский А. М.* Стихи и проза с лингвистической точки зрения. Л.—М., 1925, с. 143.
43. *Пешковский А. М.* Ритм «стихотворений в прозе» Тургенева.— В кн.: Русская речь. Новая серия. II. Л., 1928, с. 69.
44. *Томашевский Б. В.* Стих и язык. М., 1959.
45. *Жирмунский В. М.* О ритмической прозе.— Русская литература, 1966, № 4, с. 103.
46. *Тимофеев Л. И.* Ритм стиха и ритм прозы.— На литературном посту, 1928, № 19, с. 26.
47. *Тимофеев Л. И.* Теория стиха. М., 1939.
48. *Тимофеев Л. И.* Силлабический стих.— В кн.: Ars poetica. 2. М., 1928, с. 37.
49. *Эйхенбаум Б. М.* Мелодика русского языка.— В кн.: О поэзии. Л., 1969, с. 327.
50. *Антипова А. М.* Ритмическая организация английской речи.: Дис. на соискание уч. ст. докт. филол. наук. М., 1981.
51. *Барышникова К. А.* Ритм — ударение — интонация.— В кн.: Вопросы фонологии и фонетики. Ч. I. М., 1971, с. 23.
52. *Златоустова Л. В.* О ритмических структурах в поэтических и прозаических текстах.— В кн.: Звуковой строй языка. М., 1979, с. 109.
53. *Гальперин И. Р.* Текст как объект лингвистического исследования. М., 1981.
54. *Пономарчук В. А.* Интонационно-структурные особенности диалогических единств с повторами (на материале современного английского языка): Дис. на соискание уч. ст. канд. филол. наук. Киев. 1971.
55. *Анощенкова А. М.* Интонационные характеристики спонтанной речи и чтения диалогического текста: Дис. на соискание уч. ст. канд. филол. наук. М., 1977.
56. *Лопатько В. В.* Просодия периода в английском языке: Дис. на соискание уч. ст. канд. филол. наук. Киев, 1977.
57. *Майорова И. А.* Текстообразующие функции интонации (на материале английского языка): Дис. на соискание уч. ст. канд. филол. наук. М., 1980.
58. *Дубровский Ю. А.* Анализ интонации устного текста и его составляющих. Минск, 1978.
59. *Климов Н. Д.* Изменение относительной длительности элементов фразы в зависимости от стиля произношения.— В кн.: Вопросы филологии и фонетики. Ч. I. М., 1971, с. 121.
60. *Сахарова З. А.* Просодические характеристики сказки (в сопоставлении с русским языком): Дис. на соискание уч. ст. канд. филол. наук. М., 1981.
61. *Sonnenschein E. A.* What is rhythm. Oxford, 1925.
62. *Николаева Т. М.* Фразовая интонация славянских языков. М., 1977.
63. *Поплавская Г. В.* Просодия английских восклицаний в условиях интерференции: Дис. на соискание уч. ст. канд. филол. наук. Минск, 1978.
64. *Hall R.* Elgar and the intonation of British English.— Gramophone, 1953, v. 31, p. 6.
65. *Fonagy I. and Magdics K.* Emotional patterns in intonation and music.— In: Intonation. Ed. by Bolinger D. London, 1972, p. 286.
66. *List G.* Speech melody and sound melody in Central Thailand.— Ethnomusicology, 1961, v. 5, № 1, p. 16.
67. *Fletcher H.* Speech and hearing. London, 1929.
68. *Ostwald P. F.* Sound, music and human behaviour in music therapy.— National association for music therapy. Ed. by Schneider E. H. Kansas, 1960, p. 107.
69. *Greene M.* The voice and its disorder. London, 1964.

70. *Saxman J. H. and Burk K. W.* Speaking fundamental frequency and rate. Characteristics of adult female schizo.— Journal of speech and hearing disorders, 1968, № 11, p. 194.
71. *Винарская Е. Н.* Закономерности распада произвольных артикуляторных навыков русской речи при некоторых очаговых поражениях головного мозга.— В кн.: Теоретическая фонетика и обучение произношению. М., 1975, с. 145.
72. *Buium N., Stuecher H.* On some language parameters of austic echolalia.— Language and Speech, 1974, v. 17, p. 153.
73. *Fay W. H.* On the basis of austistic echolalia.— Journal of communication, 1969, № 2, p. 38.
74. *Jeug H.* The acquisition of Chinese phonology in relation to Jakobson's laws of irreversible solidarity.— Proceedings of the 9th International congr. of phonetic sciences. V.II. Copenhagen, 1979, p. 155.
75. *Hawkins S.* The controle of timing in children's speech.— Proceedings of the 9th International congress of phonetic sciences. V.II. Copenhagen, 1979, p. 142—149.
76. *Duffy R. J.* Fundamental frequency characteristics of adolescent females.— Language and Speech, 1970, v. 13, p. 14—24.
77. *Ferguson Ch.* Introduction to symposium № 3. Aquistion of the phonological system of the mother tongue.— Proceedings of the 9th International congr. of phonetic sciences. V.III. Copenhagen, 1979, p. 217.
78. *Mysak E. D.* Pitch and durstion characteristics of older males.— Journal of speech and hearing disorder, 1959, 2, p. 46.
79. *Лепская Н. И., Винарская Е. Н., Богомазов Г. М.* Способы слогоделения слов детьми разных возрастных групп и современные теории слога (на материале русского языка).— В кн.: Фонология, фонетика, интонология. М., 1979, с. 107.

РЕЦЕНЗИИ

Geschichte der deutschen Sprache. Mit Texten und Übersetzungshilfen. Verfaßt von einem Autorenkollektiv unter der Leitung von W. Schmidt. 5., überarbeitete und erweiterte Auflage. — Berlin: Volk und Wissen Verlag, 1984. 412 S.

Известное берлинское издательство Volk und Wissen (ГДР) выпустило в свет 5-е издание рецензируемого фундаментального труда, посвященного истории немецкого языка. Как и первое издание, опубликованное в 1969 г., оно подготовлено авторским коллективом под руководством проф. В. Шмидта, написавшего и последнее предисловие к книге (сентябрь 1982 г.).

Среди довольно многочисленных трудов, посвященных систематическому изложению вопросов истории немецкого языка и опубликованных не только в странах распространения немецкого языка, но и в других странах, рецензируемая История немецкого языка отличается прежде всего тем, что она объединяет в себе черты как учебника для студентов-германистов, так и своеобразного энциклопедического справочника по истории немецкого языка, рассчитанного на широкие круги специалистов-филологов и других заинтересованных читателей.

Переиздание книги за относительно короткое время в пятый раз определялось не только повседневными нуждами высшей школы, но и стремлением авторов включить в рамки своего изложения результаты новейших исследований в области истории немецкого языка, о чем, в частности, свидетельствует увеличение списка использованной научной литературы с 258 названий в первом издании до 402 работ в рецензируемом. При этом были учтены соответствующие публикации советских германистов — В. М. Жирмунского, М. М. Гухман, О. И. Москальской, Л. Р. Зиндера и Т. В. Строевой, В. Г. Адмони, Н. Н. Семенюк и др.

Книга открывается новым разделом — Введение (с. 19—29), в котором его авторы В. Шмидт и Г. Лангнер дают краткую характеристику языка как исторически развивающегося общественного явления, рассматривают вопросы территориальной и социальной дифференциации языка, анализируют понятие предмета и метода исторического исследования языка, а также останавливаются на проблеме периодизации истории немецкого языка. Здесь, в частности, справедливо подчеркивается, что разделение единого и непрерывного процесса развития языка на отдельные, строгие по времени отрезки или этапы всегда сопряжено с большими трудностями и предпринимается различными авторами по-своему, в зависимости от того, каким критериям (языковым, историческим, социально-экономическим) при этом отдается предпочтение. Так, датирование начала древневерхненемецкого периода языка зависит от того, лежит ли в его основании начало или конец действия так называемого древневерхненемецкого передвижения согласных или принимаются во внимание другие критерии, например, появление первых письменных свидетельств и др. Приведя две основные периодизационные схемы, в которых хронологические границы отдельных этапов истории немецкого языка (древневерхненемецкий, средневерхненемецкий, нововерхненемецкий периоды) определяются различно [в зависимости от того, выделяется ли в качестве самостоятельного этапа так называемый ранний нововерхненемецкий период (1350 г.— 1650 г.)], авторы излагают свой взгляд на возможности исторической периодизации развития немецкого языка. С одной стороны, они предлагают соотносить состояние языка с этапами всеобщей немецкой истории: немецкий язык раннего средневековья (VI в.— 1050 г.), немецкий язык расцвета средневековья (1050 г.— 1250 г.), немецкий язык позднего средневековья (1250 г.— 1500 г.), немецкий язык нового времени (с 1500 г.). С другой стороны, исходя из распределения признаков исторических изменений в звуковом и грамматическом строе языка, они предлагают придерживаться уже известной классификации, согласно которой выделяются четыре основных периода (древневерхненемецкий с VI в. по 1050 г., средневерхненемецкий с 1050 г. по 1350 г., ранненововерхненемецкий с 1350 г. по 1650 г., нововерхненемецкий с 1650 г.). При этом хронологические границы обеих классификаций, естественно, не совпадают. Так, ранненововерхненемецкий период немецкого языка соотносится не только со временем позднего средневековья, но и охватывает часть периода нового времени.

Исторический очерк развития немецкого языка представлен в разделе «История языка» (с. 30—150). Его авторами являются В. Шмидт и М. Пфютце. Здесь рассматривается прежде всего положение немецкого языка среди германских языков и определяется его классификационное место в группе других индоевропейских языков. Далее авторы обращаются к освещению периода ранней истории немецкого языка, относящегося к эпохе подъема, развития и преобразования феодального общества, т. е. с конца V в.— начала VI в. до периода ранней буржуазной революции. С точки зрения развития языка этот этап охватывает древневерхне-

немецкий, средневерхненемецкий и значительную часть ранненововерхненемецкого периодов. На фоне исторических процессов периода с VI в. по 1500 г. авторы анализируют основные черты языкового развития этого времени: второе, или древневерхненемецкое передвижение согласных, развитие словарного состава немецкого языка и вхождение заимствований из других языков, письменную фиксацию немецкого языка, немецкие диалекты и развитие других форм существования немецкого языка в период раннего и позднего средневековья, развитие надтерриториальных форм письменного и устного языкового общения в период позднего средневековья и основы становления немецкого национального языка.

Следующая часть этого раздела посвящена анализу процесса формирования и развития немецкого национального языка эпохи капитализма, т. е. охватывает период со времени ранней буржуазной революции XVI в. до середины XX в. Хронологически он распадается на два этапа — новонемецкий период (1500 г.— конец XVIII в.) и новейший период немецкого языка (конец XVIII в.— середина XX в.). На фоне анализа политического и общественно-экономического положения, характерного для первого этапа этого периода, авторы рассматривают факторы, определившие основные черты складывавшегося единого типа письменного немецкого языка (Schriftsprache). При этом подчеркивается роль М. Лютера и значение восточносредненемецкого, в частности, верхнесаксонско-мейсенского типа языка для развития немецкого литературного языка. Новейший период в истории немецкого языка ознаменовался выработкой и кодификацией в конце XIX — нач. XX в. единой унифицированной нормы в области произношения и орфографии. Одновременно авторы подчеркивают, что длительный исторический процесс формирования единого литературного языка как высшего продукта языкового развития не привел к распаду или исчезновению старых местных диалектов. Структура современного немецкого языка характеризуется тем, что в нем наряду с литературным языком продолжают существовать и использоваться в своих коммуникативных условиях все основные исторически известные местные диалекты. Они образуют определенную основу исторического развития современного немецкого языка. Между ними и литературным языком постепенно складывались различные формы обиходно-разговорного языка (Umgangssprache), представляющие собой своеобразный результат взаимодействия местных диалектов и литературного языка (с. 136—140).

Авторы раздела отдельно останавливаются на судьбе немецкого языка в период фашистской диктатуры в Германии. На основе конкретных языковых фактов они убедительно раскрывают попытки апологетов нацистской идеологии манипулировать общественным сознанием с помощью языка.

Исторический очерк завершается разделом, посвященным развитию немецкого языка в условиях возникновения в послевоенное время и существования двух самостоятельных германских государств — ГДР и ФРГ. Значительный языковой материал, приводимый авторами в этом разделе, указывает на основные линии, определяющие объективный процесс языковой дивергенции. В заключение авторы подчеркивают, что вследствие «принципиально иных экономических и социальных отношений в ГДР и обусловленных этим особенностей в коммуникации и системе языка, главным образом в лексике, можно говорить о тенденции развития национальных вариантов немецкого литературного языка в ГДР и ФРГ» (с. 150).

Рассмотрение исторического процесса развития системы языка начинается разделом «Древневерхненемецкий язык» (с. 151—208). Он написан З. Чихоцки и Г. Тремпельман. Во введении авторы отмечают, что среди германистов существуют расхождения во мнениях относительно нижней хронологической границы этого периода. Так, Г. Мозер называет язык второй половины V в. до середины VIII в. преднемецким или донемецким (Vordeutsch) и считает началом раннесредневекового немецкого языка 750 г., тогда как А. Бах говорит о немецком языке его долитературного периода (V в. до середины VIII в.), а древневерхненемецкий начинает свою историю с середины VIII в. и продолжается до конца XI в. Так или иначе, но письменная фиксация немецкого языка начинается с середины VIII в. (В. Брауне называет первым немецким памятником Аброганс, написанный около 765 г. во Фрейзинге).

Рассмотрев границы распространения отдельных верхненемецких диалектов этого периода, авторы приводят данные о составе гласных и согласных фонем, об основных фонетических закономерностях (умлаут, монофтонгизация и дифтонгизация, древневерхненемецкое передвижение согласных, грамматическое чередование, геминация и др.). Далее на материале основных частей речи (глагол, существительное, прилагательное, местоимение и числительные) рассматривается древневерхненемецкая морфология. Затем авторы обращаются к анализу синтаксического построения древневерхненемецкого языка.

Раздел «Средневерхненемецкий язык» (с. 209—264), разработанный Р. Боком, Г. Гарниш и З. Цшунке, по своему построению повторяет предыдущий: он начинается с определения хронологических границ этого периода (1050 г.— 1350 г.), далее рассматривается пространственное членение средневерхненемецких диалектов, а затем анализируются звуковой состав языка, характер морфологии и синтаксиса.

Одной из наиболее крупных частей книги, посвященных истории развития системы языка, является раздел «Ранненововерхненемецкий язык» (с. 265—341), написанный Р. Бенцингером, Р. Боком и Г. Лангнером. В самом начале авторы подчеркивают, что проблемы периодизации истории немецкого языка затраги-

вают прежде всего этап ранневерхненемецкого языка. Наибольшую сложность представляет не только его адекватное хронологическое отграничение, но и определение того, является ли вообще этот этап самостоятельным периодом или его следует рассматривать как часть средневерхненемецкого периода. Представленный в этом разделе книги грамматический очерк немецкого языка охватывает три столетия его истории и относится ко времени с 1350 г. по 1650 г. Система языка этого этапа характерным образом отличается от периода средневерхненемецкого, в равной мере она не обладает еще всеми свойствами и признаками, которые присущи немецкому языку начала XVIII в. Авторы предлагают подразделить весь ранневерхненемецкий период истории языка на три этапа: период с 1350 г. по 1500 г. (старый ранненововерхненемецкий); XVI в. как «ядро» ранненововерхненемецкого; период до 1650 г. в качестве младоранневерхненемецкого этапа. При этом последние два этапа могут быть объединены в одном (1500 г.—1650 г.), который как более поздний период определенным образом противопоставляется раннему (с 1350 г. по 1500 г.).

В заключительной части книги (с. 342—394) приводятся образцы различных исторических текстов, в том числе отрывок из готского «Серебряного кодекса», образцы древнесаксонских текстов, а также тексты древневерхненемецкого периода (Аброганс, Песнь о Гильдебрандте, Мерзебургские заклинания и др.). Этот раздел снабжен также древневерхненемецким словарем (с. 357—364). Далее следуют образцы текстов средневерхненемецкого периода (Песнь о Нибелунгах, стихи Вальтера фон дер Фогельвайде и др.), а также тексты, относящиеся к ранненововерхненемецкому периоду (отрывки из сочинения Иоганнеса фон Зааца, Иоганнеса Роте, Мартина Лютера, Томаса Мюнцера, Мартина Опица и др.). Помимо необходимых комментариев к текстам этот раздел содержит также небольшой список слов к приводимым ранненововерхненемецким текстам (с. 391—394).

Книга заканчивается обширной библиографией, включающей названия более 400 работ, посвященных исследованию истории немецкого языка (с. 395—408), а также предметным и именным указателями (с. 409—412). В приложении к книге имеется карта распространения различных групп индоевропейских языков, таблицы исторического развития системы немецких гласных и согласных, а также таблицы склонения существительных и др.

Таким образом, в рецензируемой работе удачно сочетаются научное описание развития немецкого языка от его индоевропейских истоков до современного состояния и историко-грамматическое исследование древневерхне-, средневерхне- и ранненововерхненемецкого. С точки зрения полноты и законченности научной исторической грамматики необходимо особо подчеркнуть наличие развернутых разделов, посвященных анализу синтаксической структуры языка, поскольку традиционные исторические немецкие грамматики нередко ограничивались описанием одной морфологии. Этим своим достоинством рецензируемый труд отличался уже в своем первом издании (1969 г.), в настоящем же виде синтаксический очерк обогащен новейшими сведениями, детализирующими анализ синтаксического построения немецкого языка на различных этапах его исторического развития.

Рецензируемая История немецкого языка была задумана как история развития верхненемецких (верхне- и средненемецких) диалектов, которые, как известно, образовали историческую основу для формирования современного немецкого литературного языка. Очевидно, по этой причине в книге не представлена история развития нижненемецких диалектов. Речь не идет о том, чтобы читатель мог найти в ее составе отдельную грамматику нижненемецких диалектов. В этом, пожалуй, нет и надобности, но, очевидно, следовало включить описание их истории и судьбы в общий исторический очерк немецкого языка, что позволило бы более полно и детально увидеть истоки и пути сложения современного немецкого литературного языка. Приходится также сожалеть, что рецензируемая книга не содержит разделов, посвященных историческим этапам развития словарного состава немецкого языка. Если при этом иметь в виду, что вузовский курс лексикологии современного литературного языка не ставит своей задачей рассмотрение вопросов исторической лексикологии, то выясняется, что эти важные стороны развития системы языка оказываются вне поля зрения. В этом смысле полезно напомнить об опыте построения курсов Истории немецкого языка В. М. Жирмунского, О. И. Москальской, Н. И. Филичевой.

В заключение отметим, что рецензируемая История немецкого языка, подготовленная нашими коллегами-германистами из ГДР, представляет собой ценный вклад в научную разработку марксистских материалистических взглядов на исторический процесс развития языка. Книга найдет применение не только среди специалистов и будет широко использоваться в вузах ГДР, но окажется полезным учебным пособием для студентов-германистов и в нашей стране.

Домашнев А. И.

Брандес М. П. **Стилистика немецкого языка.** — М.: Высшая школа, 1983, 271 с.; ***Брандес М. П.*** **Практикум по стилистике немецкого языка.** — М.: Высшая школа, 1983, 144 с. (на нем. яз.).

Современное развитие лингвистической науки, ее коммуникативно-текстовая ориентация породили ряд проблем, решение которых выходит за рамки самой лингвистической науки и тесно связано с другими сферами человеческого знания и деятельности. В этих условиях получает новое звучание и традиционная проблема языкового стиля и стилистики как науки о стиле.

Рецензируемые книги М. П. Брандес — пример успешного рассмотрения языкового стиля в рамках современной коммуникативно-текстовой ориентации науки о языке. «Стилистика немецкого языка» является оригинальным фундаментальным теоретическим трудом, последовательно базирующимся на марксистско-ленинской философии. И хотя данный труд основывается на материале современного немецкого языка, общетеоретические положения, разработанные автором, применимы, по-видимому, для многих языков. Рецензируемая книга по стилистике выгодно отличается тем, что в ее основе лежит широкий подход к языку как к самостоятельной системе. Такой подход обусловил и соответствующий охват материала в работе, начиная от общетеоретических положений, касающихся онтологии и гносеологии стиля, и кончая рассмотрением функциональных стилей как сфер практического функционирования языка.

В реальном употреблении категории langue и parole существуют в органическом единстве. Новизна предлагаемой концепции стиля и состоит именно в том, что наложение этих систем предлагается рассматривать на базе коммуникативно-речевой и языковой деятельности. Такое толкование позволило создать стройную целостную концепцию стиля и отказаться от его изучения только как самостоятельной системы изобразительно-выразительных ресурсов языка.

Исходя из этого, автор определяет стиль — как категорию не познавательного, а ценностного мышления, категорию непосредственной языковой деятельности. Деятельность трактуется в книге как процесс придания формы языковому содержанию. При этом конструирование и моделирование содержания мотивировано целями и условиями коммуникативно-речевой деятельности, и есть, по хорошо аргументированному мнению автора, не что иное, как наделение содержания, а через него и языка функциями. Речь идет о коммуникативных функциях — сообщении и воздействии. Помимо выполнения этих функций, стиль выступает в качестве нормы организации языка в законченном произведении. При этом стиль трактуется как нормативно-ценностный комплекс. Это составляет ядро стилистической концепции автора.

В качестве объекта исследования автор выбирает словесное произведение и рассматривает его как систему, состоящую в общих чертах из двух подсистем, каждая из которых в свою очередь является системой: подсистемы содержания произведения и подсистемы изложения содержания. Стиль соотносится с подсистемой изложения содержания и в конечном счете с применением языка.

Оригинальность и новизна книги состоит также в том, что автор впервые и, на наш взгляд, успешно пытается конструктивно разработать понятие употребления языка. Употребление связано прежде всего с нормами, правилами. Эти нормы по отношению к стилю носят не вербальный, а конструктивный характер. Стиль в данной концепции соотносится не с денотативным содержанием, а с его жанровой организацией, что мотивировано принадлежностью стиля к системе употребления и его ценностной природой.

Отнеся стиль к системе употребления, автор убедительно показывает разнопорядковость явлений «язык» и «стиль», их принадлежность к разным системам: языка к естественно-исторической системе, стиля — к искусственной, создаваемой человеком, функциональной системе. Последнее очень важно для выбора метода исследования. Стиль как искусственная, функциональная система обладает своим языком, т. е. своими элементами и структурами, отличными от элементов и структур естественного языка. Этот новый язык является формализованным языком, построенным на основе естественного языка, но он не просто повторяет материальные структуры естественного языка, а создает новые композиции, заимствуя нередко для этой цели формулы из других областей наук, которые отражают определенные структурные формы объективной реальности. К единицам формализованного языка автор относит композиционно-речевые формы описания, сообщения и рассуждения, заимствованные из логики и поэтики; кроме того, автор относит сюда категории тональности, заимствованные из музыки, и архитектонико-коммуникативные формы (монолог, диалог, полилог), заимствованные из риторики, поэтики, теории речевой коммуникации. Из таких готовых «блоков» строится система употребления языка. Таким образом, известные из риторики, поэтики, логики и т. д. категории впервые сведены в новый формализованный язык, представляющий собой «свернутые» коммуникативные функции естественного языка.

Красной нитью через работу проходит мысль, что система употребления как часть словесного произведения является общественно значимой формой. Стиль — не просто принцип употребления языка. Как конструктивная норма он обладает специфическим содержанием, которое собственно и организует язык в произведении. Таким образом, стиль задается как содержательная форма, представляющая собой нормативно-ценностную систему. Такой подход к определению стиля обусловил метод его изучения. Впервые в теоретической литературе по стилистике предпринята попытка применить комби-

нированный, деятельностно-системный метод к изучению стиля.

Вначале автор пользуется системным методом для выявления онтологии стиля. Особый упор делается на функциональном, формализованном уровне, создающем внутреннюю целостность произведения. Этот уровень, как следует из рассуждений автора, является универсальной организацией текста не только для разных типов речевых произведений, но и для разных языков. Формализованный уровень (уровень внутренней речи по Выготскому и Жинкину) проявляется во внешней речи, типы которой носят также универсальный характер и организация которой является следующим уровнем стиля как нормы. Речевой уровень, в котором «в снятом виде» присутствует формализованный язык, проявляется далее в вербальном языке, который в свою очередь стилистически нормирован в соответствии со спецификой национального языка. Таким образом, автору удается создать четкую онтологическую картину стиля как многоуровневой организации.

Деятельный метод применен в рецензируемой книге для изучения процесса создания стилистического значения, его содержательных компонентов. Вначале автор описывает морфологию коммуникативно-речевой деятельности, показывает ее системный характер, прослеживает проектирование ценностного компонента стилистического значения, которое в книге именуется косвенным стилистическим значением. Затем, подробно описывая средства коммуникативно-речевой деятельности, автор показывает, как создается нормативный компонент стилистического значения, именуемый прямым стилистическим значением. В результате создается наглядная картина сложности стилистического значения, представляющего собой «сгусток» содержаний социально-психологического и формального характера. Все это позволило автору создать многостороннюю онтолого-гносеологическую картину стиля, которая дополнена социальным аспектом, вскрывающим специфику функционирования стиля в разных общественно-коммуникативных условиях, а, следовательно, и структурное разнообразие стилистических схем, выступающих в качестве нормы организации языка в соответствующих общественно-коммуникативных условиях.

Книга «Стилистика немецкого языка» делится структурно на две части. В первой части — «Общие характеристики стиля языка» — рассматриваются вопросы онтологии и гносеологии стиля. В первой главе («Стиль в системе практического применения языка») затрагиваются такие вопросы, как применение языка в лингвистике; стиль как правило конкретного применения языка; речевое произведение как субстратная основа стиля; структура речевого произведения (композиция, жанр, стиль), взаимоотношения ее составляющих; стилистическое значение как нормативно-ценностный комплекс.

Вторая глава «Стиль и его моделирование в коммуникативно-речевой деятельности» посвящена гносеологическим вопросам изучения стиля на основе его моделирования, которое аналогично процессу создания речевого произведения в коммуникативно-речевой деятельности. В этой главе особый интерес представляет раздел о средствах жанрово-стилистической деятельности, которые являются одновременно новым стилистическим формализованным языком, обслуживающим общественное функционирование языка.

Указанные две главы первой части книги создают хорошо аргументированный фундамент для осмысления такого сложного, многосущного, многоструктурного и многокачественного явления, как стиль языка. Однако отдельные положения этих глав нуждаются в более подробном объяснении. Здесь явно не хватает наглядных графических схем для облегчения понимания стиля как сверхсложного образования, для распутывания «клубка» сложных взаимодействий и взаимопереплетений.

В третьей главе «Языковые средства реализации стиля речевого произведения» традиционные стилистические средства рассматриваются в нетрадиционном деятельностно-функциональном аспекте. Эта глава написана компактно, хорошо проиллюстрирована языковым материалом. Однако в ней неравномерно распределен материал, причем слишком большой упор сделан на синтаксис, что, конечно, естественно для предложенной концепции стиля, в которой стиль — это форма в широком смысле слова. Однако и лексика как материальная основа стиля заслуживает не меньшего внимания.

Вторая часть книги «Функциональные стили современного немецкого языка» посвящена вопросам социологии стиля. В ней рассматриваются стили как конкретные системы функционирования языка, жанрово-стилистические формы, соотносимые с каждым функциональным стилем, и специфический для каждого функционального стиля вербальный язык. Следует особо отметить, что впервые в книгу по стилистике языка включен литературно-художественный стиль и подробно рассмотрен стиль прозаического произведения как конкретная реализация литературно-художественного стиля.

Рецензируемая книга М. П. Брандес способствует совершенствованию преподавания теоретических языковедческих дисциплин в вузах. Она отмечена высоким научным профессионализмом и призвана вырабатывать у студентов широкий взгляд на профессиональные знания.

В «Практикум по стилистике немецкого языка» включен обширный материал из произведений немецкой художественной литературы XIX—XX вв. (Гете, Гейне, Т и Г. Манн, Хейзе, Фейхтвангер, С. Цвейг, Зегерс, Бредель, Фриш, Вальзер, Хандке и другие). Этот материал представлен в виде системы упражнений по анализу текста, которая охватывает всю стилистическую проблематику, изложенную в учебнике. Все это способствует закреплению и активизации теоретических положений учебника.

Осмысление компонентов стиля, его уровневой организации, различных форм связи стилистических средств с содержа-

нием отрывков для анализа способствует более плодотворному усвоению языка через художественный текст и более глубокому проникновению в его художественные особенности. Усвоение схем анализа текста, предложенных в «Практикуме», очень важно для более адекватного понимания языковых форм в различных модификациях их значений, обусловленных, как правило, именно стилистическим контекстом. Рецензируемый «Практикум» представляет большой интерес и для подготовки переводчиков.

Учебный комплекс «Стилистика немецкого языка» и «Практикум по стилистике немецкого языка» М. П. Брандес является заметным вкладом в отечественную научно-методическую литературу по иностранным языкам.

Крушельницкая К. Г.

Блох М. Я. **Теоретическая грамматика английского языка.** — М.: Высшая школа, 1983, 383 с. (на англ. яз.)

Рецензируемая книга М. Я. Блоха совмещает учебное и научно-исследовательское назначение. В рамках последовательного изложения курса теоретической грамматики английского языка, в котором находят обобщающее отражение признанные достижения современной советской и зарубежной грамматической мысли, автор выдвигает оригинальную концепцию грамматического строя, базирующуюся на едином функционально-парадигматическом принципе рассмотрения морфологических и синтаксических явлений.

Книга строится на общетеоретической основе системного языкознания, в котором автором выделяются четыре главных составных части: учение о языковой синхронии и диахронии, учение о языке и речи, учение о синтагматике и парадигматике, учение о единицах языка и уровнях языка. Система в понимании автора предстает не в виде статической совокупности элементов и их свойств, а в виде динамического механизма, составляющие которого получают качественную определенность лишь как действующие исполнители соответствующих функций. При этом через все содержание книги проходит мысль о том, что именно коммуникативный контекст является основной сферой реализации функций всех без исключения элементов языка, распределенных по множеству иерархически соотнесенных функционально-парадигматических подсистем. Данный подход как бы перекидывает мост от теоретической грамматики к практической.

Другая принципиальная линия, проходящая по книге от начала до конца,— это трактовка грамматических явлений в качестве двусторонних сущностей, различающих свою материальную форму и свое семантическое содержание. Продолжая традицию отечественного языкознания, автор демонстрирует ограниченность менталистского подхода к «правилам грамматики» и указывает на семантическую насыщенность всех звеньев грамматического строя, в которых сосредоточена наиболее абстрактная часть семантического содержания, заложенного в языке. Отсюда вытекает важное для практики требование к формулированию грамматических правил—их «семантическая ориентированность» (с. 9).

Книга включает 31 главу, которым предшествует предисловие, сжато формулирующее основные принципы и назначение монографии. В главе I излагаются основы системной теории грамматики, в главах II—IV освещаются общие принципы грамматического учения о слове, в главах V—IX рассматриваются грамматические свойства существительного, в главах X—XVII — грамматические свойства глагола, главы XVIII и XIX посвящены, соответственно, прилагательному и наречию, в главе XX описываются синтагматические связи слов, в главах XXI—XXIII рассматриваются общие признаки предложения, в главах XXIV—XXV — проблемы простого предложения, в главах XXVI—XXX — проблемы сложного и осложненного предложения, глава XXXI посвящается анализу грамматических аспектов текста. Книга снабжена библиографическим списком и предметным указателем.

Описывая язык как иерархически организованную систему средств формирования мыслей и обмена ими, автор различает шесть функционально-охарактеризованных уровней языковых единиц: фонематический, морфематический, лексематический, фразематический (уровень словосочетания), пропозематический (уровень предложения), супрапропозематический (уровень текста). При этом он подчеркивает, что с функционально-грамматической точки зрения основными уровнями служат уровень слова и уровень предложения, поскольку посредством слов мы называем объекты и их отношения, а посредством предложений строим сообщения о них. Что касается текста, то он представлен в книге в качестве сферы функционального выхода элементов языка, являясь продуктом речетворчества. Таким образом, автор на новой теоретической основе системного языкознания освещает традиционное деление грамматики на морфологию как грамматическое учение о слове и синтаксис как грамматическое учение о предложении. Словосочетание в этой концепции, относясь к «малому синтаксису», получает статус сложной номинативной единицы.

Предпосылая детальному анализу категориального строя частей речи рассмотрение общих понятий, относящихся к грамматическому учению о слове,

автор дает четкие определения таким фундаментальным элементам грамматической теории, как грамматическая форма, оппозиция грамматических форм, парадигма грамматических форм и грамматическая категория. В этой четверке взаимосвязанных понятий особое внимание уделяется оппозиции как основе формирования грамматической категории — «системы выражения обобщенного грамматического значения посредством парадигматического соотнесения грамматических форм» (с. 28). Развивая учение о грамматической оппозиции с точки зрения функционально-парадигматического подхода, автор переосмысливает понятие нейтрализации, показывая, что нейтрализация представляет собой частный случай более общего явления, а именно, оппозиционного замещения — процесса, сопровождающего функционирование оппозиции в ходе речевого общения. Двумя крайними типами оппозиционного замещения оказываются, с одной стороны, нейтрализация — немаркированное функциональное замещение парадигматического противочлена (*tonight we start for London*), а с другой стороны, транспозиция — маркированное функциональное замещение парадигматического противочлена (*that man is constantly complaining of something*) [ср. 1].

Другим положением, касающимся общего представления категориального строя слова, является последовательно проводимое в книге разделение грамматических форм на собственные (имманентные) и отраженные (рефлективные). Так, форма числа существительного, передавая количественную характеристику предметного денотата, осмысливается как собственная, а форма числа глагола, характеризующая не процесс, а тот же предметный денотат, квалифицируется в качестве отраженной. Такое деление форм, обнаруживающее коренные функциональные различия между ними, важно не только для морфологии, но и для синтаксиса, поскольку помогает более строго очертить круг предикативных значений предложения.

Деление словарного состава по частям речи рассматривается на фоне более общего распределения слов по лексическим классам, определяемым различными признаками формы и функции. В этом свете автор сопоставляет два типа классификаций слов: лексико-грамматическую трехстороннюю (признаки семантический, формальный, функциональный) и синтаксико-дистрибутивную одностороннюю. Такое сопоставление дает возможность выдвинуть идею о более общем грамматическом делении словарного состава на три составных части: номинативную, объединяемую «лексической парадигмой номинации» (существительное, глагол, прилагательное, наречие), заместительную (местоименные слова вместе с широкозначными словами заместительных функций) и служебную (слова релятивных функций) [ср. 1—4]. Все это, не отменяя, а дополняя существующие грамматические классификации слов, раскрывает интересный аспект системности лексики и дает критерий оценки целесообразности выделения той или иной группы слов в отдельный лексико-грамматический класс или «часть речи» (ср., например, дискуссию, связанную со словами категории состояния).

Существительное, определяемое в качестве главной номинативной единицы языка, представлено в развернутых очерках подклассового и родового деления, категориально-нумеральной и категориально-падежной характеристики и артиклевой детерминации. Родовое деление английских существительных при типологическом сопоставлении с русскими ясно обнаруживает лексико-грамматический, а не чисто лексический характер, как это принято представлять в имеющихся грамматиках. Грамматическое число, охарактеризованное оппозиционно-парадигматически, предстает в четком соотнесении с подклассовым делением существительных на исчисляемые и неисчисляемые. На этой основе выделяется, наряду с регулярным или относительным, также и абсолютное грамматическое число, фиксированное в неизменяемой форме существительного. Приводимый языковой материал по абсолютному числу дает возможность интересно проиллюстрировать функциональную специфику различных типов оппозиционного замещения. Одновременно само понятие абсолютного числа позволяет на системной основе объединить случаи нерегулярного выражения числа существительного. Далее, опираясь на данные оппозиционного анализа, автор предлагает оригинальную интерпретацию статуса английского падежа, показывая, что в типологически необычной двухпадежной системе английского языка форма косвенного (родительного) падежа образуется не флексией, а вспомогательной частицей (particle case). Такая трактовка, синтезирующая предшествующие теории, хорошо объясняет кажущийся парадокс оформления единым падежным показателем целого словосочетания.

Большой интерес представляет функционально-парадигматическое описание английского артикля. Охарактеризованный с этой точки зрения, артикль предстает как конституент грамматической категории артиклевой детерминации существительного, различающей три регулярные формы: определенную, неопределенную и нулевую. Обобщающая сила данной трактовки артикля проявляется в том, что дает возможность объяснить многочисленные и казалось бы разрозненные случаи «особого» употребления артикля (такие, как употребление определенного артикля с неисчисляемыми существительными или названиями уникальных предметов, употребление неопределенного и определенного артикля с именами собственными, употребление определенного артикля при подлежащем после вводящей конструкции, разного рода опущения артикля и др.).

При рассмотрении системы английского глагола на всех этапах описания учитывается роль этой части речи как организатора ситуативной семантики, передаваемой предикативными единицами

языка. На материале анализа многочисленных глагольных форм получает наиболее полное раскрытие функционально-парадигматический подход автора к языку в области морфологии. Прежде всего это относится к категориям времени и вида. Развивая известное положение о взаимоисключении категориальных грамматических форм в словоформе [ср. 5—6], автор дает новую трактовку этих категорий, различая в системе английского глагола две категории времени (с одной стороны, настоящее и прошедшее, с другой стороны, будущее и небудущее) и две категории вида (с одной стороны, неопределенный и длительный, с другой стороны, перфективный и имперфектный). Такое представление видо-временной системы демонстрирует ее внутреннюю стройность и упрощает ее описание.

В ходе анализа проблематики наклонения постулируется простое бинарное отношение «изъявительное / сослагательное» на верхнем уровне системы. Демонстрируется грамматикализующая функция перехода от вида к времени, приобретающая качество материальной основы существования форм сослагательного наклонения; переосмысливается статус повелительного наклонения, объединяемого в единой системе сослагательного с другими его формами. Вместе с этим уточняется и природа сочетаний знаменательного глагола с полувспомогательными элементами *should*, *may*, *might*, *let*: данные сочетания выделяются в особую сферу «модального сослагательного». В итоге общее описание категории наклонения, как и категорий времени и вида, существенно выигрывает в стройности.

При описании неличных форм глагола последовательно раскрывается чисто грамматический характер их противопоставления личным формам. Глагольность неличных форм особенно ярко проявляется в предикативных потенциях их самостоятельно-членного употребления (комплексы вторичной предикации). Заслуживает большого внимания аргументация автора в пользу признания раздельного существования в английском языке герундия и причастия первого. При этом так называемый «полугерундий» — форма, дающая основание некоторым лингвистам объединить герундий с причастием первым под единой рубрикой «инговой» формы,— естественно рассматривается как результат оппозиционного замещения (ср.: *To think of him turning sides* — полугерундий; *To think of his turning sides* — герундий).

В синтаксических разделах книги широко используется разработанная автором концепция синтаксико-парадигматических отношений (парадигматический синтаксис).

При рассмотрении синтагматики слова наряду с понятиями сочинения, подчинения и присоединения вводятся понятия равносильной (эквипотентной) и зависимостной (доминационной) связей, позволяющие ясно представить отношение присоединения к сочинению и подчинению, поскольку в рамках присоединения возможно выявление и той, и другой связи. В терминах доминационных связей предикативная связь выступает как связь двусторонней доминации (взаимное подчинение подлежащего и сказуемого по собственным категориям), а непредикативная зависимостная связь, соответственно, как связь односторонней доминации.

Противопоставляя предикативную связь слов как связь, формирующую предложение, иным типам связи, выявляющимся в словосочетаниях как непредикативных объединениях слов, автор продолжает традицию, выработанную в советской русистике. В то же время, обращаясь к категориям парадигматического синтаксиса, он указывает на возможность деривационных отношений между предложением и словосочетанием; наиболее ясно такие отношения выявляются для словосочетаний полупредикативного характера — инфинитивных, герундиальных, причастных.

Проблему выделения и определения предложения как уровнеобразующей единицы языка автор связывает с различением в предложении номинативного аспекта. На этой основе он дает новое, переосмысленное определение предикации, которая выступает в качестве отнесения номинативного содержания предложения к действительности (с. 243). Различение двух аспектов строя предложения — номинативного и предикативного — является необходимым шагом для установления статуса предложения как центрального элемента синтаксической парадигматики.

Важнейшую роль в формировании предложения автор отводит актуальному членению. Актуальное членение рассматривается как составная часть предикативного аспекта предложения, чем признается его синтаксическая (грамматическая) природа. В книге показано, что актуальное членение выполняет двойную роль. Во-первых, накладываясь на номинативное членение предложения, оно маркирует его элементы по их соотносительной информационной значимости. Во-вторых, оно непосредственно участвует в формировании коммуникативных типов предложения, функциональные различия между которыми в большой степени определяются качественными различиями их рематических компонентов. Опираясь на указанные свойства актуального членения, автор выдвигает расширенную классификацию коммуникативных типов предложения, среди которых различаются, наряду с кардинальными типами (повествование — вопрос — побуждение), также и промежуточные, в разной степени совмещающие в себе свойства кардинальных. В свете приведенной классификации получают рациональное объяснение разнообразные случаи контекстных взаимозамен предложений различных коммуникативных установок.

Рассмотрение простого предложения включает характеристику его синтагматического (конституентного) и парадигматического строя. В монографии показано, что применение схем непосредственных составляющих и зависимостей к анализу предложения не противоречит

традиционной теории членов предложения, уточняет взаимный статус членов предложения на едином функциональном основании определительного отношения (ср. взаимоопределяемость подлежащего и сказуемого, определяемость сказуемого дополнением, субстантивного члена атрибутивным, всего предложения адвербиальным элементом и т. д.). На базе учета валентностных связей глагола как предикативного центра предложения рассматривается понятие элементарного предложения, помогающее уточнить характеристику предложения по составности и структурной полноте.

Изучение парадигматического строя предложения связывается с различением двух систем синтаксической парадигматики: конструкционной, ведающей линейным расширением предложения, и предикативной, ведающей отнесением пропозитивной номинации к действительности. В категориях конструкционной парадигматики определяется сложность предложения по знаменательному составу (сочинение, подчинение, осложнение предикативных единиц), а в категориях предикативной парадигматики определяется характер релятивно-оценочной семантики, выражаемой предложением в тексте. В наиболее чистом виде релятивно-оценочная семантика раскрывается в предложениях примарной синтаксической системы — предикативных конструкциях, элементарных по знаменательному составу, но способных функционировать в качестве полноценных высказываний реального общения.

Сложное предложение, определяемое как полипредикативная синтаксическая конструкция, рассматривается в развернутом сопоставлении разных форм реализации (сочинительной, подчинительной, присоединительной, союзной, бессоюзной с их соответствующими разновидностями) с учетом фактора парадигматического производства от деривационной основы, образуемой суммой простейших конструкций. При этом сложноподчиненное предложение представлено в книге как полипредикативная конструкция семантически более прозрачного, «открытого» способа соединения своих компонентов, чем сложноподчиненное предложение; поэтому именно сложноподчиненное предложение выступает в качестве основной диагностической модели при семантическом анализе сложносочиненного предложения, а не наоборот.

На основе использования понятий одночленности и двучленности сложного предложения автором разрабатывается интересная классификация сложных предложений по типу составности (главные классы — монолитные и сегрегативные с подразделением монолитных на подклассы в зависимости от степени спайки между частями). Проводится ясная демонстрация того, что «функциональный» (членный) и «категориальный» (лексико-грамматический) типы характеристик придаточных предложений не противоречат друг другу, а дополняют друг друга, на основании чего предлагается объединенная и иерархически упорядоченная классификация придаточных.

Что касается осложненного предложения, то анализ его проблематики раскрывает промежуточный статус этой конструкции в синтаксисе. Она определяется как конструкция «сжатой полипредикации» *в отличие от обычного*, раздельно-полипредикативного сложного предложения. Функционально-семантическое сопоставление сложных и осложненных предложений позволяет показать собственную специфику последних, далеко не сводящуюся к тому, что они являются более *экономными средствами* выражения. Основа этой специфики состоит в отражении событий, тесно связанных друг с другом по различным аспектам их объективного существования или субъективного представления отправителем сообщения. Конструкции, осложненные комплексами вторичной предикации и на поверхности выглядящие нерасчлененными (*I won't have him do it*; *You make me laugh* и т. д.), при функционально-парадигматическом анализе ясно обнаруживают свою семантико-синтаксическую сложность.

Заключительная глава книги посвящена рассмотрению грамматических аспектов лингвистики текста. В частности, здесь обсуждается проблема правомерности включения анализа текста в синтаксическую теорию, проблема соотношения сверхфразового единства как универсальной единицы *текстообразования с абзацем* как композиционной единицей текста; рассматриваются понятия текстовой цельности и связности как основных «категорий текста» [ср. 7]. Целостное рассмотрение категорий и средств текстообразования приводит автора к утверждению *фундаментальной роли* предложения и в рамках развернутого текста. Предложение, взятое как составная часть речевых единиц более высокого порядка, выступает в качестве центрального структурно-функционального звена формирования и передачи мысли в тексте любого коммуникативного *назначения* и стилевой принадлежности.

Необходимо отметить, что в рецензируемой книге, в соответствии с ее назначением, затрагиваются многие вопросы, которые вызывают научную дискуссию. Автор отнюдь не ставит перед собой задачу дать окончательное решение по каждому из них. Достоинством книги является как раз то, что внимание читателя привлекается к областям, требующим дальнейшей разработки, и указываются конкретные направления, по которым целесообразно ее проводить. Это касается проблем детерминации существительного, времени, вида и наклонения глагола, категории степеней сравнения, а также проблемы синтаксического аспекта текста. Не все поднятые вопросы освещены одинаково подробно, что, возможно, связано с ограничением объема книги. В частности, можно было бы расширить содержащий важные положения раздел о синтагматических связях слова, а также раздел, посвященный семантической классификации предложений.

Как свидетельствует все *изложенное*, книга М. Я. Блоха, в которой органически сочетаются принципиальные теорети-

ческие обобщения и практическая направленность, безусловно, должна привлечь пристальное внимание широкого круга лингвистов. Можно выразить уверенность, что рецензируемой монографии суждена долгая жизнь.

Маковский М. М.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Гак В. Г.* Теоретическая грамматика французского языка. Морфология. М., 1979.
2. *Поспелов Н. С.* Учение о частях речи в русской грамматической традиции. М., 1954.
3. *Ильин Б. А.* Строй современного английского языка. М., 1971.
4. *Иванова И. П., Бурлакова В. Н., Почепцов Г. Г.* Теоретическая грамматика английского языка. М., 1981.
5. *Смирницкий А. И.* Морфология английского языка. М., 1959.
6. *Бархударов Л. С.* Очерки по морфологии английского языка. М., 1975.
7. *Гальперин И. Р.* Текст как объект лингвистического исследования. М., 1981.

Федоров А. В. **Основы общей теории перевода.** — М.: Высшая школа, 1983. 303 с.

Выход в свет нового издания «Основ общей теории перевода» А. В. Федорова подтверждает верность древнего афоризма о книгах, имеющих свою судьбу. Судьба этой книги — как и судьба каждого новаторского вклада в науку — и драматична, и счастлива одновременно. Первое ее издание («Введение в теорию перевода». М., 1953) вызвало резко критическую реакцию со стороны приверженцев литературоведческой концепции перевода [1]. Автору ставилась в вину сама мысль о закономерном языковом соотношении подлинника и перевода, о языковой обусловленности последнего. Его упрекали в схематизации и даже вульгаризации анализа процесса перевода, в игнорировании эстетических (resp. индивидуально-творческих) возможностей передачи текста с одного языка на другой, ему приписывали стремление свести все многообразие таких возможностей к ограниченным количественно и качественно общеязыковым правилам. А. В. Федорову пришлось в ожесточенной полемике обосновывать правомерность самостоятельного лингвистического рассмотрения проблем перевода.

30 лет развития теории и практики перевода в контексте всей современной лингвистики не только притупили остроту противостояния языковедческой и литературоведческой концепций, но и показали, что между ними — не отношение непримиримой конфронтации, а мирного сосуществования и более того — сотрудничества. Лингвистическая концепция общей теории перевода подтверждается за это время массой объективных исследований в нашей стране и за рубежом, но самое главное — интенсивной практикой перевода с самых разных языков. Сколь бы ни были остроумны и необычны переводческие находки, он, как оказалось, вполне укладывается в рамки тех общих закономерностей, которые стремился выявить А. В. Федоров три десятилетия назад. Именно этим и можно объяснить все возрастающий авторитет и популярность его книги, выдержавшей за это время четыре издания и каждый раз подвергавшейся основательной переработке.

Общая теория перевода уверенно развивается именно по линии «лингвистизации», превращаясь в специальную отрасль языкознания — «лингвистику перевода». При этом она — в той мере, в какой она занимается вопросами художественного перевода — не отрывается от литературоведения, сохраняя утерянную во многих специальных областях языкознания комплексность общефилологической методики анализа фактов. «Противопоставление лингвистических и литературоведческих принципов исследования, принимавшее столь часто конфликтный характер, сменилось или сменяется все более ощутимым разграничением теории перевода как процесса, допускающего схематизацию и моделирование, и теории перевода как исследования соотношений между речевыми произведениями на исходном и переводящем языках, существующими в форме текстов»,— отмечает А. В. Федоров (с. 6). И нужно объективно признать, что эту «смену вех» в теории перевода стимулировала именно его книга.

Известный переводчик западноевропейских классиков, соавтор К. И. Чуковского [2], А. В. Федоров пришел к общей теории перевода и от переводческой практики, и от своих предшествующих филологических работ. Не случайно и в новом издании книги уделено столько места соотношению этих двух сторон транслятологии: и творческому аспекту, и филологическому обобщению.

---

[1] См. рецензии Л. И. Борового — [1], Н. И. Фельдман — [2].

[2] Книга К. Чуковского и А. Федорова «Искусство перевода» (Л., 1930) была, в сущности, первым монографическим очерком теории художественного перевода в нашей стране. Из нее, собственно говоря, выросло и знаменитое «Высокое искусство» К. И. Чуковского, и рецензируемый труд А. В. Федорова, так же как и его более ранняя книга «О художественном переводе» (Л., 1941).

Решительно выступая против голого прагматизма, ведущего к сведению теории перевода на уровень «некоего собрания узкопрактических рецептов и правил», автор подчеркивает, что, во-первых, таких правил дать нельзя вообще, и, во-вторых, что теория и практика, несмотря на их органическую связь, не тождественны друг другу, а имеют разные задачи. «Теория перевода в лингвистическом своем аспекте анализирует, объясняет и обобщает факты переводческого опыта, устанавливает соответствия и расхождения между языками,— замечает А. В. Федоров. Она может служить научной основой для переводческой практики. На основании общих закономерностей, выявленных теорией перевода, могут делаться в дальнейшем конкретные выводы применительно к отдельным частным случаям,— выводы, допускающие и варианты» (с. 19). Ссылки на «творческую интуицию» переводчика, нередко оправдывающие произвол по отношению к тексту оригинала, тем самым строго ограничиваются равно как отвергается и эмпирический буквализм, вызванный пренебрежением к общеязыковым закономерностям текста.

В новом варианте книги, как и в трех предшествующих, А. В. Федоров призывает читателя сосредоточить свое внимание на живой материи языка в ее конкретно текстовом воплощении. Соотношение перевода с оригиналом предстает при этом как проявление творческого начала, а не сводится к заранее установленным тем или иным теоретиком схемам процесса перевода. Лейтмотив книги — всесторонняя аргументация лингвистической (в широком смысле слова, т. е. со включением стилистики художественной речи) трактовки теории и практики перевода. Такая трактовка перевода «затрагивает самую его основу — язык, вне которого неосуществимы никакие функции перевода — ни его общественно-политическая, ни культурно-познавательная роль, ни его художественное значение и т. д.,— пишет А. В. Федоров.— Вместе с тем лингвистическое изучение перевода, т. е. изучение его в связи с соотношением двух языков, позволяет строить работу конкретно, оперируя объективными фактами языка» (с. 17).

Именно лингвистический подход приводит автора к объективной функционально-стилистической диагностике полноценности перевода. Она «означает исчерпывающую передачу смыслового содержания подлинника и полноценное функционально-стилистическое соответствие ему» (с. 127). Следовательно, упор на лингвистические аспекты отнюдь не означает педантичной регистрации «способов передачи» оригинала на конкретный язык, как в свое время упрощенно толковали концепцию А. В. Федорова его оппоненты. Лингвистичность анализа — это стремление раскрыть диалектическое единство соотношения содержания и формы оригинала средствами перевода.

С этих концептуальных позиций и рассматривает А. В. Федоров основные вопросы общей теории перевода. В шести главах его книги определяются задачи теоретического изучения перевода (гл. I), дается краткий очерк истории перевода и переводческой мысли (гл. II), приводятся высказывания классиков марксизма-ленинизма о переводе (гл. III), подробно освещается эволюция теории перевода и разработка идеи переводимости за последние 60 лет в СССР и за рубежом (гл. IV), и, наконец, детально анализируются разновидности перевода в зависимости от жанрового типа переводимого материала (гл. VI). Книга, таким образом, в целом построена на той же сюжетной канве, что и ее предшествующие издания. В каждую главу, однако, внесены существенные изменения, освежившие и актуализировавшие как основные идеи автора, так и их конкретные иллюстрации. Так, в VI главе значительно переработаны разделы о проблемах передачи черт подлинника, связанных со временем его создания или сохранения национальной окраски в переводах художественной литературы. По-новому трактуются автором и некоторые общетеоретические вопросы. Например, он настаивает на необходимости широкого понимания термина «научная литература», которым, по его мнению, должны обозначаться и гуманитарные дисциплины, где сейчас достигнуты высокая точность исследования (а не только «точные науки» и техника).

Особой новизной отличаются I и IV главы. В первой задачи теории перевода, о которых говорилось выше, формулируются во многом по-новому, с учетом последних достижений в этой области и потребностей нашего времени. В связи с этим он также предлагает различать понятие теории перевода как современной научной дисциплины, решающей именно эту задачу, и понятие нормативных переводческих концепций как оценочной системы требований, предъявлявшихся в то или иное время к переводу. Не менее актуален призыв к синтезу, а не конфронтации методов исследований. А. В. Федоров не устает также повторять, что перевод — многогранный объект изучения и потому может рассматриваться не только с языковедческой, но и с литературоведческой, культурно-исторической или психологической точек зрения. Аргументируя эти положения, он проявляет себя как убежденный диалектик, сопрягая в аргументации такие антиномии, как общее и единичное, индивидуально-творческое и коллективно-нормированное, формальное и содержательное и т. д.

В IV главе дается, как уже говорилось, критический обзор двух основных этапов развития переводоведения — 1) периода с 1919 по 1941 год (в СССР) и 2) периода с начала 50-х годов по настоящее время (в СССР и на Западе). Особенно полемично анализируются концепции последних десятилетий. В каждой из них (И. А. Кашкин, Г. Р. Гачечиладзе, И. И. Ревзин и В. Ю. Розенцвейг, Й. Левый, Я. И. Рецкер, В. Н. Комиссаров, Жорж Мунен, Л. С. Бархударов и др.) автор пытается выявить как сильные, так и слабые стороны. Второй период развития теории перевода, по его мнению, характеризуется постепенным отходом от традиционных

направлений исследования. На смену былого противопоставления лингвистического и литературоведческого «кренов» этой теории в наши дни приходят общегуманитарный, с одной стороны, и формализационный, с другой стороны, подходы. Естественно, что симпатии автора скорее на стороне первого направления, хотя он отнюдь не отрицает прагматического и общетеоретического значения структурно-формальных методов анализа переводов. При этом А. В. Федоров не приемлет излишней терминологической усложненности, принятой «формалистами», предпочитая традиционные филологические термины. Язык книги прост и понятен, как и узловые моменты теоретической концепции ее автора.

В труде А. В. Федорова, выдержавшем проверку временем, трудно найти уязвимые места, столь ценные для рецензента. К ним, пожалуй, можно отнести лишь недостаточную освещенность ряда вопросов или «деактуализацию» отдельных п облем. Из уязвимых мест первого ранга можно указать на «недоосвещенность» отдельных современных теорий перевода (например, концепций Э. Найды, А. Поповича, Й. Пинчука и др., библиографические ссылки на работы которых в книге тем не менее имеются), что, видимо, является следствием предпочтения традиционалистских исследований. По-прежнему обращает на себя внимание и определенная диспропорция языковых иллюстраций к теоретическим положениям автора. Они в целом разнообразны, но далеко не равномерны: предпочтение явно отдается немецкому и французскому языкам, английских иллюстраций значительно меньше, испанских же чрезвычайно мало. Правда, когда они приводятся, то вновь убеждаешься в тонком стилистическом вкусе автора (см. комментарии к русскому переводу испанского романа Х. Гойтисоло «Печаль в раю» на с. 163). Остается пожалеть, что А. В. Федоров не комментирует переводы со славянских языков, качество которых существенно улучшилось именно в последние десятилетия. Пожалеть тем более, что автор книги — инициатор и редактор недавно вышедшей коллективной монографии, где исследованы именно проблемы перевода со славянских языков [см. 3].

Что касается «деактуализации», то упрека заслуживает, пожалуй, лишь раздел о фразеологии, который — в отличие от большинства других,— практически не претерпел изменений за истекшее со времени первого издания книги тридцатилетие. А ведь именно оно и было периодом бурного взлета фразеологии как особой лингвистической дисциплины. Естественно, традиционные классификации Ш. Балли, В. В. Виноградова и Б. А. Ларина, на которые опирается автор при трактовке перевода фразеологизмов, и сейчас не потеряли своей актуальности. Тем не менее они во многом уже уточнены и дополнены, а главное — в спектре теории и практики перевода появилось множество новаторских и весьма объективных концепций, так и просящихся в соответствующий раздел рецензируемой книги. Достаточно назвать продуманную концепцию М. М. Копыленко и З. Д. Поповой, дающую возможность точно градуировать соотношение денотативных и коннотативных сем при сопоставлении фразеологического фонда разных языков, или недавнее исследование Р. П. Зоривчак, специально посвященное различным аспектам перевода фразеологии [4, 5].

Наконец, нельзя не упомянуть и об опечатках, которых в этом издании книги несомненно больше, чем в предыдущих (вероятно, в связи с введением новой «прогрессивно-бескорректурной» системы работы над рукописями в наших издательствах). Такие, как *Massachusetzs* вм. *Massachusetts* (с. 19), *hicht* вм. *nicht* или *художесвенного* вм. *художественного* (с. 108) еще более или менее терпимы. Но когда *филология* в результате опечатки превращается в *физиологию*, да еще с утверждением, что последняя должна быть причислена именно к гуманитарным наукам («В литературе по физиологии, относящейся, конечно, к гуманитарным наукам, выделяются... лингвистические работы» — с. 202), сердце любого филолога — при всем его уважении к физикам и физиологам — содрогается. Хотелось бы, чтобы в будущих изданиях книги ее высокой филологической культуре соответствовала бы и корректорская корректность.

20 лет назад Б. А. Ларин, изначально поддержавший лингвистическую концепцию теории перевода, писал: «Всякий перевод должен начинаться с филологического анализа текста, сделанного во всеоружии лингвистической подготовки, и завершаться литературным творчеством» [6]. Такое начало в области общей теории перевода давно уже положено А. В. Федоровым. Хочется пожелать, чтобы и «переводоведческое творчество» патриарха советской школы транслятологии — равно как и переиздание его классической, но всегда молодой книги — продолжалось еще многие годы.

Мокиенко В. М.

ЛИТЕРАТУРА

1. Дружба народов, 1954, № 4.
2. ВЯ, 1954, № 2.
3. Очерки лексикографии языка писателя. (Двуязычные словари). Л., 1981.
4. *Копыленко М. М., Попова З. Д.* Очерки по общей фразеологии. Воронеж, 1972.
5. *Зорівчак Р. П.* Фразеологічна одиниця як перекладознавча категорія. Львів, 1983.
6. *Ларин Б. А.* Наши задачи.— В кн.: Теория и критика перевода. Л., 1962, с. 5.

Großes Wörterbuch der deutschen Aussprache. — Leipzig: VEB Bibliographisches Institut, 1982. 599 S.

Большой словарь современного немецкого произношения коллектива авторов из ГДР под руководством Е.-М. Крех представляет наиболее адекватную на сегодняшний день картину произносительной нормы. Объем словаря около 60 000 лексем. Это на 15 000 слов больше, чем в предыдущем издании 1964 г. [1]. За истекший период авторами переосмыслено понятие нормативного произношения (Standardaussprache). Старый термин (allgemeine deutsche Hochlautung), по признанию авторов, не соответствует более задачам произносительного словаря, который должен стать образцом для подражания, путеводной нитью для каждого носителя языка.

Уже в предисловии авторы ориентируют читателя на преодоление «ножниц» между произносительной реальностью (Sprechrealität) и ее кодификацией. Так, например, рекомендации Зибса [2], относящиеся, в частности, к переднеязычной или увулярной реализации [r], а также обязательное произнесение [ə], («шва») в безударных флексиях квалифицируются авторами рецензируемого словаря как слишком приближенные к написанию.

Вводная часть словаря выполнена очень тщательно, содержит ряд принципиальных положений, касающихся реализации исконно немецкой и иноязычной лексики, освоенной немецким языком (eingedeutscht). В таблицу транскрипционных значков включен ряд новых элементов.

Описанию артикуляций отдельных звуков, занимающему основное место вводной части, предпосланы общие правила произношения современного немецкого вокализма и консонантизма. В целом данный раздел остался без изменений, однако некоторые моменты уточнены и дополнены. Так, например, изданное в 1968 г. исследование Е.-М. Крех о гортанной смычке в современном немецком языке [3] позволило авторам более детально подойти к рекомендациям по реализации данного явления. Аналогичная картина характерна для [ɛ] в безударных позициях. Авторы выделяют семь случаев различной реализации безударного [ɛ].

В разделе вокализма, кроме характеристик трех немецких дифтонгов, имеется описание заимствованного из английского и находящегося в процессе приспособления к строю немецкого языка дифтонга [ɛ͡l]. Данная единица имеет принципиальное фонетическое сходство с исконно немецкими дифтонгами (способ соединения элементов, их взаимодействие по отношению к ударению, изоморфизм по признаку открытости — закрытости элементов) и является также монофонемным соединением, т. к. не может находиться на границе морфемного шва, например, *Daily Mail* ['dɛl͡l'mɛl͡l]. Особое внимание читателей во вводной части обращается на произношение иноязычных слов. Авторы словаря сочли возможным дать рекомендации к произношению заимствованной лексики из 24 языков. Частотность употребления иноязычной лексики и степень ее освоения языком-реципиентом обусловлены интенсивностью взаимодействия контактирующих языков. Здесь уместно констатировать возросший объем русской лексики, включенной в словарь. Она представлена в основном именами. Вводная часть словаря содержит подробные рекомендации к их произношению. Так, например, введен новый способ кодификации палатализованных русских согласных при помощи [j], находящегося справа вверху: *Lebedew* ['Lʲe:bʲedʲeɪ̯]. Завершают вводную часть сведения об ударении и интонации и реализации нормативного произношения в различных сферах человеческой деятельности (сцена, аудиторные занятия, телевидение и т. д.).

Анализ рекомендаций к произношению исконно немецкой лексики подтверждает факт максимального приближения кодифицированного в словаре «отпечатка фонации» слова к его реальному звучанию. Это находит отражение прежде всего в полной редукции [ə] в суффиксе инфинитива *-en* с предшествующими гласному смычными, взрывными [t], [p], [k] и щелевыми [f], [v], [s], [z], [ʃ]. Редукция [ə] в таких позициях обуславливает в некоторых случаях фонемную мену [n—m] или [n—ŋ]. Например, *antworten* ['antvɔrtn], *leben* ['le:bm], *melken* ['mɛlkŋ]. В качестве второго варианта в отмеченных позициях возможно произношение редуцированного [ə] + согласный, имевшего в предыдущем издании 1964 г., как, впрочем, и в словаре Duden 1962 г. [4], вид единственно возможной реализации. К особенностям словаря, характеризующим изменения в орфофонетическом плане, следует отнести и рекомендации к произношению [r] в абсолютном исходе слова. Вокализованный вариант [r] рекомендуется в суффиксах *-ern*, *-ers*, *-ert*, безударных префиксах *-er*, *-her*, *-ver*. Речь идет о звуке [æ]. Данный звук, наряду со «шва», позволяет более дифференцированно иллюстрировать неоднозначную интерпретацию качественной редукции гласных в заударных слогах. Сочетания *-er*, *-ur*, *-or* также рекомендуется произносить в виде вокализованного варианта [æ], имеющего в зависимости от позиции достаточно широкий диапазон фонации.

Наиболее заметны изменения, происшедшие в оформлении фонетического облика иноязычной лексики. Принцип фонетического приспособления к системе немецкого языка (gemäßigte Eindeutschung) [5], регулирующий процесс заимствования, является в данном случае манифестацией субординативных отношений языка-донора и языка-реципиента в определенный промежуток времени [6]. В основе этого принципа лежит сближение звуков, чуждых немецкому языку, со звуками немецкой фонетической системы путем замены первых артикуляционно близкими или немецкими звуками. Проникновение иноязычной лексики в язык-реципиент связано и обусловлено стремлением языковой системы к сохранению в целях наиболее адекватного функционирования [7]. При этом имеет место пополнение звуковой

системы языка-реципиента инновациями. Иллюстрацией данному явлению может служить факт полной редукции [ə] в заударных флексиях иноязычных слов, с одной стороны, и включение, а затем освоение заимствованных из английского зубных фрикативных [θ], [ð]. Результаты фонетического включения иноязычных слов в немецкий язык определяются не только фактами экстралингвистического характера, но и действием свойственных языку-реципиенту внутренних законов. Так, например, в области консонантизма действию закона замены звонких согласных в абсолютном исходе слова глухими подвержены английские заимствования: *Band* [bɛnt]. Субординативное влияние языка-донора, в данном случае близкородственного английского, преодолевшего сопротивление фонетической системы немецкого языка, проявилось за последние двадцать лет, в частности, в проникновении чуждого немецкому консонатизму круглощелевого [w̆] вместо употреблявшегося в словаре 1964 г. [v] в таких словах, как *Winchester* ['w̆intʃi-stæ], *Wilkes* [w̆ilks], *Weekend* ['w̆i:k/'ɛnt]. Появление в некоторых иноязычных словах типа *Happi-End* [hɛpi/'ɛnt] гортанной смычки свидетельствует о возможности взаимовлияния языков на уровне делимитативной функции. Языку-донору в таком случае должна быть свойственна четкая, фонетически обозначенная, морфологическая разложимость слова. В области вокализма стремление к самосохранению выражено еще отчетливее. Так, фонемная мена имеет место при освоении английских гласных [æ] и [ə:] в таких словах, как *Cab* [kɛp], *Early Bird* ['œ:libœ:t].

Анализируя процесс фонетического оформления заимствований, необходимо иметь в виду вариантность фонетической структуры иноязычной лексики на различных этапах ее включения и освоения. Явление вариантности наиболее ярко иллюстрирует, во-первых, «гибкость» фонетической системы языка в процессе освоения лексики, во-вторых, множественность нормы [8]. Еще В. Фиетор [9] заметил и отразил данное явление в своем словаре, в частности, в виде двух вариантов реализации заимствований из греческого с [y:]: 1) как [i], например, в слове *Zylinder* [tsi'lindər]; 2) как [y], например, в слове *anonym* [ano'ny:m]. Подобных случаев «разночтения» встречается немало, и, видимо, следует считать целесообразной фиксацию в анализируемом словаре двух или более вариантов произношения. Впоследствии предпочтение отдается более освоенному (прежде всего с точки зрения соответствия правилам сочетаемости фонем внутри слова в языке-реципиенте [10]) варианту, который со временем вытесняет сосуществующую с ним реализацию. Так получилось, к примеру, со словом *Charta*. В анализируемом словаре зафиксирован единственный вариант—с инициальным заднеязычным смычным. Несколько десятилетий назад нормативным считался также вариант с аффрикатой [t͡ʃ]. В начале 70-х годов приходилось слышать и свойственный начальному этапу включения данного слова вариант ['xarta].

Необходимо подчеркнуть отраженную в словаре мотивированную связь морфологической структуры слов взаимодействующих языков с модификацией их фонетического облика. Трансформация морфемного состава иноязычной лексики отчетливо заметна во французских словах типа: *Annonce* [a'nɔŋsə], *Avance* [a'vaŋsə], в которых язык-реципиент по аналогии с исконно немецкими существительными женского рода, например, *Suppe* [zvpə], *Karte* ['kartə], рекомендует реализацию непроизносимого во французском языке конечного [ə].

В процессе освоения иноязычной лексики немаловажным является факт парадигматической трансформации фонем, проявляющийся в замене их дифференциальных признаков (ДП). Речь идет прежде всего о тех фонемах или ДП, которые отсутствуют в заимствующем языке. Так, французские носовые [ã], [ɔ̃], [ɛ̃] трансформируются в сочетания Г+С (гласный + согласный): -[aŋ], -[ɔŋ], -[ɛŋ]. Это обусловлено тем, что в немецкой системе гласных отсутствует ДП «чистый — назальный». Поэтому назализованные гласные заменяются сочетаниями соответствующего неназализованного + носового согласного. Например,

франц.		нем.
Feuilleton [fœje'tɔ̃:]	—	['œj(ə)'tɔŋ]
Ballon [ba'lɔ̃]	—	[ba'lɔŋ]
rangieren [rã'zi:rən]	—	[raŋ'izi:rən]

Известно, что в процессе заимствования идет освоение не только фонемной, но и ритмической структуры слов. Ударение можно считать своего рода индикатором в отборе иноязычной лексики. Исконно немецким словам, как правило, не свойственно ударение на суффиксах. Абсолютное большинство иноязычных суффиксов ударны, что обуславливает неоднозначное оформление акцентного облика некоторой части иноязычной лексики. Например, *Interview* ['intævju:], ['intæ'-vju:].

Результаты анализа вариантности фонетической структуры заимствований, отраженной в анализируемом словаре, свидетельствуют о тенденции к убыванию допустимых нормой вариантов. Динамические процессы в немецкой орфоэпической норме происходят за счет перераспределения отдельных разновидностей варьирования, обусловленных внешними и внутренними факторами.

Рецензируемый словарь — фундаментальный труд, внесший большой вклад в становление немецкой произносительной нормы. Он нашел и еще найдет применение среди широкого круга специалистов. Несомненна его ценность как пособия при изучении немецкого языка как иностранного. Интересно отметить, что исследователи из ФРГ высоко оценивают работу по изучению реальной нормы, проводимую их коллегами в ГДР [11].

Наумов В. В.

ЛИТЕРАТУРА

1. Wörterbuch der deutschen Aussprache. Leipzig, 1964.
2. *Siebs Th.* Deutsche Hochsprache. Berlin, 1961.
3. *Krech E.-M.* Sprachwissenschaftlich-phonetische Untersuchungen zum Gebrauch des Glottsschlageinsatzes in der allgemeinen deutschen Hochlautung. Basel — New York, 1968.
4. Duden. Aussprachewörterbuch. Mannheim, 1962.
5. *Дмитровская Е. И.* Фоно-орфографическое, морфологическое и лексико-семантическое освоение англицизмов современным немецким языком: Автореф. дис. на соискание уч. ст. канд. филол. наук. Львов, 1969.
6. *Камалов Н. К.* Роль внутренних и внешних факторов в процессе заимствования словообразовательных средств: Автореф. дис. на соискание уч. ст. канд. филол. наук. М., 1981.
7. *Ярцева В. Н.* Количественные и качественные изменения в языке. — В кн.: Ленинизм и теоретические проблемы языкознания. М., 1970.
8. *Вербицкая Л. А.* Система и норма (Фонетические аспекты).— Сб. научн. трудов МГПИИЯ им. М. Тореза, 1983, вып. 206.
9. *Viëtor W.* Die Aussprache des Schriftdeutschen. ii. Aufl., Leipzig, 1925.
10. *Зиндер Л. Р.* О лингвистической вероятности.— В кн.: Вопросы статистики речи. Л., 1958.
11. *Schindler F.* Beiträge zur deutschen Hochlautung. Hamburg, 1974.

Благова Г. Ф. **Тюркское склонение в ареально-историческом освещении (Юго-восточный регион).** — М.: Наука, 1982. 304 с. с прил. схем.

Более 80 лет тому назад П. М. Мелиоранский отмечал, что для исторической грамматики тюркских языков наряду с изучением живых диалектов все же существенную роль будут играть письменные памятники языка. Тюркология прошла за эти годы огромной дорогой накопления новых сведений по современным языкам и диалектам, говорам, а также введения в оборот материалов из большого числа письменных памятников. Однако следует, видимо, признать, что методика использования данных письменности за этот же период претерпела мало изменений. И в последние годы все отчетливее стала осознаваться диспропорция между накоплением, можно сказать, довольно однородных фактов из разных письменных текстов и теоретическим осмыслением этих фактов в плане исторической грамматики. Поэтому проблема выработки новой методики использования материала памятников стала для современной тюркологии чрезвычайно актуальной.

Определенные успехи достигнуты благодаря применению методов системного описания фактов языка их в историческом развитии. Но успехи смежных отраслей языкознания, прежде всего — русского, германского, романского, призывали тюркологов к дальнейшему обогащению методики исследований. На тюркском материале начали успешно выполняться лингвогеографические и ареальные исследования, и советские ученые стали во главе этих перспективных направлений тюркологии. И давний вопрос о роли и возможностях вовлечения данных из письменных памятников зазвучал с новой силой. Возникла и проблема, как связать материалы из старых текстов с огромным набором сведений, собранных ранее и постоянно пополняемых диалектологией тюркских языков.

В этом плане книга Г. Ф. Благовой представляется весьма важным и поучительным опытом — в значительной степени новаторским — «освоения непосредственного языкового материала» (А. К. Боровков) и решения указанных методических вопросов. В монографии предложена конкретная методика интерпретации языковых фактов, извлеченных из письменных памятников, и соотнесения их с данными современной диалектологии, что позволяет включить их в общую историю развития тюркских языков и диалектов конкретного региона. Опираясь на достижения в теории и практике отечественной лингвистической географии и исторической диалектологии (В. М. Жирмунский, М. А. Бородина), тюркской лингвогеографии и ареальной лингвистики (Н. З. Гаджиева, Б. А. Серебренников), исторической диалектологии и истории тюркских литературных языков (А. Н. Самойлович, С. Е. Малов, А. К. Боровков, Э. Р. Тенишев и др.), современной диалектологии тюркских языков и исторической грамматики (С. Е. Малов, Е. И. Убрятова, Э. Р. Тенишев, А. М. Щербак, а также Г. Дёрфер и др.), автор разработал комплексную методику лингвоисторического описания и интерпретации фактов морфологии (с учетом исторической фонетики) в историко-функциональном аспекте, что дает возможность прояснить взаимосвязь и взаимообусловленность диахронических и синхронических явлений. Представляется, что именно комплексный характер методики, учитывающей разные аспекты исследования в синхронном и диахроническом планах, прежде всего и привлекает внимание читателя в данной книге.

Предложенная автором методика иллюстрируется в работе описанием категории склонения — одной из ключевых и базовых категорий тюркской грамматики. Здесь хотелось бы отметить научную смелость автора, его уверенность в действенности своего метода, когда в качестве объекта изучения была избрана казалось бы всем известная и неоднократно описанная категория. Однако читатели

узнает о ней много нового и интересного. Помимо всего, успеху, как представляется, способствовало то обстоятельство, что Г. Ф. Благова смогла отказаться от некоторых традиционных грамматических взглядов на тюркское склонение. Она связала эту категорию с категорией принадлежности — другой базовой категорией языка, и на этой основе выделила 4 классификационных межъязыковых типа тюркского склонения, причем учитывались и мнения, высказанные об изучаемом явлении отдельными тюркологами начиная с Казем-Бека. Отражение выделенных 4 типов прослежено и в истории, и в современных языках и диалектах. Как оказалось, классификационные признаки склонения хорошо работают в общей схеме признаков разных групп тюркских языков и диалектов.

Очень важным является также учет в полной мере таких фактов, как функционально-стилистическая неоднородность книжно-письменных языков средневековья и вызванная этим стратификация текстов, а также признание неоднородной социолингвистической ситуации в исследуемых регионах в разные исторические периоды. Последнее дает возможность достоверно представить соотношение письменных языков и местных диалектов, уточнить роль наддиалектного характера этих языков, осознать различное понимание «нормы» на отдельных этапах развития литературных языков.

Важное значение имеют для исторической тюркологии результаты соотнесения фактов современных диалектов и памятников, это дает ценный материал для истории склонения в языках среднеазиатского региона. В методическом отношении представляется весьма поучительной убедительная интерпретация типов склонения и особенностей их интерференции на фоне базисных типов склонения, отражаемых в письменных источниках и современных языках и диалектах.

В структурном плане рецензируемая монография состоит из Введения, шести глав, Заключения и аппарата.

В компактном Введении обосновывается тема и задачи работы, сообщаются сведения из истории идей ареальной лингвистики, предварительно обсуждаются объект и методика его изучения. Здесь же вводятся в научный оборот взаимосвязанные понятия «исторические центральные зоны распространения типов склонения» и «возможные иррадиации того или иного типа в различных временно-исторических направлениях».

В синхронически намеченные границы изученного ареала оказались вовлеченными прежде всего многочисленные и разнородные данные по современным казахскому, каракалпакскому, киргизскому, лобнорскому, новоуйгурскому, сарыг-югурскому, туркменскому, узбекскому и хорасанскому языкам, а также их диалектам и говорам.

Диахронический же подход обеспечивался описанием под определенным углом зрения караханидско-уйгурских и чагатайских текстов, восходящих соответственно к XI—XII и XV—XVI вв.

Из шести глав первая и последняя касаются проблем склонения почти во всех тюркских языках, а остальные посвящены конкретной ретроспективной проверке выдвинутых автором теоретических постулатов на обильном фактическом материале трех исторических срезов состояния юго-восточных тюркских языков: нынешнем, ранне- и позднесредневековом.

Глава I «Принципы описания тюркского склонения» имеет общетюркологическую значимость, поскольку трактует практически все возможные варианты падежных оформителей: три структурные парадигмы — именную, посессивно-именную и местоименную и четыре межъязыковых типа — огузский, кыпчакский, уйгурско-кыпчакский и карлукский (следует заметить, что два последних постулированы впервые в тюркологии). Так, уйгурско-кыпчакский тип (сарыг-югурский, тувинский и чулымский языки) отличается симметричностью межпарадигмных соотношений и структурной стройностью, будучи связан исторически с типом склонения караханидско-уйгурских текстов. Увязка истории с современной локализацией дает возможность обосновать языковые контакты этих ныне отдаленных друг от друга ареалов в ранние эпохи, когда наблюдалась экспансия древнеуйгурского языка за пределы Восточного Туркестана, и поэтому далеко не случайна проекция пучков изоглосс в зону бытования сарыг-югурского языка. С другой стороны, анализ карлукского типа (узбекский и уйгурский языки) в диахроническом и ареологическом планах (письменные памятники — современные диалекты), а также установление его изоглоссных связей дают возможность уточнить диалектное членение узбекского языка и направление интеграции древних диалектов. Именно последнее обстоятельство отражает практическую ценность работы для современного узбекского языкознания.

При этом традиционный тезис о едином формально-структурном характере тюркского склонения, сформулированный в 40-х годах Н. К. Дмитриевым, в принципе остается незыблемым. Действительно, морфологические структуры падежных постфиксов представляются достаточно единообразными, а их варианты от языка к языку и даже в пределах одного языка могут быть квалифицированы как морфонологические аллоэмы (таков, к примеру, показатель локатива—темпоралиса *-да*, совпадающий в абсолютном большинстве тюркских языков — разумеется, с учетом сингармонических вариаций).

В главе II «Ареальное исследование склонения в живых тюркских языках и диалектах юго-восточного региона» использованы практически все сведения, добытые предшественниками Г. Ф. Благовой и нетривиально переосмысленные ученым. Особенно поучительна в плане методики техника ареального обследования языковых и диалектных системно связанных изоглосс, ранее разработанная Н. А. Баскаковым и Н. З. Гаджиевой, но творчески примененная к дифференцированному отражению разнотип-

ных форм склонения на аналитических картосхемах именно автором рассматриваемого труда. Не менее интересны результаты, полученные автором самостоятельно при проведении стратификации литературно-языкового материала в разных текстах. Предложенная Г. Ф. Благовой методика такого анализа позволяет в полной мере использовать литературные памятники для изучения истории отдельных языков. И это очень важно, так как обычно в тюркологии ссылаются на «смешанный характер» языка текстов. Исследователь предлагает отделять наддиалектные черты и выявлять особенности живых говоров, отразившиеся в памятниках. Поэтому рецензенты не могут не оценить положительно данный важный методический прием Г. Ф. Благовой.

Последующие три главы выявляют картину тюркского склонения в текстах средневековой книжности на протяжении четырех столетий, представленной дидактическими, филологическими и поэтическими произведениями Юсуфа Баласагуни, Махмуда Кашгари, Ахмада Югнаки, Алишера Навои, Захиреддина Бабура, Мухаммада Салиха и других классиков.

Нельзя не отметить чрезвычайно эффективный прием вычленения и дистинкции базисных и периферийных систем склонения в каждом письменном памятнике, что сопряжено с жанрово-метрическим и функционально-стилистическим изучением литературного языка, особенно в его беллетристических образцах.

Попутно Г. Ф. Благова ставит и по возможности решает многие актуальные вопросы локализации и датировки памятников, «привязки» их к тем либо иным диалектным базам, соотношения традиций и новаторства в индивидуальном творчестве и стиле отдельных писателей Восточного Ренессанса. Например, вполне убедительно авторское уточнение рамок функционирования книжно-литературного «чагатайского» языка.

Весьма существенна для построения модели генезиса категории падежа от ее пратюркской реконструкции до позднейших рефлексов глава VI «К истории развития тюркского склонения».

В Заключении подводятся итоги исследования, в частности Г. Ф. Благова удачно увязывает новую типологию тюркского склонения с общепринятой классификацией тюркских языков А. Н. Самойловича.

Справочно-ссылочный аппарат книги включает в себя источниковедческие и библиографические перечни. Самостоятельную ценность представляют тщательно выполненные семь картосхем, двенадцать таблиц и шесть диаграмм с размещением на них пучков падежных изоглосс, нанесением границ микроареалов для каждого падежа, указанием концентров средоточия склонения разных типов, а равно иррадиаций из них на периферию и за пределы региона.

В любой по-настоящему поисковой работе (а именно такой является, бесспорно, монография Г. Ф. Благовой) неизбежны полемические заострения вопросов, дискуссионные тезисы, неоднозначные ответы. До некоторой степени все это присуще и рассматриваемой книге.

Так, двуединая цель исследования — разносторонний анализ системы тюркского склонения и картографическое определение ареальных границ юго-восточного региона тюркоязычной ойкумены — тесно переплетается с историко-лингвистической экспертизой диалектно-языкового материала и литературоведческой оценкой эстетического содержания и жанрово-стилистического своеобразия художественно-поэтических текстов мусульманского средневековья. Естественно, что столь широкий диапазон подчас довольно далеких друг от друга тематических аспектов невольно наводит на мысль о совмещении под одной обложкой нескольких вполне автономных штудий — ср. в книге о склонении авторскую дефиницию главы V «Исторические взаимоотношения книжно-письменных языков XI—XII и XV — начала XVI в. и средневековых тюркских диалектов юго-восточного региона».

В то же время читатель обширного труда о тюркских падежах хотел бы получить более исчерпывающую и равноценную информацию обо всех падежных формах, а не только преимущественно о пяти-шести косвенных, как это исполнено Г. Ф. Благовой. Противопоставление последним именительного (главного, основного) падежа позволило бы пролить дополнительный свет на исключительно спорную проблему нулевых форм в тюркском склонении — как известно, новейшие изыскания в этой области убеждают в том, что по крайней мере ряд падежных значений (в первую очередь именительного, родительного и винительного падежей) может быть снабжен как нулевыми маркерами, так и специальными формантами [1]. Этому отнюдь не противоречит специально оговоренное в книге рассмотрение преимущественно базовых и дистинктивных форм падежей, определяющих сущностные стороны категории склонения.

В сводный обзор фиксируемых падежей следовало бы включить, на наш взгляд, и спорадически встречающиеся формы компаратива, терминалиса, уподобительного падежа, не говоря уже о вокативе, что дало бы дополнительный материал для анализа.

Противоположение центра и периферии ареала исторически изменчиво, поэтому можно было бы еще более выпукло подчеркнуть, что Средняя Азия (диахронически Мавераннахр и Золотая Орда) выступает сама в роли маргинальной территории по отношению к предшествовавшему местообитанию общетюркского этноса.

Снабжение книги подробным постраничным «Индексом падежных морфем» дало бы возможность использовать ее как удобный справочник по тюркскому склонению.

Итак, ценность рецензируемого труда для специалистов определяется прежде

---

[1] См. довольно полную сводку и оценку источников по проблеме в [1].

всего решением в нем актуальных методических вопросов, выработкой комплексной методики изучения пространственно-исторической локализации явлений тюркской грамматики, что продуктивно в плане синхронии и диахронии и что дает новый стимул в изучении письменных памятников.

Исследование Г. Ф. Благовой, принципиально по-новому плодотворно решающее задачи пространственно-исторической характеристики падежного строя юго-восточных тюркских языков, относится к числу тех достижений отечественной тюркологии, которые достойно представляют нашу лингвистическую науку в целом.

Гарипов Т. М., Насилов Д. М.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Вильданова Н. Г.* Нулевые формы башкирских падежей и их эквиваленты в иносистемных языках: Автореф. дис. на соискание уч. ст. канд. филол. наук. Уфа, 1984.

***Лувсандэндэв А.* Хэл бичгийн ухааны зарим асуудал.** Редактор академич Лувсанвандан Ш. — Улаанбаатар: Шинжлэх ухааны Академийн хэвлэл. II-р дэвтэр, 1980. 192 х.; I-р дэвтэр, 1982, 164 х.

Автор рецензируемого труда чл.-корр. АН МНР А. Лувсандэндэв хорошо известен широкому кругу монголоведов как крупный лексикограф и специалист по истории монгольского литературного языка. Он является одним из авторов Монгольско-русского словаря (1957) и двухтомного Русско-монгольского словаря (1966—1969), который вышел в 1983 г. вторым, переработанным и дополненным изданием (см. рецензию в ВЯ, 1985, № 2). Наряду с большой научно-организационной и лексикографической деятельностью, А. Лувсандэндэв ведет исследовательскую работу в различных областях монгольской филологии, особенно языкознания, о чем свидетельствует монография «Некоторые проблемы филологии», состоящая из двух книг. Вошедшие в них статьи посвящены актуальным вопросам и написаны в разные годы. Рассеянные по научным журналам и сборникам, они не всегда были доступны читателям, собранные же воедино, они дают целостное представление о научных интересах автора и приковывают внимание к наиболее важным проблемам монгольского языкознания. Многие из них отличает теоретико-методологическая направленность.

Ученого интересуют в первую очередь вопросы формирования и развития национального литературного языка монголов. Как известно, академики Б. Я. Владимирцов, С. А. Козин, проф. Г. Д. Санжеев и другие ученые воссоздали исторический путь развития монгольских языков и старописьменного монгольского языка. А. Лувсандэндэв, опираясь на факты, которые стали известны в последние годы, расширяет и углубляет наши представления о раннем периоде развития монгольских языков. Проблемы языка и письменности древних монголов рассматриваются в таких статьях, как «Табгачский язык», «Тоба», «К расшифровке табгачских слов *k'i-hai-tchen*, *fou-tchou-tchen*», «Из истории монгольской письменности», «Формирование монгольского национального литературного языка», «Некоторые вопросы сравнительной грамматики монгольских языков и диалектов» и др.

На основании тщательного анализа некоторых материалов из исторических сочинений «Вей шу» и «Суй шу» автор приходит к выводу о том, что табгачи, имевшие собственное государство Тоба-Вей (368—581 гг.), первыми из древнемонгольских племен создали письменность на родном языке. Это было время Жужаньского каганата (IV—VI вв. н. э.), возникшего после падения государства Сяньби (I—III вв. н.э.). Графическое письмо табгачей просуществовало до 425 г., когда согласно «Вей шу», была создана новая письменность, которой, по предположению А. Лувсандэндэва, могло быть и орхонское руническое письмо. Мнение о табгачской письменности как древнемонгольской разделяется также венгерскими учеными.

Вторым древним монгольским племенем, имевшим свою письменную культуру, являются кидане, образовавшие свою империю в X—XII вв. Образцы их письменности дошли до нас в китайских переводах. В китайской же транскрипции сохранились и киданьские слова, которые с определенной долей вероятности позволяют отнести киданьский язык к среднему периоду в развитии монгольского языка.

Дальнейшим продолжением письменных традиций у монголов, по мнению ученого, явилось распространение среди другого монгольского племени (найманов или кереитов) разновидности уйгурского алфавита, которая с XIII в. получает широкое распространение. В модифицированном виде эта система письма сохранилась до наших дней.

В статьях «Из письменных традиций кочевников Центральной Азии», «Из истории монгольской письменности» автор высказывает мысль о том, что народы, обитавшие на территории МНР, прошли пиктографическую, идеографическую и алфавитную стадии развития письменности, и все они зафиксированы в памятниках. За последние десять веков своей истории монголы знали свыше десяти видов письма, которые они пытались приспособить к звуковой системе своего языка.

Академиком Б. Я. Владимирцовым на

основании кропотливого изучения письменных памятников и живых монгольских языков впервые была предложена хронология развития письменного монгольского языка, согласно которой ныне в монголоведении принята такая периодизация: старомонгольский период: с неизвестного времени — до начала XIV в.; среднемонгольский период: XIV—XVI вв.; новомонгольский период: XVI в.— до настоящего времени.

А. А. Лувсандэндэв предлагает следующую периодизацию развития литературного языка монголов: первый период — с неизвестных времен — примерно до V в. н. э.; второй период — а) первый этап: V— начало XIV вв.; второй этап: XIV — середина XVII вв.; третий период: а) первый этап: середина XVII в.— 40-е годы XX в. ;б) второй этап: 40-е годы XX в.— *до настоящего времени.*

Эти периодизации в основном совпадают, но у А. Лувсандэндэва второй период охватывает более тысячи лет, а первый период отодвинут в глубь веков. Еще более существенная разница заключается в том, что В. Я. Владимирцов в своей периодизации четко отличал письменный язык от разговорного, этапы которого (древний, средний и новый) не совпадают с этапами развития письменного языка. Считая заслуживающим серьезного внимания периодизацию А. Лувсандэндэва, нужно обратить внимание на то, что ее уязвимым местом является дифференциация письменного и разговорного языков. Автор по каждому периоду указывает отличительные признаки литературного языка. Например, рассматривая второй этап второго периода (XIV—XVII вв.), он пишет: «Основные особенности монгольского литературного языка (разрядка наша.— *Рец.*) этого времени: завершение процесса образования долгого гласного, исчезновение следов родовых окончаний глагола и согласования в числе определения с определяемым (за некоторыми исключениями) и личного местоимения третьего лица, проникновение уйгурских и персидских заимствований в лексику литературного языка» (кн. вторая, с. 60). Но все эти черты свойственны живому разговорному языку, а не письменному. В последнем долготные комплексы, как известно, почти в неизменном виде сохранились до настоящего времени. Автор далее указывает, что в конце первого этапа второго периода (т. е. в начале XIV в.) «отделились могольский, монгорский, дагурский, баоаньский и дунсянский языки» (кн. вторая, с. 59). Однако и это — факт развития живых наречий, и *он никак не* связан с эволюцией письменно-литературного языка. В периодизации А. Лувсандэндэва в одной плоскости рассматриваются табгачско-киданьский и уйгурско-монгольский этапы развития языка. Но пока не обнаружены текстовые материалы этого периода, мы не вправе говорить о том, что перед нами обработанный и нормированный письменно-литературный язык.

Процесс развития литературного языка, характер его эволюции освещены в статьях «К вопросу эволюционной теории развития лексики», «Восьмой основной падеж», «Относительно союза ба». В них автор справедливо указывает на то, что в методологическом отношении неверно концентрировать внимание лишь на процессе непрерывного развития лексики, ее постоянного изменения. На самом же деле большая часть накопленного на последующем этапе обычно сохраняется. Вместе с тем, как подчеркивает автор, в современном языке появилось огромное количество новых слов и новых значений. Использование всех богатств, накопленных на предыдущих этапах эволюции литературного языка,— закономерность функционирования любого языка. В связи с чем следует заметить, что переход на кириллическое письмо (1941—1945 гг.), в котором получили отражение фонетико-грамматические нормы живого языка, нельзя рассматривать как полную замену старого литературного языка новым. В современном литературном монгольском языке сохранено все лучшее, что было достигнуто на предыдущих этапах развития, в том числе и в области орфографии. В статье «К вопросу о правописании иностранных слов» автор дает обзор приемов орфографирования этих слов, начиная с XIII в. В старописьменном монгольском заимствования из других языков в основном транскрибировались, а слова, проникшие через разговорный язык и подвергшиеся сильным фонетическим изменениям, фиксировались в монгольском произношении. Как полагает автор, аналогичных принципов следует придерживаться и в орфографировании новых заимствованных научно-технических и других терминов. Закономерность эволюционного развития литературного языка иллюстрируется автором на примере союза ба. Привлекая разнообразные материалы из среднемонгольского, новомонгольского и современного монгольского языков, автор приходит к заключению, что на основе предыдущего опыта в современном монгольском литературном языке образовалась целостная система союзов: *ба*, *хийгээд*, *болон*, *бөгөөд*, *болоод*, *агаад*. Эти союзы отсутствуют в разговорном языке.

В статье «Принципы разработки научно-технических терминов» автор подчеркивает, что создаваемые термины, будучи научно обоснованными, должны находиться в логических, закономерных взаимоотношениях, образуя в пределах тематических групп единую систему. Основой при разработке терминов должен являться национальный материал. Вместе с тем в необходимых случаях оправдывает себя обращение и к средствам других языков, прежде всего русского.

Методологически верно рассматриваются и другие узловые вопросы монгольского языкознания. Так, А. Лувсандэндэв считает, что при определении исконной принадлежности слова, общего тюркским и монгольским языкам, недостаточно применять лишь один фонетический критерий, поскольку многие тюркские и монгольские слова по своей звуковой организации однородны. Необходимо использовать еще грамматический и семантический критерий. По мнению ученого,

при классификации частей речи следует применять принцип комплексного подхода.

В статье «Структура слов в монгольском языке» А. Лувсандэндэв дает обстоятельный разбор структурной организации слова, характеризует его составные части и взаимоотношения между ними. Различным аспектам монгольской лексикографии посвящены статьи «36-книжный толковый словарь», «Вопрос о перце еще не закончен», «Принципы составления монгольско-русского словаря». Результаты изучения диалектов монгольского языка отражены в статье «Из опыта изучения фонетики даригангского говора». На материале изученных им диалектов монгольского языка — даригангского, удзумчинского и баргинского — автор приходит к выводу, что господствующее в настоящее время мнение о том, что каждый территориальный диалект обладает своим собственным основным словарным фондом и грамматическим строем, не подтверждается.

А. Лувсандэндэв проявляет интерес к языкам и письменным памятникам других народов центрально-азиатского региона. В статьях «Система гласных в языке цатанов», «Об одной новонайденной древнетюркской надписи», «Об одной западнотангутской печати» автор остро ставит вопрос об охране памятников древнетюркской письменности, находящихся на территории МНР.

А. Лувсандэндэв много внимания уделяет также развитию филологической науки в МНР. Этой теме посвящены статьи «Современное состояние филологических наук в МНР», «Советское монголоведение и его значение», «Некоторые теоретико-исторические проблемы становления литературы народов, миновавших капиталистический путь развития (на примере МНР)», «Развитие монгольской литературы в сфере литератур социалистических стран (Вопрос о взаимосвязях и взаимовлияниях литератур»), «Некоторые вопросы языкознания и литературоведения в свете решений XVII съезда МНРП», «Монгольское языковедение и литературоведение», «Некоторые вопросы монгольского языкознания».

В дореволюционной Монголии филология не смогла стать системной наукой. Монголоведение как научная дисциплина впервые сформировалась в России, что во многом способствовало развитию данной отрасли ориенталистики в других странах, в частности МНР. В настоящее время можно говорить о таких национальных отраслях монгольской филологии, как фонетика, грамматика, лексикология, графика и орфография, диалектология, теория литературы, история литературы, литературная критика.

Труд А. Лувсандэндэва дает наглядное представление об актуальных проблемах и задачах монгольской филологии и языкознания. Он свидетельствует о разносторонних интересах ученого и имеет важное теоретико-методологическое и практическое значение для успешного развития филологической науки в Монгольской Народной Республике.

Шагдаров Л. Д., Пюрбеев Г. Ц., Дондуков У.-Ж. Ш.

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

ХРОНИКАЛЬНЫЕ ЗАМЕТКИ

4—7 декабря 1984 г. в Москве проходил Международный симпозиум «Сопоставительное изучение словообразования славянских языков», который проводился в рамках долгосрочной программы многостороннего международного сотрудничества академий наук социалистических стран и явился начальным этапом развертывания исследований по сопоставительному изучению прежде всего славянских, но в действительности шире — и не славянских языков. Организатор симпозиума — Институт славяноведения и балканистики АН СССР (сектор этнолингвистики и фольклора), председатель оргкомитета симпозиума — Г. П. Нещименко. В симпозиуме приняло участие около 150 специалистов, из них 30 зарубежных ученых из ЧССР, ПНР, НРБ, ГДР и СФРЮ. Было заслушано 60 докладов ученых 39 крупнейших научно-исследовательских и педагогических центров страны (26 городов — Москвы, Ленинграда, Минска, Томска, Владивостока, Еревана, Кишинева, Калуги, Самарканда и др.) и 14 зарубежных учреждений. В деловой и оживленной дискуссии приняло участие не менее 30 человек.

В процессе подготовки симпозиума и во время его работы с очевидностью выявился огромный интерес к его проблематике, поскольку сопоставительное языкознание представляет собой одно из магистральных и перспективных направлений современной лингвистики. Сущность сопоставительного метода, его универсальность заключаются в системно-функциональном подходе к языковым феноменам, безотносительно к генетической, типологической и ареальной принадлежности языков. Сопоставительный анализ обеспечивает углубленное познание системно-функциональных закономерностей языков, выявление сходств и различий между ними и обнаружение общеязыковых универсалий. Кроме того, прием сопоставления позволяет наблюдать диахронию в пространстве, т. е. синхронно зафиксировать различные стадии протекания одного и того же языкового процесса в близкородственных языках. В настоящее время данный метод обычно применяется при межсистемном изучении, когда сопоставляются близкородственные и родственные языки, а также различные формы существования одного и того же национального языка. Но он с успехом может быть применен (и начал применяться) и при внутрисистемном изучении, т. е. при сопоставлении различных синхронных срезов одного и того же языка, рассматриваемых как взаимосвязанные подсистемы.

В центре внимания участников симпозиума стояли теоретические и методологические проблемы, которые рассматривались прежде всего в докладах, прочитанных на пяти пленарных заседаниях. Доминировал вопрос о разработке оптимальной рабочей модели для сопоставительного анализа. Этому были посвящены доклады: Ю. Балтовой (София) и М. Кнаппової (Прага), каждая из которых предложила свой выбор исходных методологических предпосылок и иерархическую систематизацию правил, регулирующих словообразовательные (слбр) процессы в близкородственных (славянских) языках в зависимости от специфики задач исследования. Особое внимание было обращено на разработку уровней слбр гнезд (А. Бартошевич, Варшава) и слбр категорий (Д. Шлосар, Брно) при изучении дистрибуции формантов. В докладе К. Бузашиової (Братислава) обсуждался еще один уровень моделирования слбр процессов — слбр парадигмы как составной части слбр гнезда. О важности слбр гнезда как единицы системы словообразования и как единицы сравнительного изучения славянских языков говорилось в докладе А. Н. Тихонова (Москва). В совместном докладе О. П. Ермаковой (Калуга) и Е. В. Земской (Москва) было рассмотрено понятие внутренней формы, существенное для изучения семантической структуры слова. Оценив состояние изучения сопоставительного словообразования, Г. П. Нещименко (Москва) предложила свою методику описания, новыми принципами которой явились понятия центра и периферии, и как результат приложения этих параметров — вывод о центростремительном движении и скорости поляризации в слбр процессе. Основным единицам описания славянских слбр систем в сопоставительном плане был посвящен доклад В. В. Лопатина (Москва).

В ряде докладов предлагались специальные методики анализа дериватов в зависимости от аспекта и задач исследования. Так, в докладе В. Страковой (Прага) было показано, что при сопоставительном анализе исчисляемых единиц, которыми являются суффиксы и префиксы, наиболее важными будут два подхода: морфологический и семантический. В докладе Е. С. Кубряковой (Москва) говорилось о целесо-

образности использования аппарата падежной грамматики для сравнительно-топологического изучения слбр систем славянских языков. Специальное внимание перспективному морфемному анализу как основному методологическому приему при сопоставительном изучении деривационных циклов и других явлений переходного характера было уделено в докладе З. Скоумаловой (Прага). Большой интерес вызвал доклад Л. О. Сахарного (Ленинград), в котором рассказывалось об экспериментальных методиках исследования процесса словообразования новых слов в детской речи и в патологии речи.

Несколько докладов было посвящено методологическим разработкам, связанным с проблемой номинации. О дуализме словообразования, вытекающем из двоякой содержательной природы слова как лексической и грамматической единицы в диахронии и синхронии, говорилось в докладе А. Е. Супруна (Минск). В докладе В. М. Никитевича (Гродно) были рассмотрены основные типы номинации: синтетический, аналитический и синтаксический и показано, что превалирование одного из них определяет общую типологию сопоставляемых языков. З. М. Волоцкая (Москва) рассмотрела возможные уровни описания способов номинации на примере nomina loci в славянских языках.

Три доклада были посвящены использованию статистического метода. Б. И. Бартков (Владивосток) сформулировал целый ряд количественных критериев деривационных моделей и формантов для использования их при сопоставлении деривационных подсистем близкородственных и неродственных языков с помощью статистического метода. К. В. Бахнян (Москва) продемонстрировал результаты статистического и сопоставительного методов при анализе антропонимов XVIII—XIX вв. восточнороманского ареала. В докладе Ю. Фурдик (Прешов) говорилось о важности статистического, структурного и типологического приемов при сопоставительном изучении словообразования на материале словацкого и венгерского языков.

Особое внимание было уделено проблеме искусственного языка-эталона (или метаязыка), применяющегося при сопоставительном описании слбр гнезд и рядов как близкородственных, так и неродственных языков — совместный доклад П. А. Соболевой и М. Д. Барченковой (Москва). Также через искусственный язык-эталон (аппликативная модель) предлагают проводить бинарное сопоставление для выявления общих и специфических черт в структуре сопоставляемых языков в совместном докладе И. В. Альтман и В. Н. Шевчук (Москва) на примере русских и английских отглагольных слбр гнезд. В докладе М. А. Осиповой (Москва) говорилось о выборе эталона сопоставления на примере глагольной префиксации в славянских языках, когда за основу берутся слбр категории производных глаголов семантических классов мотивирующих.

Возможностям лингвогеографического метода были посвящены доклады: Н. И. Толстого (Москва), в котором была показана результативность лингвогеографического аспекта в исследовании семантических полей словообразования (на примере 160 систем выделено путем семемно-слбр анализа названий деревьев 4 основных типа на славянской территории); Ю. С. Азарх (Москва), продемонстрировавшей на материале русских диалектов и русского литературного языка возможности выявления противопоставленных различий (важных для исторической диалектологии) и непротивопоставленных (существенных для типологического аспекта исследования); Л. В. Куркиной (Москва), применившей лингвогеографический метод для изучения словообразования южнославянских языков, в результате чего можно выделить однородные ареалы, отграничить унаследованные явления от инноваций, обозначить ареалы наиболее/наименее активного действия тех или иных слбр элементов.

На важных задачах сопоставительного анализа — создания типологии слбр значений и слбр категорий, выявлении специфики их конкретизации, а также роли социально-культурных и других социологических факторов в процессе словообразования остановилась в своем докладе З. А. Харитончик (Минск). О подходе к словообразованию со стороны плана содержания, который сулит большие преимущества как для теоретической лингвистики, так и для практики перевода и преподавания языков, говорилось в докладе И. Г. Милославского (Москва). Я. Босак (Братислава), используя комплексный учет всех трех типов анализа словоформ (формообразовательный, морфологический и слбр), выделил элементы словоформы (интерфиксы) в словацком и русском языках, показав тем самым синтетическую структуру словоформы. Значение ономасиологического аспекта в практической работе (при имеющемся в настоящее время господстве семасиологических исследований) подчеркнул в своем докладе Р. С. Манучарян (Ереван).

Проблеме этимологического отождествления слов, относящихся к одинаковым слбр типам в родственных языках, был посвящен доклад Вяч. Вс. Иванова (Москва). Докладчик говорил о необходимости составления этимологических и исторических словарей словообразования. Г. А. Аликаева (Москва) рассмотрела типы связи однокоренных гнезд-аналогов, тождество корня которых восходит к индоевропейскому единству английского, болгарского и русского языков. Существенные аспекты изучения слбр систем славянских языков в процессе их исторического развития, т. е. при учете происходящих разнообразных изменений дериватов и основ общеславянского происхождения, подняла в своем докладе Т. И. Вендина (Москва).

На четырех секционных заседаниях в основном заслушивались доклады, посвя-

щенные применению сопоставительного метода к конкретному языковому материалу. Так, в одной из секций были сосредоточены доклады по сопоставительному анализу литературного языка и диалектов. М. Н. Янценецкая (Томск) говорила о единицах сопоставительного описания русского литературного и диалектного словообразования, когда диалектный материал рассматривается как дополнительный источник изучения литературного языка. Состояние и перспективы изучения сопоставительного словообразования болгарского литературного языка и его диалектов были обрисованы в докладе Р. Божкова (София). О. И. Блинова (Томск), рассмотрев сущность явления мотивации на материале русского литературного и диалектного, показала, как разные аспекты этого явления могут служить важными типологическими характеристиками сопоставляемых языков. Доклад Г. П. Клепиковой (Москва) был посвящен специфике изучения дериватов в гомогенном и гетерогенном диалектном континууме, которая в масштабах совокупности единичных систем имеет дело с формальной производностью и производностью по смыслу, при этом однокоренные производные характеризуются семантическими различиями, соответствуя нескольким понятиям. Учет пространственного параметра по-новому ставит вопрос о слбр вариативности. В докладе В. В. Усачевой (Москва) на большом материале славянских ихтионимов были рассмотрены специфические особенности сопоставления однопорядковых языковых систем (литературных языков между собой) и разнопорядковых (литературных языков и диалектов). Об особенностях слбр интерференции в условиях длительного двуязычия литовских и белорусских говоров шла речь в докладе Т. М. Судник (Москва). И. Грек-Пабис (Варшава) показала, как влияют на слбр систему говора русских старообрядцев в Польше русский литературный язык и польское окружение.

Группа докладов была посвящена сопоставительному изучению неологизмов в аспекте интернационализации словарного состава славянских языков. В совместном докладе Л. Н. Смирнова и З. Н. Стрекаловой (Москва) были рассмотрены гибридные словосложения, в докладе И. Ирачека (Брно) — лингвистические термины, Р. И. Могилевского (Самарканд) — аббревиатуры в славянских языках. О слбр структуре глагольных неологизмов в русском и чешском языках в аспекте ряда семантико-морфологических и др. проблем слбр процесса говорилось в докладе Н. Савицкого (Прага). О. Мартинцова (Прага) на частном примере окказиональных слов (возникающих стихийно в момент речи) рассмотрела теоретические предпосылки, существенные при сопоставительном изучении неологизмов.

Дериваты и их синтаксические семантические эквиваленты — так можно обозначить проблему, обсуждаемую в докладах И. Онгейзер (Лейпциг) — на примере русского и немецкого языков и П. Н. Джамбазова (Велико Тырново) — на материале русского и болгарского языков.

Результаты осуществленных сопоставительных исследований в разных аспектах словообразования были представлены в следующих докладах. Ю. Г. Панкрац (Минск) рассмотрел вопрос о слбр средствах выражения локативных падежей в родственных и неродственных языках, показав, что словообразование стремится сформировать особую ономасиологическую категорию, объединяемую значением локации как таковой. И. С. Иванова (Ленинград) доложила о результатах анализа соотношения семантической структуры слова и его слбр потенций на материале прилагательных болгарского, русского и чешского языков. А. А. Горбачевский (Душанбе), выделив несколько типов смысловых отношений между производной и производящей основами, показал, как при художественном переводе с одного славянского языка на другой используются эти отношения. Об изучении славянского феминного образования с категориально-системных позиций говорилось в докладе А. К. Смольской (Одесса). В докладе В. Г. Чургановой (Москва) были рассмотрены морфонологические условия распределения деминутивных суффиксов у имен мужского рода в русском языке на фоне других славянских языков. Различию в формальной структуре и функционировании дистрибутивных глаголов в польском и русском языках был посвящен доклад З. Рудник-Корват (Варшава). В докладе Э. Пернишки (София) рассмотрена проблема словообразования некоторых глаголов с учетом глагольного действия в болгарском языке в сравнении с русским и украинским языками. И. Дулевич (Варшава) на материале русского и польского языков проанализировала особенности словообразования апеллятивных форм.

Молдавско-русским сопоставлениям были посвящены два доклада кишиневских исследователей: В. В. Корчмарь (о функционировании формантов славянского происхождения в молдавском литературном и говорах) и Ф. С. Котельника (о влиянии русской деривационной системы на молдавскую на материале книжных компонентов, калькированных по русским моделям).

В двух докладах московских акцентологов было продемонстрировано применение сопоставительного метода для раскрытия механизма формирования акцентной системы дериватов (Р. В. Булатова) и показано, как акцентологические архаизмы в производных служат источником для реконструкции акцентных типов производящих (В. А. Дыбо).

В докладе П. Пипера (Нови Сад) рассматривались нетипичные способы словообразования на примере местоименных наречий в сербскохорватском, русском и польском языках. Также нетипичному случаю использования конверсии косвен-

ных форм в славянских языках (флективная деривация) был посвящен доклад С. М. Толстой (Москва).

На заключительном заседании была отмечена весьма плодотворная работа симпозиума и принят ряд рекомендаций, направленных на активизацию и координацию сопоставительных исследований, при этом подчеркнута необходимость выработки единого понятийно-терминологического аппарата, адекватного описания сопоставляемых языковых феноменов. Участниками симпозиума было высказано также пожелание о создании при МКС специальной комиссии (подкомиссии) по сопоставительному изучению славянского словообразования.

Материалы симпозиума были представлены в опубликованной книге тезисов докладов [Сопоставительное изучение словообразования славянских языков: Тезисы международного симпозиума (декабрь 1984). М., 1984]. Основные доклады в полном объеме будут опубликованы в ближайшее время в специальном сборнике.

Булатова Р. В. (Москва)

В январе 1985 г. в Волгоградском университете состоялись первые мемориальные чтения, посвященные памяти академика Виктора Ивановича Борковского (1900—1982).

С именем В. И. Борковского в советской лингвистической науке связано прежде всего развитие исследований в области сравнительно-исторического синтаксиса восточнославянских языков. В этой области он выступил как исследователь, автор широко известных фундаментальных трудов, которые продолжают и развивают традиции русской филологической науки, идущие от таких корифеев, как А. А. Потебня, А. А. Шахматов, А. И. Соболевский, Е. Ф. Карский, Б. В. Лавров и др. В. И. Борковский был крупнейшим знатоком письменного наследия восточных славян, инициатором ряда научных предприятий по изучению истории и диалектологии славянских языков, талантливым организатором работы в области филологической науки в Советском Союзе.

Чтения в Волгограде были приурочены к восьмидесятипятилетию со дня рождения В. И. Борковского. Первое заседание открыл ректор Волгоградского университета М. М. Загорулько. Он отметил, что организация периодических (раз в два года) научных чтений, посвященных крупнейшему советскому ученому, в стенах молодого, строящегося еще университета имеет большое значение для создания научного престижа Волгоградского университета и одновременно накладывает серьезные обязательства прежде всего на коллектив филологического факультета и кафедры русского языка.

На чтениях было прочитано девять научных докладов, тематика которых отражает круг основных исследовательских интересов академика В. И. Борковского.

В. П. Вомперский (Москва) в докладе «Творческий путь академика В. И. Борковского» охарактеризовал основные направления научных трудов академика, отметил значение и роль их в развитии историко-филологических и лингвистических исследований в советской науке. Особо докладчик остановился на той огромной научно-организационной работе, которую постоянно вел академик В. И. Борковский.

Три доклада были прочитаны сотрудниками Сектора сравнительно-исторического изучения восточнославянских языков Института русского языка АН СССР, которым руководил В. И. Борковский.

М. Н. Преображенская в докладе «Результаты исследования истории сложного предложения в секторе В. И. Борковского» обобщила основные результаты научных исследований в области исторического синтаксиса, выполненных В. И. Борковским и сотрудниками его сектора. Эти труды завершает книга «Структура предложения в истории восточнославянских языков» (М., 1983), в которой предложена методика анализа, преследующая цель построить адекватное древней синтаксической системе описание синтаксического строя текстов памятников письменности. В результате появляется возможность наметить общие линии развития системы сложного предложения: от опоры на конкретное содержание отдельных предикативных единиц к выработке эксплицитных средств обозначения типизированных семантико-синтаксических отношений между частями сложных конструкций. Л. Е. Лопатина в докладе «Текстообразующая функция чужой речи» дала анализ структуры текста, ограниченного рамками конструкций прямой речи и состоящего из более простых единиц: текстовых отрезков или сверхфразовых единств. На материале языковых документов ею продемонстрированы способы соединения таких единиц, показана их внутренняя группировка, соотношение в составе конструкций чужой речи общих принципов организации текста и специфических средств ее передачи. В. Ф. Харпалева в докладе «Способы выражения объекта в глагольных словосочетаниях» рассмотрела в двух планах вопрос о вариативности объекта: 1) вариативность падежных форм, 2) вариативность способов выражения объектного значения в системе языка. Докладчик различает вариативность, детерминированную управлением глагола и обусловленную позицией объекта.

Л. П. Жуковская (Москва) посвятила свой доклад получившей широкую известность ранней работе В. И. Борковского «О языке Суздальской летописи по Лаврентьевскому списку». По мнению докладчика, эта работа до сих пор является наиболее полным и авторитетным исследованием ценнейшего памятника древнерусской письменности, однако язык этой летописи (особенно ее первых 95 листов) изучен еще недостаточно.

А. И. Горшков (Москва) в докладе «Размер предложения как один из параметров текста (на материале русского ли-

тературного языка XVIII в.)» предложил вероятностно-статистический анализ распределения размеров предложения в различных прозаических текстах второй половины XVIII в. в сравнении с прозаическими текстами А. С. Пушкина. Результаты исследования ставят под сомнение сложившееся представление о господстве в текстах докарамзинского периода преимущественно пространных конструкций. В докладе характеризуются принципы строения прозаических текстов Д. И. Фонвизина, Н. И. Новикова, а также определены особенности организации прозаических текстов Н. М. Карамзина.

И. Б. Кузьмина (Москва) в докладе «Синтаксические различия восточнославянских языков (по материалам ОЛА)» представила предварительное обобщение — в структурном и теоретическом планах — результатов изучения синтаксических материалов, собранных для общеславянского лингвистического атласа, касающихся словосочетаний и простых предложений. Доклад сопровождался показом лингвистических карт, отражающих как частные вопросы, так и обобщающие данные по ряду синтаксических явлений.

В. Б. Силина (Москва) в докладе «Развитие категории вида в русском языке XI — XVII вв.» проследила основные этапы развития видо-временных отношений. Общий путь образования глагольного вида определен как развитие от формы к слову. Начало становления вида связано с развертыванием и актуализацией первичного видового значения и поиском соответствующих средств для его выражения. Исходная семантика новой складывающейся категории начинала искать свое грамматическое выражение, создавая сначала новую форму, а затем вокруг этой формы создавалась частичная или полная парадигма новой глагольной лексемы, образовывающей оппозицию исходному глаголу.

С. П. Лопушанская (Волгоград) в докладе «Противопоставленность спрягаемых и неспрягаемых форм в истории восточнославянского глагола» показала эволюцию личных и неличных форм русского глагола, связанную с перестройкой соотношения образований от презентной и претериальной основ. Считая спрягаемые формы глагола одним из важнейших способов выражения субъектно-объектных отношений, докладчик высказал возражения по поводу расширительного понимания этого словоизменительного ряда.

В дни чтений при кафедре русского языка филологического факультета был открыт мемориальный кабинет академика Виктора Ивановича Борковского. Ценнейшая библиотека ученого, переданная в дар университету, документы и мемориальные предметы составили основу кабинета, в котором уже развертывается научная работа в области истории языка и культуры славян.

Кершиене Р. Б. (Москва)

12 февраля 1985 г. в Москве в МГПИИЯ им. М. Тореза состоялись фонетические чтения «Проблемы сегментной фонетики», посвященные памяти видного советского лингвиста Георгия Петровича Торсуева. Чтения были организованы Комиссией по фонологии и фонетике при ОЛЯ АН СССР, Институтом языкознания АН СССР и Московским государственным педагогическим институтом иностранных языков имени М. Тореза. С докладами выступили: Н. А. Слюсарева (Москва), В. К. Журавлев (Москва), Д. И. Эдельман (Москва), В. Б. Касевич (Ленинград), В. Я Плоткин (Тула), Г. С. Клычков (Москва), М. В Раевский (Москва), А. М. Махмудов (Ташкент), Ю. А. Гвенцадзе (Тбилиси), Г. М. Гожин (Кишинев), М. К. Румянцев (Москва), С. С. Тутубаев (Алма-Ата).

В своем докладе Н. А. Слюсарева осветила основные вехи жизни и научной деятельности Г. П. Торсуева, крупнейшего специалиста в области английской фонетики, теоретика и замечательного педагога, воспитавшего не одно поколение фонетистов. Более 25 лет деятельность Г. П. Торсуева была связана с МГПИИЯ им. М. Тореза, а последние 25 лет жизни — с Институтом языкознания АН СССР. Много сил было отдано им работе в Комиссии по фонологии и фонетике при ОЛЯ АН СССР. Его книги — «Фонетика английского языка» (1950), «Обучение английскому произношению» (1953), «Вопросы акцентологии современного английского языка». (1960), «Проблемы теоретической фонетики и фонологии» (1969), «Константность и вариативность в фонетической системе» (1977) составляют единое целое, где последовательно проводится теоретическая концепция автора. Работы ученого получили широкую известность не только в нашей стране, но и за рубежом, и намного опередили свое время. В его трудах впервые сформулировано положение константности и вариативности как существеннейших свойствах структуры языка, обусловленных его природой и назначением, определены и описаны основные типы фонетического варьирования, предложена оригинальная концепция фонемы.

Доклады В. К. Журавлева, В. Я. Плоткина, Г. С. Клычкова, М. В. Раевского касались спорных и нерешенных вопросов фонологической теории: выбора и инвентаря единиц описания, сущности фонемы, правомерности сосуществования различных фонологических концепций. В докладе «Фонология как лингвистическое мировоззрение» В. К. Журавлев изложил свое представление о развитии теории фонемы и некоторых аспектов фонологии, подчеркнув при этом, что школа Ф. Ф. Фортунатова внесла важный вклад в фонологическую теорию. Основное внимание докладчика было сосредоточено на том, чтобы показать, какую огромную роль сыграло в развитии фонологии отечественное языкознание. В. Я. Плоткин в докладе «Фонетическая структура морфем» показал, что понятие «кинакема», введенное И. А. Бодуэном де Куртенэ, оказывается плодотворным при рассмотрении воп-

роса о соотношении фонологического и морфологического уровней. Докладчик напомнил, что идеи И. А. Бодуэна де Куртенэ о кинемах и акусмах использовались в работах Г. П. Торсуева. Г. С. Клычков в докладе «Фонологические противопоставления в английском консонантизме» предложил новую классификацию английских фонем, представив систему согласных фонем не в виде таблицы, как обычно, а в виде дерева зависимостей. М. В. Раевский в докладе «Еще раз о субстанциональной природе фонем и их признаков» наглядно продемонстрировал те почти непреодолимые трудности, которые стоят перед фонологом, и особенно перед типологом, при выборе инвентаря признаков для адекватного описания фонологических систем.

В. Б. Касевич в докладе «Сферы и функции просодики» рассказал о некоторых проведенных им экспериментах, которые в новом свете представляют сегментные особенности того или иного языка. Доклад М. К. Румянцева «Сегментная фонология и проблемы синтеза звучащей речи» был посвящен анализу тех факторов, которые мешают взаимопониманию между лингвистами и инженерами-акустиками. Одним из существенных факторов, на его взгляд, является противоречивость и неоднородность фонологического описания.

Особый интерес вызвал доклад Д. И. Эдельман «Роль артикуляционной фонетики в диахронической фонологии», в котором автор показала, что артикуляционная фонетика живых индоиранских языков помогает не только уточнить функционирование реконструируемых элементов (например, отдельных подсистем индоевропейского консонантизма), но и объяснить их дальнейшие диахронические изменения, в частности, в языках centum и satəm. В докладе Ц. А. Гвенцадзе «Идеи константности и вариативности в применении к консонантизму романских языков» излагались результаты предпринятого автором обследования консонантных групп в трех романских языках — французском, итальянском, испанском. Доклады Г. М. Гожина, А. М. Махмудова, С. С. Татубаева касались вопросов фонологии и фонотактики молдавского, узбекского и казахского языков.

Следующие фонетические чтения, посвященные памяти Г. П. Торсуева, состоятся 15 апреля 1986 г. Подобные чтения, проводимые Комиссией по фонологии и фонетике при ОЛЯ АН СССР, являются по существу подготовкой к XI Международному конгрессу фонетических наук, который состоится в Советском Союзе в 1987 г. (г. Таллин).

Слюсарева Н. А. (Москва)

CONTENTS

Articles: Kovtunova I. I. (Moscow). Poetic speech as a form of communication; Bondarko A. V. (Leningrad). Semantics of terminative relations in grammar; **Discussions:** Zolotova G. A. (Moscow). On some theoretical results of the work on «The syntactic dictionary of the Russian language»; Krivonosov A. T. (Moscow). Negation in a sentence and in a syllogism; Arutjunova N. D. (Moscow). Quotations in dialogue (problems of reported speech); Torsujeva I. G. (Moscow). Determination of the utterance by textual parameters; Amanžolov A. S. (Alma-Ata). On the dialectal classification of written monuments in the Old Turkic languages; Kirillova N. N. (Leningrad). On the denotate of phraseological semantics; Makeeva N.I. (Moscow). The study of collective nouns; Ždankin I. V. (Moscow). Compound words without morphological features (based on the materials of the Chinese language); Lokštanova L. M. (Moscow). Categorial meanings of indicative forms in Danish; **Surveys:** Antipova A. M. (Moscow). Trends in the study of intonation in contemporary linguistics; **Reviews; Scientific life:**

SOMMAIRE

Articles: Kovtunova I. I. (Moscou). Discours poétique en tant qu'une forme de communication; Bondarko. A. V. (Léningrad). Sémantique des rapports terminatifs dans la grammaire; **Discussions:** Zolotova G. A. (Moscou). Resultats théorétiques de l'oeuvre sur «Le dictionnaire syntaxique de la langue russe»; Krivonosov A. T. (Moscou). Négation dans une proposition et dans un syllogisme; Arutjunova N. D. (Moscou). Citations en dialogue (discours d'autrui); Torsujeva I. G. (Moscou). Determination de l'énoncé par les paramètres textuels; Amanžolov A. S. (Alma-Ata). Sur la classification dialectale des monuments écrits en langues turques anciennes; Kirillova N. N. (Léningrad). Sur le dénotat de la sémantique phraséologique; Makeeva N. I. (Moscou). Contribution à l'étude des noms collectifs; Ždankin I. V. (Moscou). Mots composés sans indices morphologiques; (fondé sur les matériaux de la langue chinoise); Lokštanova L. S. (Moscou). Significations catégorielles des formes indicatives en danois; **Revues:** Antipova A. M. (Moscou). Tendances dans l'étude de l'intonation dans la linguistique contemporaine; **Comptes rendus; Vie scientifique.**

Технический редактор *Радина Т. И.*

Сдано в набор 29.11.85 Подписано к печати 16.12.85 Т-23314 Формат бумаги 70×108 1/16
Высокая печать Усл. печ. л. 14,0 Усл. кр.-отт. 82,7 тыс. Уч.-изд. л. 16,6 Бум. л. 5,0
Тираж 5833 экз. Зак. 1942

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Наука»,
103717 ГСП, Москва, К-62, Подсосенский пер., 21
2-я типография издательства «Наука», 121099, Москва, Шубинский пер., 6

К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ

1. Рукописи должны представляться в двух экземплярах; текст и подстрочные примечания обязательно должны быть напечатаны на машинке через два интервала. После подписи указываются сведения об авторе: фамилия, имя, отчество, место работы, занимаемая должность, ученая степень, домашний адрес, телефон.

2. Объем статьи не должен превышать 24 с., объем рецензии — 10 с. Объем хроникальной заметки — 3—5 с. машинописи (хроникальные заметки должны представляться в редакцию в течение двух месяцев с момента описываемого события в лингвистической жизни).

3. Примеры в журнале принято давать курсивом (подчеркивать в рукописи волнистой чертой), а значения их в кавычках.

4. Все формулы и буквенные обозначения величин должны быть четко выполнены чернилами (следует делать ясное различие между заглавными и строчными буквами).

5. Рисунки должны быть тщательно выполнены тушью: чертежи, сделанные карандашом, не принимаются. Не рекомендуется загромождать рисунок ненужными деталями, все надписи должны быть вынесены в подпись, а на рисунке заменены цифрами или буквами. На полях рукописи указывается место рисунка, а в тексте делается на него ссылка. Фотографии принимаются в двух экземплярах (второй для редакции и ретушера в качестве контрольного). При изготовлении клише величина оригинала уменьшается в два-три раза, поэтому фотографии должны быть четкими и контрастными. Фотографии, выполненные в малом размере и нечетко, не принимаются. На обороте каждого рисунка должны быть проставлены фамилия автора, заглавие статьи и номер рисунка. Статью не следует перегружать графическим материалом.

6. Библиография в журнале оформляется следующим образом:

а) список использованной литературы дается по порядку номеров в конце статьи;

б) ссылки на литературу в тексте приводятся в квадратных скобках: [1, с. 3], [2—4], [1, 3]; в случае одноразовой ссылки указание на страницу, если оно необходимо, дается в списке литературы; если же упоминаются разные страницы одного и того же источника, указание на страницы следует давать в тексте;

в) подстрочные примечания, которые сохраняются наряду со списком использованной литературы, имеют сквозную нумерацию.

7. Непринятые рукописи возвращаются по просьбе авторов.

8. Статьи, опубликованные или направленные в редакции других журналов, не принимаются (за исключением раздела «По страницам зарубежных журналов»).

9. Авторам публикуемых статей направляется копия наборного экземпляра, которая является окончательным вариантом сдаваемого в набор материала; корректура авторам не высылается.